К III 1399904

У Щекиной

№1
2009

Литературный альманах

№1 / 2009

Литературный альманах.
Издатель: Э.РА (Израиль),
изд. № 327312393.

Критика.....3

Валерий АРХИПОВ..... 3
* Время Елены Поповой.
* Нескучный коммент. *(о С. Фаустове)*

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ..... 4
* Необходимое бесконечное. *(о романе «Ор» Г. Щекиной)*

Нина ВЕСЕЛОВА..... 5
* Обзорная рецензия: *вологодские книги 2008 г.*
* Господь в курсе. *(о романе «ОР» Г. Щекиной)*

Александр ДУДКИН..... 12
* Тень как смысл. *(Островитянин. «Тень жизни»).*
* Ответы С. Фаустова на вопросы А. Дудкина. *(Анонс встречи на официальном сайте Кадуя).*
* О В. Распутине.

Регина СОБОЛЕВА..... 18
* Увлечение игрой. *(о книге М. Калинина «Пунш и фейерверки»)*
* Странник. *(комментарии по книге «Странник» И. Захарова)*
* За перегородкой. *(О поэзии Л. Киргетовой)*

Нина ПИСАРЧИК..... 22
* Параллельное и противоположное в одном явлении. *(о С. Фаустове)*
* Астафьева, дочь Астафьева.

Мария СУВОРОВА..... 25
* О пьесе «Письма к отцу» Анастасии Астафьевой.

Наталья УСАНОВА..... 26
* Попытка толкования поэмы Марии Марковой «Вина и время»
* Письмо Марковой

Сергей ФАУСТОВ..... 28
* Особенности композиции рассказа Анастасии Астафьевой «Змей будет жалить тебя в пяту...»
* О рассказе А.Черного «Я убил тебя, Сережа».

Антон ЧЁРНЫЙ..... 30
* Три книги 2007 года.
* Из обсуждения статьи «Три книги 2007 года».
* Календарик. *(О книге А. Логиновой «Гербарий»)*

Галина ЩЕКИНА..... 47
* Мои книги года.

Эхо фестивалей.....49

Эхо Коктебеля..... 49

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ:..... 49
* «Вложить новое содержание в классическую форму» *(интервью)*

Алексей ЦВЕТКОВ:..... 53
* «Быть русским» *(интервью)*

Андрей КОРОВИН:..... 56
* «Надо говорить о том, что происходит» *(интервью)*

Эхо «Илья-Премии»..... 58

* Свет «Августа»

Марина КУДИМОВА..... 59
* Есть тревога о слове

Галина ЩЕКИНА..... 59
* Альманах «Илья» № 7 и ледяной ветер смерти

Эхо «Плюсовой поэзии»..... 63

Антон ЧЁРНЫЙ..... 63
* Сменный носитель. *Записки «культуртрегера» о фестивале «Плюсовая поэзия» (2007-2009)*

Поэзия.....65

Валерий АРХИПОВ..... 65
Ксения АКСЕНОВА..... 67
Наталия БОЕВА..... 69
Елена ГУДОШНИКОВА..... 72
Сергей ДОНЕЦ..... 73
Игорь ЗАХАРОВ..... 75
Мария МАРКОВА..... 77
Из «ТРИОЛОГА» *(Иван Смирнов и Регина Соболева)*...82
Регина СОБОЛЕВА..... 85
Светлана СИНЕВА..... 87
Мария СУВОРОВА..... 89
Павел ТИМОФЕЕВ..... 92
Елена ПОПОВА..... 94
Иван РАМЕНСКИЙ..... 95
Галина УМЫВАКИНА..... 98
Наталья УСАНОВА..... 99
Елизавета ЧЕГОДАЕВА..... 101
Галина ЩЕКИНА..... 102

Проза.....105

Анастасия АСТАФЬЕВА..... 105
* Змей будет жалить тебя в пяту. Познание.

Надежда ГОМЗИКОВА..... 117
* Допишу историю.

Сергей ДОНЕЦ..... 119
* Уход патриарха.

Светлана ДУРЯГИНА..... 127
* Чеченец.

Иван ЗАРОДОВ..... 130
* Барабашка.

Наталья КАМАНОВА..... 131
* Венок для реки. Обожжена тобой.

Наталья КИСЕЛЕВА..... 133
* Выдумщик. Пуська. Болезнь.

Андрей НАУГОЛЬНЫЙ..... 134
* Траншейная стопа

Татьяна РЖАННИКОВА..... 138
* Сновидящая.

Вячеслав ХАРЧЕНКО..... 139
* Коктебельские истории

Елизавета ЧЕГОДАЕВА..... 144
* Подо льдом. Под снежинками. Сквозь лес. Театр одного актёра. Неразрывно. Одна из ночей. В клубе.

Аксана ХАЛВИЦКАЯ..... 151
* Что я люблю... Просто друзья. Сон.

Ганна ШЕВЧЕНКО..... 153
* Зачет. Игрушка.

Антон ЧЕРНЫЙ..... 158
* Музыка внутри.

От редакции

Дорогие авторы и читатели!

Необычно, что перед вами первый номер альманаха, а составитель обращается к вам как к старым друзьям. Некоторых из вас я знаю лично, некоторые написали мне по сети Интернет. В любом случае вас очень много - читателей и авторов «Свечи», выходившей с 1993 года как газета, с 1996 по 2008 как альманах. После пятнадцати лет уникальных литературных хроник наступили очередные сумерки, и мы задули «Свечу». Новое название вы расшифруете сразу и поймете, что преемственность существует. На самом деле, было бы хуже, если бы эстафету передать было некому. Но оказалось, что есть кому. В Израиле работает издательская фирма, которая выпускает международный информационный журнал литературы и искусства «У». Сотрудничество с зарубежными авторами уже стало нашей доброй традицией: были публикации А. Райдль из Австрии, И. Фещенко-Скворцовой из Португалии, Татьяны Калашниковой из Канады, Татьяны Масс из Франции... Поэтому совершенно ясно, что сегодня мы – региональный филиал международного журнала «У». Хотя сам статус издания отнюдь не означает отсутствие зарубежных авторов.

Содержание данного номера тоже необычно. В 2008 году в Вологде проходил конкурс критики «Чтение и чтиво», объявленный Вологодским отделением Союза российских писателей. В начале 2009 года подведены итоги конкурса, и работы победителей вы найдете на страницах этого альманаха в разделе «Критика». Рубрики «Проза» и «Поэзия» стары как мир, но в этот раз заметно уступают «Критике» по объему.

Наконец, рубрика «Эхо фестивалей» подсказана реальностью. Сегодня литературные фестивали – примета современного литературного процесса.

Читайте, пишите galera50@gmail.com, если хотите оказаться в курсе.

Галина Щекина

У Щекиной.
Литературный альманах.
Вологда, 2009. Тираж 50 экз.
Издатель: Э.РА (Израиль),
изд. № 327312393.

Над номером работали:
Г. Щекина;
Р. Соболева;
Н. Писарчик;
А. Астафьева.

Оформление и верстка:
А. Чёрный.

© Авторы, текст, 2009.
© «У Щекиной», сост., 2009.
© А.Чёрный, оформ., 2009.

У: КРИТИКА

Валерий Архипов

Время Елены Поповой

Яркая запоминающаяся внешность, темперамент полудевочки, полуподростка и совершенно потрясающая манера чтения стихов-верлибров. Она как бы выдавливает из себя слова: то замирая, то резко откидывая назад голову, вскрикивая точно птица и погружая в дрожь читателя и слушателя.

Первая ее книга называется «На грани рожденья травы», состоит из разрозненных, казалось бы, осколков, кусочков, стиха. Если внимательно вглядываться, вдумываться, вникать, то проступает совершенно четкая, ясная последовательная картина жития-бытия с вокзалом, сонным экспрессом, с лицами, мелькающими у картонных коробок высотных домов, с деревьями, по-осеннему голыми и с вороной, кричащей о просроченном лете, о сером небе, о сером ветре, ловящем сонных людей. Природа и люди в окружении предметов и явлений. Любовь — как познание себя в этом мире, искусственном и реальном. Игра рук и тел, и вся эта личностная атрибутика. Все это работает на духовно-поэтический мир, созданный воображением и фантазией Елены Поповой вкупе с безжалостной правдой одиночества. Когда приходится «пить слезы из пустого стакана». И тогда, несомненно, мы видим перед собой женщину смелую, светлую, внутренне свободную, — одну из самых оригинальных по языку. Жемчужинку вологодского литературного клада.

Во времена духовной клоунады, во времена всеобщего отрицанья на авансцену поэтического Олимпа выходит миниатюрная женщина — мотылек, отчаянно борющийся за свое желание жить, думать о любимом, «летать среди снега». Мир ее после первой книги усложнился и стал еще богаче, резче выступили приметы реальности. Пришло ощущение, что не только мир, но и сама героиня постоянно «в движении».

Как хорошо, что Она теперь не одинока. Что в любое время года, ощущая признаки Счастья, переживает то «осеннюю любовную историю», то в холодном декабре репетирует сонеты «в золотистом будуаре», то чувствует «ногами весну».

«Щемящая тоска по любовному томленью» может быть озвучена голосом волшебного саксофона, или трубы, или альпийского рожка, а может голосом расстроенного рояля, говорит о своей уместности,- заклиная о плоти, завернутой в «неуёмный Стриптиз природы».

Читателя временами шокирует тот краткий миг поэтического наслажденья, выплескивающийся из-под пера женщины-вамп, пьющей глотками солнечный свет, жаждущей любви «в одуванчиковом поле» и танцующей «на лезвии чувств».

Перед нами целый поэтический мир, наполненный душевными переживаниями и эротикой, освобожденной от агрессии и пошлости. Соблюдая законы верлибра, Елена Попова дает возможность представить истинным ценителям поэзии маленькие радости своих героев. Мужчины и Женщины, сочувствуя их отчужденьям и радуясь их любви.

Нескучный коммент

(о С. Фаустове)

Известно, что литературный критик — это всегда «штучный товар», всегда это человек со своим мировоззрением, эрудицией, со своими личностными и вкусовыми пристрастиями. Так и Сергей Фаустов, один из немногих вологодских критиков. Он по-своему ироничен и серьезен, въедлив и нетерпелив, остроумен, умен и легкомыслен, с только ему одному присущими приколами и современно-своевременным взглядом на все: на политику, науку, образование, на поэзию и прозу. Он едва ли ни единственный представитель касты высоколобых, кто методично и скрупулезно подтверждал наличие и особенности вологодской литературной карты с

ее традициями и новациями, с ее порой забавными «измами», с ее безумным авангардом. Это он первым открыл успех Натальи Сучковой, пытался сравнить несравнимое (судьбы Рубцова и Бродского), с упоением, а может, с веселостью истинного джентльмена утверждал, что Михаил Сопин — оказывается, японский поэт.

Он лихо пишет статью на статью, рецензию на рецензию, откликается на все, что, на его взгляд спорно, но интересно. Рассуждая практически обо всем на свете, поражая и потрясая эрудицией, он порой противоречит сам себе, делая это с таким неповторимым «британско-колониальным» юмором, когда смеешься одними губами, не снимая перчаток.

Мне доводилось бывать в его обществе на заседаниях литобъединения, на серьезных собраниях союза, на праздничных фуршетах — наедине с бутылкой водки, хвостом селедки и кусочками колбаски на не совсем чистой по времени самобранке... Слушать его, общаться с ним — это праздник. Речь его нетороплива, вдумчива, каждое слово как паста из тюбика... Так скупо говорить мог, пожалуй, Сталин — тем интереснее и ценнее ожидать — что сейчас услышишь, какой окажется перл. Порой не соглашаешься, удивляешься, но спорить не всегда хочется. Ты просто знаешь — так он сейчас думает.

Он может написать, что такую-то книгу стихов оставляет без комментария — и тут же следует пространный комментарий с цитатами, и делается все это красиво и убедительно.

Он может сказать, что он не проповедник, а «простой литературный критик», хотя часто именно проповедует те постулаты, мысли, идеи, которые завладели его душой.

Фаустов много читает в интернете и толстых журналах, наверно, никто не читает столько чужих стихов... Говорит, что ничего не понимает, но дотошно по строчкам разбирает, с юмором подходя к стихотворению и с сочувствием к молодому автору, заодно полемизируя с каким-нибудь маститым вологодским автором.

Появляется на поэтическом небосклоне новая живая звездочка — Маша Маркова — Фаустов тут же находит, что сказать, одобряет, восхищается, и открывает в поэте то, что самому поэту неведомо. Сталкивается с накатом на поэтов — и из критика сразу превращается в адвоката...

Вот Фаустов похвалил — и можно жить дальше. Так и хочется сказать: давайте писать больше, лучше, красивее... Но главное, чтобы — не скучно, ибо Фаустов скуки не выносит.

/4/

Екатерина Березовская

Необходимое бесконечное

(о романе «Ор» Галины Щекиной)

«Ор» Галины Щекиной — о неохватной, бесконтрольной силе любви во всех ее ипостасях сразу, — любви, которой никак не уместиться в одном человеке, ибо это любовь Всеобщая, Высшая, и она может жить, не разрушая, только в единстве всего сущего. «...И не бросай никого больше... Всех оформи, Тимоша. Ведь ты любишь всех. Ты хороший». Завещание космических масштабов. И он не зря такой огромный, как медведь, этот Тимоша Тесков, не зря силен физически: иначе он не осилил бы этой любви внутри себя, не смог бы нести ее так долго, отдать ее так много.

Герой живет обычной человеческой, очень даже мужской, жизнью, но, тем не менее, как существо с огромным предназначением, всегда где-то за рамками одного пола: «Всегда и во всем у него кончались вопросы, кончались непонятности, как только он понимал женскую суть явления. Женское — значит теплое, доброе, значит — мое». И талант живописца — лишь часть, лишь одно из проявлений его необъятного дара — дара лепить из всего мирового хаоса и раздрая единое целое и хотя бы на какое-то время, пока не успокоятся и не найдут, куда им дальше двигаться, мирить совершенно несовместимые проявления бытия: любовь ко всем своим женщинам сразу, бывшим и теперешним (хотя — у него не может быть «бывших», он ничего и никого, хоть раз с ним соприкоснувшегося, не выбрасывает из своей жизни); телесную мольбу о страсти (и это справедливо, потому что его огромное сильное физическое, работающее на равновесие с непосильным духовным, должно получить в ответ и свое счастье; здесь в силу вступают не законы этики или даже морали, а некий закон всеобщего равновесия, без соблюдения кото-

рого никакие «правильно» и «порядочно» не приведут к гармонии, а скорее наоборот) — и неловкость и трепет перед закатной рощей («А там еще закат просачивался слабым розоватым светом. Но господи, не так же откровенно!»), в которой обнаженное чувство еще пронзительнее человеческого; любовь к конкретному человеку — и любовь всеобъемлющую, творящую; да наконец — работу в школе за троих и, вечерами, картины на лыжной базе...

Конечно, задача невыполнима. Конечно, он не справляется до конца. («Он не хотел ничего плохого, хотел только помощи, прощения для всех. Но жизнь такая грубая»). Но ведь все равно законченное и тем самым обездвиженное — это тупик. Но и не только поэтому не может он завершить это объединение всех частиц окружающего мира в единую гармонию. Просто — «Вот сейчас, сейчас он доделает. Да, конечно, он любит ее без памяти, но это совсем другой сон. Обожди, прошу... но не все может обождать!». Не все частицы жизни могут мирно терпеть друг друга рядом. Они просто не созданы для этого. И тут ему уже ничего не поделать, как бы он ни прикипал к ним, с какой бы нежностью и преданностью — одновременно и по-женски, и по-мужски — он их ни обнимал.

Да, сотворить новый мир, в котором несовместимое навеки совместится, Тимоша Тесков не в состоянии. Просто потому что он не Бог, он сам — просто часть мира, сотворенного Кем-то, и он всегда помнит об этом. Но по мере сил делиться с миром той Всеобщей любовью, которая свалилась на него, одного из многих, он будет, пока дышит. И, оставаясь в живых, он снова и снова счастлив этим: «Спасибо, Господи, что не до смерти».

И всё-таки важно еще кое-что: Тесков такой не один. Даже несмотря на то, что «люди затыкали друг другу рты именно тогда, когда... можно было потихоньку подойти к самому главному», даже несмотря на то, что «любить непутевому Тимоше вечно не тех, кого надо» — он время от времени (когда без этого стало бы совсем невмоготу) получает из внешнего мира не то чтобы отклик на свою любовь, но отражение и продолжение этой Всеобщей любви в ком-то еще, будь то умирающая, почти уже ушедшая сознанием из этого мира Серафима (серафим, ангел?) с ее заветом никого не бросать, или бескорыстная Маша Черепахина и «эти руки, которые спокойно и нежно сцеплены», или совсем незнакомая и почти буквально неземная, не чувствующая ни старости, ни тяжелых сумок женщина, «привычно» улыбающаяся так, как улыбаются «не омраченные жизнью дети. Или слабоумные»: «Уж семисят было бы, да. Так нет и годов-то теперь. И меня нет. Ты что думаешь — сумки тяну? Да мне все равно, ничо не чувствую... токо привычка осталась: шуба да валенки. Душа-то ушла». И, если по-настоящему, никому неведомо, действительно ли «ушла» у нее душа — да и не стоит в этом копаться.

Дочитываешь «Ор» — и подозрение перерастает в уверенность: не только нам показывает это все автор повести — смотрите, вот он, такой вот человек, почти я, он *такой* — примете ли вы его? Писатель и с собой говорит, и себя одновременно врачует и испытывает. «Ор» — и запрос к себе: а сам я — таков? Возможно, герой Галины Щекиной — для нее же мерило и цель. Та самая едва заметно завышенная планка, без которой человек погибает. А, помня о ней, — спасает себя и других. Потому что, прочитав это, еще больше стремишься любить все несовместимые частицы бытия, — не выбирая между ними, с каждой из них делясь всем, что имеешь. Вопреки изначальной невыполнимости.

Нина Веселова

Обзорная рецензия

(на несколько вологодских книг 2008)

Первой в руки мне попросилась книга «ГАЛИНА ЩЕКИНА. КРУПНЫМ ПЛАНОМ».

Не буду сочинять, что всю её я досконально изучила. Но с удивлением и удовлетворением сразу же вспомнила-прочитала то, что когда-то сама написала об этой писательнице. И тут же подумалось — как здорово, что она в своё время заставила меня высказаться на бумаге по поводу её публикаций.

Слово, пришпиленное, — это вам не брошенное на ветер. Оно становится фактом, документом, недостающей краской в многоцветной палитре восприятия любого писателя потребителями-читателями. И в таком вот сборнике рецензий-впечатлений особо ясно видно, что сколько людей — столько и мнений, а значит, каждый автор в какой-то из граней его таланта обречен быть понятым, принятым, нужным. А не этого ли ищет более всего душа пишущего?

Однако услышать ответное биение сердец не каждому доводится. И только инициатива и напористость таких, как Галина Щекина, воплощающих желаемое в действительность, являет миру во всей совокупности и звук, и отзвук слагаемых в муках слов. Как знать, правы ли современники в оценке твоего творчества? Как увидеть-услышать себя со стороны и осознать недоработки, порадоваться удачам? Как, в конце концов, зримо ощутить огромную общественную значимость того, чему ты посвятил свою жизнь? Ответы на эти и многие другие вопросы рассыпаны по страницам подобных сборников, выпускаемых «Свечой». И как-то вдруг нескромно захотелось прочитать многоликое мнение и о своих сочинениях, дабы в откликах–пониманиях почерпнуть новые силы, глотнуть уверенности, обрести второе дыхание. Но право на такой сборник нужно сначала заслужить — трудами своими. А потому — к столу, за новенький компьютер!

Второй по счёту я изучила книгу «ГИПОТЕЗА ПОЭЗИИ» СЕРГЕЯ ФАУСТОВА. Думаю, со мной согласятся многие, что критиковать критику — дело неблагодарное и не слишком творческое, а главное, бессмысленное. Это всё равно, что убеждать автора: ты неправильно понял, почувствовал, ты неправильно думаешь! Да каждый всё делает единственно верно для самого себя в данный момент, и в этом смысле нет над нами судей. А потому и речь вести можно лишь о том, сколь своеобычно восприятие литературы этим критиком, сколь способен он обогатить наше миросозерцание собственным опытом и аллюзиями. В случае с Фаустовым именно это и кажется мне особенно значимым. Даже если не знать сочинений автора, которые он разбирает, можно получить неизгладимое впечатление от статьи благодаря неожиданному, порой шокирующему течению мысли. Во-первых, сказывается его первая, техническая профессия и из нее проистекающий непривычный, негуманитарный взгляд на литературные явления. Фаустов умеет применять физико-химические и прочие точные законы к нежным словесным явлениям, не опасаясь их поцарапать-покоробить; он видит Жизнь единым целым и верит в универсальность ее проявлений, и с ним тут невозможно поспорить. Второе отличительное свойство этого автора — смелость взгляда на текущий литературный процесс, отсутствие боязни быть отвергнутым своими или чужими авторитетами. Он сам для себя авторитет, а потому и для нас таковым становится, если мы отвечаем ему взаимностью в желании мыслить ново, свежо, независимо. Вот, собственно, и всё. Главное, что остаётся в душе после этой книги. Детали же, нюансы оставим каждому читающему оценить наедине с текстом.

Книгу ИГОРЯ ЗАХАРОВА «СТРАННИК» я почему-то начала читать с конца, со стихов, дабы к прозе подойти уже более освобожденно: форма дневника в первой части меня насторожила, и, как оказалось, не напрасно. Когда мы имеем дело с подробным описанием каждодневных событий, можно без труда предположить, что они, при всей разноликости, будут похожи друг на друга, как бусины, нанизываемые на нитку: кончился день — бусина, прошел второй — другая, и так до бесконечности. В данном случае объём дневника определился временем плавания, но само плавание как факт еще не есть для прозаической вещи сюжет, который должен поддерживать в нас интерес к чтению. Будь все эти дни связаны какой-то единой историей, куда бы ни шло, но мы получаем чаще всего просто экскурсионные справки о посещаемых портах, грамотно, но не слишком ярко написанные. От записи к записи воображение устает воссоздавать рисуемые картины, ибо количество их не подводит наше восприятие к какому-то иному качеству, скорее, перед нами мозаика из мелких составных частей, никак не складывающихся в осмысленную картину жизни.

И наполненность путешествия сама по себе тут не причем — автор как художник должен был придать произведению стройность, напористость и законченность, однако не сумел этого сделать на должном уровне. О том же, что он чувствовал несовершенство избранной формы, свидетельствуют его попытки разнообразить текст. Например, он с опозданием на несколько месяцев по частям заносит в дневник впечатления от начала плавания, а на странице 10 признаёт, что «море описывать день за днём неинтересно», а потому вводит «заметки на отвлечен-

ные темы». Однако, обозначенные словами «хочу сказать», они лишь приоткрывают завесу над внутренним миром автора. А он, быть может, и был, и есть самое интересное и динамичное явление в том путешествии, во всяком случае, по возможности извлечь из него сюжет. Дневник же сам по себе — это мертвые слепки-отчеты, неведомо кем затребованные и неясно для чего предназначенные. Они не только смыслово, но и энергетически ограничены днем записи и потому не тянутся ни мыслью, ни чувством вперед, чего неизбежно требует истинная проза.

Увы, не обнаружила я необходимого прозаического нерва и в «морских байках», хотя они по замыслу вроде бы ближе к тому, на что претендует автор: в них наличествует сюжет как таковой, и истории достаточно любопытны. Однако изложены они языком усредненным, неживописным, хотя правильным, точным.

Скорее это язык факта, язык синопсиса киносценария, в котором описаны лишь действия и передвижения в пространстве, а о чувствах героев оставлено догадываться зрителю по игре актеров. Но нам-то это преподносится как проза! Означает ли сие, что перед нами автор, потерпевший полное фиаско? Предложи он нам лишь то, что было здесь прокомментировано, возможно. Но в сборнике есть третий раздел, стихотворный, и вот он-то вселяет наибольшие надежды, более того, я убеждена, что как поэт автор состоялся, и, скорее всего, не сегодня. Его стихи нежны, лиричны, напевны, завершены по смыслу, настроению и ритму, они полны тончайших деталей и милой иронии, они познавательны и философичны. Что еще нужно, чтобы считаться истинным поэтом? Работать и работать на этом поле, оставив неплодоносящее прозаическое. Можно было бы пребывать в сомнениях по этому поводу, когда бы сам автор не дал нам в этой книге возможность сравнить себя в разных ипостасях: перечитаем «Китайскую поэму» и строки на странице 14, посвященные этому же событию.

«О, как Мэй Линь затрепетала,
Увидев это фото! И
Скрывать эмоции свои
Передо мной она не стала.
Напротив, будто огоньки
В ее глазах зажглись, румянец
Разлился по щекам. И круг
За кругом тонких, нервных рук
Ложился на безмолвный глянец.
И даже будто сердца стук
Ее был слышен мне...»

А вот проза, убивающая всю и всяческую поэзию: «Потом снимок Будды у меня выпросила хозяйка кафешки, куда мы частенько захаживали... Настоящее имя ее Мэй Линь, но все ее звали Мария, на что она охотно откликалась. Очень набожная женщина... без определенного возраста... Я о ней почему упомянул, просто хочется добавить штрих к портрету своих соплавателей...(!)»

Я полагаю, больше ничего в пользу именно поэтической ориентации автора добавлять не стоит. И если бы я имела возможность прочитать его чисто стихотворный сборник с произведениями не худшего достоинства, чем в этой книге, я могла бы голосовать за прием его, Игоря Захарова, в члены писательского союза. Пока же — подожду.

Книгу АЛЕКСАНДРА ЯКУНОВА «Я» мне пришлось прочесть дважды, и я рада, что так случилось. Поначалу она не произвела на меня должного впечатления, и было жаль, что при столь солидном, радующем глаз оформлении содержание явно проигрывает. Тихая и грамотная поэзия не вызывала никакого протеста, однако мне казалось совсем не обязательным ее автору претендовать на профессиональный писательский билет. Кто из владеющих тайнами слова и преподающих язык не балуется на досуге рифмами в свое удовольствие? Ну и пускай!

Однако прошло время, и для написания рецензии мне потребовалось освежить в памяти тексты. И они вдруг предстали предо мною в новом свете и во всей своей неяркой красе — как слиянные с природой скромные провинциальные жители, ни в чем не ведающие греха и чарующие своей открытостью и доверчивостью. Для них всё исполнено прелести и волшебства — будь то снег, совсем не мертвый, а живой в сути своей, будь то скучные житейские будни с шумом за стеной, которые со временем ассоциируются уже с ярким мазком акварели. Именно таким, внешне сдержанным и робким, нарисовался моему воображению и лирический герой, прячущий внутри себя бури страстей и эмоций.

Таким автор вышел в мир еще из юности, в которой, по его воспоминанию, «сжигали сердце по ночам, а утром дули, чтоб остыло». Но иначе и быть не могло, поскольку мучило «предчувствие доли небесной» и четкое осознание, что «мы все немножечко поэты». И хоть его детские сочинения не были одобрены близкими, главное, что «и сам — певец иных начал — я весь сиял, как небожитель». Это позже уже придет понимание, что поэзия — великий труд, что вымученные ночью строки могут не стоить ломаного гроша, что жизнь «смывает изреченные слова», не считаясь с нашими чувствами и планами. И тогда является миру человек, сказавший себе, — «пойду, сутулясь, в институт», «мое батрачество на ниве просвещенья»), и пусть никто не догадывается, что несу я внутри. А внутри «горчит отравленное слово», «несет моя поэзия меня... из мира обескрыленных людей, напыщенных дельцов и сребролюбцев... и кажется, стоглазые дома меня не видят, я не существую». Сколько каждый день мимо нас, сутулясь, проходит людей с подобной болью внутри, а мы их не замечаем, не слышим их немого крика! И только стихи способны прошептать нам вместо такого человека: «Я умею молчать, постигая закон прорастания тайн в ночи...».

Они у всех у нас, человеков, по сути одни, эти ночные тайны, и каждый раскрывает их на собственном горьком опыте. Не миновала чаша сия и Александра Якунова. И пусть нет в его лирике крылатых эпохальных строк, нет огромных высот обобщения чувств, но — я убедилась в этом при втором прочтении — его честные строки способны обострить читательское сердце, научить его распознавать отношения свободные и зависимые, лишающие крыльев. Быть может, сам того не замечая, об истинном чувстве А. Якунов и пишет иными словами, в иной тональности, нежели о муках повергающих. Сравним строки, которые обращены к К., со стихами к ЛЕА. В первом случае — нежный и плавный слог, наполненный ласковыми обращениями («мой ангел бездомный»), недоумение от того, что «мы выбрали нечет, а нас — пополам», предвидение, как «ты прощальным взором меня погладишь по лицу», и тяжесть воспоминаний — «я тень твою выталкиваю в двери».

Совсем иная лексика при описании отношений с ЛЕА — в них нет легкости и святости, происходящих от истинных чувств, напротив, стих становится резким, обнаженным, не гнушающимся открытой физиологичности. Сравним «ликование чувственных истин» в первом случае с тем, как «мещанская нас не вмещает кровать» или — «затыкая друг другу бесстыдные рты». При встречах с К. автор не уставал удивляться: «ты почувствуешь, вечность какая в мимолетном объятье таком». Он не мог вместить в себя то, что «мгновенья эти шалые — что века». А с ЛЕА — «изнывает межножье — хотение тел... но когда бы я душу твою захотел, что бы ты мне ответила там?». Вот почему герою постоянно так неуютно рядом с этой любовью. Он то и дело подчеркивает: «я неуклюж, как новобранец», «и чувствую — непроходимо туп», «я сознаю, как жалок и коряв». Да и есть от чего: «заползаешь мне на грудь, хочешь ласки» — это о ком, как вам кажется?! «Между нами нет преград на постели... Но твоих укусов яд где-то в теле». Так может быть, это было не крушение, не гибель, а спасение, когда — «Вот стою в коридоре я с трубкой в руке — четвертован, расстрелян, повешен»?

Конечно, время лечит любые раны. С возрастом приходит печальное прозрение и понимание того, что «если мир и кажется нелеп, то лишь на первый взгляд, на самый первый». И хочется с мудрым видом вещать перед юными: «Я тоже знаю жизнь, ее капризы, я тоже всё познал, во всё проник». И лишь наедине с собою иногда вдруг обнаружишь, что «все мечты из юношества живы», что «не стал скупей на ласку и на слово, не стал смурней». Ну, а то, что «на склоне лет дойдешь туда, где времени не будет, а будет свет», известно было всегда. Вопрос лишь в том, с каким багажом. Думается, книга лирики, даже и одна, неплохой итог в любом случае. Особенно если есть в ней строки, достойные профессионального поэта: «Ее соски, как виноградины, к ним припаду, от страсти пьян! Пройду все всхолмия и впадины, как самый нежный ураган!»

Наибольшее удовольствие я испытала от общения с АЛУСЕЙ РАЙДЛЬ. Ее «БЛЮДО» преподнесло такое разнообразие вкусовых литературных ощущений, что они вспоминаются как неожиданный редкостный праздник. Праздник, который будет всегда со мной. Если сказать, что он был предопределён самим замыслом, ирреальностью сюжета, то это будет половиной правды. В дурном исполнении от рассказанной истории веяло бы надуманностью и пошлостью. Здесь же, как ни странно, возникает ощущение подлинности происходящего и чистоты и невинности пространства вокруг героини, несмотря на непрестанный разговор об обнажённом теле. Автору удалось столь тонко сбалансировать на лезвии эротического ножа, что сама опасность падения так и осталась в теории.

Выверенный это итог или случайность? Полагаю, что главную роль в успехе сыграл талант. Алла Райдль сумела настолько вжиться в создаваемый образ, настолько его прочувствовать, что ни одно ощущение девушки-блюда, ни одна ее мысль не вызывают у нас недоверия. Вместе с нею мы до потери сознания сдерживаем дыхание, дабы не обнаружить перед клиентами свою телесность, вместе с нею тщетно бьемся над разгадкой личности Катрана, читая его таинственные сочинения. И вместе уходим из этого мира, оставляя по себе томительную просветленную печаль.

Присутствует в книге и строго просчитанная идейная составляющая. Нам преподносится не просто история-хохма, но социальный срез жизни, в которой всегда есть жирующие и — обслуживающие их униженные и оскорбленные. И те и другие, как и в действительности, мучаются отсутствием любви и понимания, страдают от непоправимой бедности или бессмысленного богатства. И те и другие предстают столь живыми, что позволяют домысливать их судьбы далеко за рамками повествования. Чего стоят хотя бы проходные участники событий, такие, как поварята, хозяин ресторана, клиенты, старуха-соседка.

Одно из главных достоинств автора — язык. Ясный, четкий, динамичный, стремительно-осмысленный, влекущий за собой действие, он практически нигде не дает провиснуть ни событиям, ни нашему интересу к ним. Он начисто лишен излишеств и красивостей, зато чудесным образом наполнен сердечностью и теплом души главной героини, от лица которой ведется рассказ. Нечастый случай в моей практике читателя: захотелось не вздохнуть освобождено, а открыть следующую книгу Аллы Райдль, к которой во мне поселилось полное творческое доверие.

«ПУНШ И ФЕЙЕРВЕРКИ» МИХАИЛА КАЛИНИНА сразили меня наповал! Осталась ли бы я в полном здравии, когда бы прочитала всю книгу от первой до последней страницы? Ведь даже на выбор просмотренные строки пронзают такой мощью и обнаженностью души, что становится радостно-страшно: «Я раскрыт перед Вами, словно новая книга... Я раскрыт перед Вами. Прочитайте меня».

Но такие книги, я убеждена, нельзя проглатывать залпом. Здесь каждый стих — не словесное упражнение, а — эпоха, целый век, прожитый чуткой и ранимой душой. Каждый миг она отзывается на что-то новое, и это ее столкновение с миром рождает новую Вселенную чувств, понятий, поступков. В стихах, похоже, нет повторных проигрышей уже познанного, принятого или отвергнутого, — в них всё в первый раз и всё по-настоящему: «Можно мир сломать. Но сотворить в сотню раз труднее».

Вырываю для примера строки и ощущаю, как гаснут они, теряют свою энергию в отрыве от родного пространства. Они явились на свет не показушными, эпатажными, а сродненными с чувственным мигом и порывом души, отзывчивой на малейшие сбои в гармонии мира. Как и, главное, зачем, препарировать, а затем оценивать то, что этим самым разбором будет убито? Я в полной растерянности, ибо впервые встречаю среди молодых авторов такой феномен. Я понимаю, что Михаил выстраивал сборник по вполне понятной схеме, в объяснимой последовательности, учитывая какие-то специфические моменты восприятия поэзии. Но вдруг взять и вместить в себя, изношенную жизнью и поколенческими заморочками, весь этот новый фонтанирующий необъятный и расширяющийся мир я просто не в силах! Мои познания выталкивают на поверхность ассоциации с молодым Маяковским — но Калинин шире, многоцветней, перспективней! Мое публицистическое начало отмечает удовлетворённо, что автор откликнулся на все злободневные моменты последнего времени, — и алкоголизм тут с наркоманией и СПИДом, и защита Белого дома, и многое, многое другое. Но грош бы этому цена, не трепещи за каждым тематическим стихом незащищенная плачущая душа! Главное, на что ей надо получить ответ, — «дерьмо ты или Бог?». Главное, с чем докричаться до окружающих, — «что каждый — это Мир». Иногда кажется, что Калинин не далек от истины в своих полушутках: «Наверно, не на ту попал планету». Но не из простых. Мне хотелось бы иметь книгу Михаила Калинина, чтобы дозировать и длить наше общение.

Мне хотелось бы увидеть его следующие книги. Мне хотелось бы знать, как сложится его судьба, творческая и человеческая. Он ворвался в мой мир и, несмотря на непознанность, стал вдруг родным навсегда. Наверное, это и есть признак настоящести.

«МИЛОСЕРДИЕ» РЕГИНЫ СОБОЛЕВОЙ обошлось со мной как с читателем не слишком милосердно. Чтобы добраться до вещей зрелых и внятных, мне пришлось продираться сквозь юношеские словесные дебри, и когда бы не обязанность, я могла вообще отложить книгу в сторону.

Возьмем для примера одно из первых предложений в ней: «Всеобщая истерия общества, погрязшего в противоречиях, вспоминается интересом к патологиям и страстям на таком глубинном уровне, что четкость очертаний легко и быстро теряется, словно в плотном тумане». Если вы что-то поняли с первого раза, то я могу лишь позавидовать. Наряду с «Концепцией» изысканной сложностью изложения мысли отличаются «Итак», а также размышления о «Современном литературном процессе». Из них торчат-выпирают познания-осведомлённости о неких фактах и умение жонглировать умными словами, однако смысл изложенного вряд ли сможет кратко передать и сама писавшая эти опусы.

Не будем, однако, слишком строги к ней. Пребывая в студенческом возрасте, все мы хотим показаться умнее, чем есть на самом деле. Нас распирает радость познания, открывшиеся нам новые миры и истины просятся быть провозглашенными и тиражированными.

Без этого, кажется, и жизнь-то общая пойдет совсем не той дорогой. Позднее же оказывается, что и без нас всё всем было известно, а словесные умствования лишь затеняют истину. Несомненно, что сегодня это понятно уже и самой Регине, просто при подготовке книги она не сумела отказаться от ранних вещей или их доработать. Хотя лично я убеждена, что всё несовершенное несовершенно уже в самом зачатке и нет смысла переделывать старые вещи. Нужно писать новые. И вместе с тем, может быть, и не стоит торопиться писать, если ощущаешь, что душа твоя надломлена и не видит гармонии вокруг. Ведь читатель обращается к книге за излечением от собственных душевных недугов, зачем же ему еще чужие? Зачем убеждать его в несовершенствах мира, если утверждение это в корне неверно? Всё — в нашей душе, и, будучи светлой и здоровой, она транслирует нам только прекрасный образ мироздания. У Регины, похоже, было не слишком счастливое детство, и отголоски этого присутствуют в прозе. «Я была гордой девочкой. Гордой и слабой. Я жила в семье, для которой не существовало понятий личность, достоинство, творчество...». Понятно, что ей приходилось постоянно самоутверждаться, скрывая свой комплекс неполноценности. «Я сразу почувствовала в ней слабого и ведомого, сразу поняла, что она будет настойчиво требовать от меня помощи и поддержки — меня это устраивало (любопытно было почувствовать себя сильным и ведущим, попробовать помогать и поддерживать)».

Но как и чем может поддержать читателя тот, кто и сам еще барахтается в житейском море по-собачьи?! Вот и получается, что во многом книга тянет на дно, откуда не видно света. Но ведь солнце от этого не перестает светить! А Регина нас настойчиво убеждает, что жизнь полна несправедливостей, конфликтов, печалей, суицидов, кошмаров и прочих «прелестей», усиленных еще фантасмагорией, как в рассказе «Туча». Она затягивает нас в свое реальное или выдуманное прошлое, в котором преобладает «чертовски знакомое» ей место под названием ад, в котором у мертвых горит «огонь ненависти к живым», а истинной красотой признаётся «красота гниения».

Дело, конечно, хозяйское — как воспринимать мир, лишь бы картина его была стройной, объяснимой. У Соболевой же в ранних вещах явно ощущается отсутствие собственной философской платформы: уж слишком дотошно вслушивается она в мировоззренческие споры своих героев, не умеющих найти общий язык. Такова, например, зарисовка «Категоричность». Вместе с тем иногда ей необъяснимым образом удается достигнуть эффекта на очень малой площади изложения — в миниатюрах первой, пятой, девятой. Быть может, потому, что в них она целиком опирается на наблюдения, на ощущения, на голос сердца, не давая властвовать изощренному уму? Там же, где автор в плену ложных представлений о жизни, в плену искаженных ценностей, ему и читателям невозможно обрести почву под ногами.

Как из Регины вылилось «Милосердное», остается загадкой, но именно это произведение позволяет утверждать, что из нее несомненно вырастет автор серьезный и перспективный. Погрузив нас для начала в излюбленное «царство мрачного Аида», на остров, заваленный пеплом от заговорившего вулкана, она задается вопросом, часто встающим перед нами в сегодняшней действительности: как после такого можно продолжать жить и выжить? И находит ответ не в умах, а в сердцах людей, даже в таком кошмаре способных на сопереживание. «Ты не можешь умереть, пока ты нужен» — «Богу не нужны дома, Богу нужны люди» — «Надо любить и верить, и руки не опустятся». Это лишь некоторые из фраз, которые поневоле перечитываешь, ибо они полны силы и делятся ею со всяким.

Когда у Регины наберется целая книжечка подобных рассказов, она вполне сможет претендовать на вступление в члены Союза. Пока же главное то, что из всех мерзостей жизни, о кото-

рых она рассказала в сборнике, ей удалось-таки выплыть на поверхность и понять, что надо «идти и действовать. И влюбляться в этот мир заново».

Господь в курсе

(о романе «Ор» Галины Щекиной)

В «Оре» Галина Щекина пропела свою главную песню, выорала её, и небеса уже отпустили ей все грехи наперёд. А ещё — она безапелляционно подселила ко мне (не знаю, обнаружили это или нет другие) огромного мужичину с этюдником и приказала ему жить со мной до скончания моих дней. Я понимаю, что обсуждать это теперь бессмысленно. Тем более, что мне сдаётся, — этот «великан из русской сказки с насупленными бровями» она сама и есть, Галина Щекина. Но как же нужно было ей разрастись внутренне, чтобы облачиться в это весомое тело и со всей его силой и могучестью повалить меня наземь и потребовать признать её победу!

Теперь меня и саму полнит нескончаемый ор, и я тужусь душою в попытке найти ему адекватное выражение. Такое чувство, будто мне протёрли глаза, как запотевшие стёкла очков, и я снова стала хорошо видеть и понимать, что к чему вокруг.

Обнаружилось, как смешны и нелепы вычитанные из книг умные теории, гревшие доселе моё сердце, как неуместны и лукавы всяческие объяснения моих попыток уйти от людей, ломиться в закрытые двери и многое другое. «Живёшь насильно, — буркнул бы Тимоша, оказавшись рядом. — Не противься жизни». И я бы подчинилась его неуёмной воле, учуяв замшелую, многовековую правду его слов. Подсознательно прочитывали его верховенство и все, кто встречался на пути. Тянулся к нему живой душою зять Толик, плачущий вместе с распиливаемым деревом. Грела в его лапищах свои маленькие ручки одинокая и нежная неугомонная Черепашка. Взывало к его безотказности школьное начальство, когда что-то рушилось или ломалось. Он был мужик — надёжный, крепкий, всё знающий, умеющий, чувствующий. На таких когда-то держалась русская земля. Такие палицу в руки брали, когда нужда заставляла, такие за сохой ходили, чтобы земля беспрестанно рожала, такие детей к небу подбрасывали на радость жёнам, но главное — они умели безудержно мять на сеновале женщин, чтобы жизнь на этой земле никогда не переставала бить ключом. Пожалуй, вот эта «корневистость» и есть главное в Тимофее очарование. Он не дохлый интеллигентик в очередном поколении, вычитавший всю свою премудрость из книжек, он — смолистый комель пусть и поваленного, но ещё душистого древа нашей нации. И древо это, хоть и из последних сил, ещё продолжает цвести и плодоносить.

В той жизни, которая окружает Тимофея, стоит постоянный и абсолютный ор. Разница лишь в том, что каждого раздирает своё. И если кто-то в душе орёт-задыхается от обиды, тоски, пустоты или злобы, то герой наш — от полноты жизни, от любви к ней и от боязни лопнуть и бесследно расплескать переполненную сердечную чашу. Такие и не могут быть кем-то иным по призванию, кроме как художниками. И неважно, в чём будет проявляться этот талант, это умение любить и боготворить жизнь. Важно состояние духа. В самые высокие моменты в таких душах-сердцах начинает вдруг звучать только им слышимая небесная музыка — какую слышит в конце повести Тимофей. И тогда они находят ей адекватную материальную форму, чтобы каждый последующий житель имел возможность, коснувшись её, развернуть-возродить в своей душе изначальный небесный импульс и обрести чувство полёта. Именно такую волшебную форму отлила в слове и Галина Щекина, взяв в соавторы бесхитростного художника-самоучку. Но именно потому, что — художника, ей удалось максимально заострить и выразить свой замысел. Вечная дилемма: что главнее, первичнее, божественнее — искусство или жизнь? — получает гармоничное и убедительное разрешение в истории очередной любви-страсти героя. В который уж раз нас приводят к неновой мысли о том, что всё хорошо понемногу, что нужно уметь не раскачивать маятник впечатлений слишком сильно, что главное — учиться балансировать между небом и землёй... Но как же трудно всё это даётся каждому из нас в каждом новом конкретном случае!

Вот потому-то и следим мы безотрывно за событиями в жизни Тимофея. И сердце замирает от ужаса, когда он вжимается в землю, — как в женщину! — заслышав в лесу перебранку пьяной компании. Нам горько терять этого человека, мы полюбили его безвозвратно, а значит, и в себе самих вновь обнаружили, расчистили и приняли как величайшую ценность жажду полноценной жизни.

Особо значимым делает это произведение и сюжет. Деликатные отзвуки «Лолиты», а также «обширное чувство семьи», присущее главному герою, будут очень злободневны как в свете акселерации, так и в свете попыток меняющегося общества ответить на вопрос, какой будет семья будущего. И если придётся выбирать между строго предписанным моральным эталоном и — опасностью «лишиться партбилета», думается, многие займут сторону Тимофея. И уж тем более — все его возлюбленные, живущие древним общинным правилом обихаживать и воспитывать-кормить всех, кого Бог пошлёт.

Прописанность женских образов у Щекиной особая статья, но только потому, что и весь-то текст характеризуется высочайшим качеством. Можно приводить примеры стилистических находок, ярких образов, выражений (ветер ресниц — ласконя — засох у стены выжатым тюбиком — слова кричат, а сердце плачет), но они теряют свою силу, будучи выхваченными из текста, где всё сплетено и наполнено жизненной силой, как тело Тимоши. Это всё равно что вырывать у него мускулы и слышать в ответ рёв дикого зверя, охраняющего свою неприкосновенность. Ассоциации со звериной мощью не случайны — именно первобытная связь с землёй, с природой, с древними основами жизни и подкупают в открытом Щекиной образе. Да, Тимофей способен по-дикому загрызть даже собаку, защищая беспомощного, страдая при виде чужой боли. Но он способен и воздеть руки к небу, сознавая и каждой клеточкой ощущая разлитость в окружающем пространстве Божественного начала жизни. А Божественное равняется способности рожать, ласкать, любить — всему тому, что воплощено в женской сути бытия. А потому как же отказывать себе в праве любить вновь и вновь, если «все божьи существа любви достойны» и если каждый раз это — Гимн небу?!

Лучшие страницы повести и посвящены этому — не поворачивается язык сказать «сексу», хотя он присутствует в тексте столь мощно и ярко, что может быть признан своеобразным исследованием интимных взаимоотношений мужчины и женщины. Но тайное для двоих освещено здесь столь сильным заревом высоких, а главное, искренних чувств, что не остаётся никаких сомнений: «Господь в курсе», а значит — благословляет.

Что бы там ни говорили блюстители морали, но всегда был, есть и будет у каждого живущего первый любовный опыт, и нет ничего более трепетного, болезненного и определяющего в судьбе человека. Вот почему начало женской биографии Томы Халцедоновой, явленное нам Галиной Щекиной, — ещё одна непревзойдённая заслуга автора. Путь становления её не столько даже женской, сколько духовной сути, лишь по причине досадной материальности нашей пронизанный сексом, путь этот будут изучать девчонки, читая и перечитывая «Ор». Ибо главное для них, для каждого на земле, как и для Томы, это — найти себя, смысл свой, предназначение.

«Когда меня тоска донимает, я не знаю, что во мне такое закипает, и боюсь себя... У меня будущее. Мне что-то суждено, я знаю, но как к нему прийти — мне нужен сверхучитель, гуру. Чтоб не по предметам, а вообще... это больше, чем предметы, больше жизни даже».

И никогда с этой болью-тоской не бегут дети к родителям, а чаще всего — в объятия того, кто на этот миг кажется второй половинкой. И пусть ею во всеобщее благо окажется человек, способный, как Тимоша, своей любовью «обслуживать весь земной шар», нежели кто-то субтильный, с глухой и немой душою, не издающей ора и не слышащей, как им полнится весь мир.

Александр Дудкин

Тень как смысл *(Островитянин. «Тень жизни»).*

«Воля», «Вездесь», «Мужчины тоже могут имитировать оргазм», «Одинокий дар» — так самоуверенно, высокопарно, то забавно, то пафосно называют стихотворные сборники поэты столичные. Провинциальные же, как бы извиняясь, скромничая, принижая свой одинокий дар, озаглавливают свои творения то «Несостоявшийся рассказ», то «Случайная небрежность»... Хотя, в оправдание авторов столичных, уместно, наверное, вспомнить утверждение Ф. Ницше: «*кто унижает самого себя, тот хочет возвыситься*». Вот и рассматриваемая мною сейчас книжка сонетов белозерского поэта Островитянина (то есть Владимира Попова) названа «Тень жизни». Не «О жизни», не «Жизнь», не «Годы и судьбы», не «Время и я», а только тень этого. Но в первом же тексте (я не думаю, что этот текст есть стихотворение, но, скорее всего, предисловие, предуведомление к стихам) книжки Островитянин разъясняет

читателю, почему он её так назвал: «*И смысл существованья,/ каким бы ни был он/ ничтожным и великим,/ лишь в том, что тень/ отбрасываю я...*» Вот так-то: мы живем лишь для того, чтобы увеличивать в этом светлом, белом мире процент серого, тёмного, мрачного. Я-то вот думаю иначе. Тень, вернее же, источник света, благодаря которому тень и путается (а кое-кого и путает) у нас под ногами, есть первопричина жизни, повод для жизни, но никак не её смысл. «*Пока отбрасываем тени — / мы существуем*» — это, конечно же, так, но в то, что в этом самом отбрасывании и смысл жизни, я, простите, верить не хочу.

К стихам, которые пишет Островитянин, не может возникнуть любовь с первого взгляда (с первой строфы, с первого стиха). В них нет ничего такого, что сразу же бросается в глаза. Форма — традиционная. Пошлости нет совсем. Банальностей не обнаружено. Простота и не ночевала. И большинство из нас, желающих видеть в стихах лёгкость, напевность, доступность или же, наоборот, оригинальность, претенциозность, вычурность сразу же от них отвернутся, пренебрегут ими и назовут чушью.

Некоторые стихи книжки написаны как будто второпях, автор будто бы пытается объяснить всем всё и сразу и, боясь не произнести главного, не договаривает, вернее, не проговаривает (самому-то себе он это доказал, досказал), какую-то ерунду, самую малость. Но вот эта микроскопическая недосказанность меня иногда ставит в тупик и мешает понимать то, что старается то ли объяснить, то ли внушить поэт. Я так до сих пор и не понял, что же случилось «благодаря условности теней»? И «К чему мундир придворного поэта/ Для местных дам и сельских королей?». Или «И осень в нём (в чём? (когда?) — в тумане, в озере или в этот час?) — вечерняя прохлада...». Осень — это вечерняя прохлада? И только? Или же понимать так: случилось всё в тот час, когда туман и вечерняя прохлада миром завладели? Хотя, конечно, если не зацикливаться на таких мелочах, не придавать им значения (так, скорее всего, и должен поступать тонкий читатель), то мысль поэта ясна, точнее сказать, домысливаема.

Хотя строчки «Но кровью век изведавши сполна» и «Не жду ни распинаться, ни распять...» я ни расшифровать, ни додумать не смог. А, прочитав такое: «...друзья текущих дней...» — я чуть было не крикнул: «Ай, да Пушкин, ай, да...». Смелую же констатацию: «Всё брошено и предано огню...» — я хотел приписать Анне Андреевне, а просьбу «Хотя б на час оставь свои заботы...» — Сергею Чухину. Наверное, потому, что Островитянин считает простое суетным: «...Всё в мире — суета,/ Одни твои глаза необъяснимы» и «Весь мир бескрайний до смешного прост -/ От атомов, до чёрных дыр и звёзд -/ Одни твои глаза необъяснимы», он и пишет часто не то что алогичные, невнятные, сложные и даже не необъяснимые, но, хочется верить, нарочито необъясняемые стихи. Почему забавный мальчик, словно седовласый старец, с тоской рассматривает себя в глазах мадонн (не мадонны!)? Ведь он не глядит в эти самые глаза, а глядится. И кому это поэт говорит: «А ты уснёшь, прижавши к изголовью...»? Не себе ли самому? И что «и скажется, и сложится в слова...»? А птица почему не заплачет, а заплачется? И вот когда эти, как кажется при первом и беглом прочтении, фрагменты разных картин читатель складывает в одну, в свою, находит общий знаменатель между собой сегодняшним или небольшой частью своей прошлой жизни и этими стихами, вот тогда они (стихи) перестают быть для него (читателя) нелепыми, пустыми.

Как «смысл огня не в том, что он горит», а в том, что он оставляет после себя — пепелище или ласкающую теплом печку, так и смысл стиха прячется не в словах, из которых стих этот состоит. Он, этот смысл, в том, что появляется в голове читателя после прочтения «слов» стиха, в послесловии, в послестихотворении, в тени, которую он (стих) отбросит.

Ответы С. Фаустова на вопросы А. Дудкина

(анонс встречи на официальном сайте Кадуя)

Вы — автор культовой книги «Харизма вологодской литературы», о которой говорят до сих, хоть и вышла она сравнительно давно. Но времена меняются. Сейчас, на Ваш взгляд, есть ли у литературы, которая создаётся в Вологде и окрестностях что-то особенное, что отличает её от любой другой литературы, сохранилась ли харизма? Достижения вологодских писателей последних лет пяти, допустим.

Сегодня действительно хороший поэт становится известным не столько в своем ареале, как это было еще десять лет назад, когда вышла «Харизма», но по всей России, по всей русскоя-

зычной литературе, потому что такой поэт побеждает в конкурсах, он участвует в фестивалях, его публикуют в журналах, и он становится известным. Так что сегодня вологодской литературы не существует, есть одна русская, естественно, исчезла и харизма. В целом же вологодские писатели и сегодня поддерживают свой статус. Я назову только одно имя, вы хорошо знаете ее, она побеждала в Волошинском конкурсе, ее приглашают на престижные чтения в Москву, она очень известна — Мария Маркова из Кадуя.

2. Были ли вы ранее в Кадуе? Если были, то каким запомнили? Если нет, то каким представляете? Ваше мнение о том, что пишут кадуйчане (я имею в виду прежде всего и, наверное, только Маркову).

Странно, но никогда не был, хотя знаю, что тут красивейшая природа. Я представляю, что она своей таежностью, благодатью похожа на Сибирь, где прошло мое счастливое детство. А Маркову, когда приходится делать отклик, я оцениваю в самой превосходной степени, например, одним словом — brilliantissimo! Честно говоря, я пока сегодня не знаю, как о ней написать, как о ней сказать, так, чтобы это соответствовало ее поэзии.

3. Сева Новгородцев. Лондон. Русская служба Би-Би-Си. Вы и сейчас слушаете это радио?

В свое время, в советское, Сева Новгородцев всколыхнул огромную массу молодых людей, стал чуть ли не идолом. А сегодня у него есть, можно назвать так, группа поддержки — люди из разных городов, и не только России, которые с ним дружат и стараются собраться вместе с ним на его день рождения в какой-нибудь стране. Радио Би-Би-Си практически держит свое лицо благодаря его более, чем 30-летней работе там, хотя конечно же, прослушивание радио сейчас никак не вписывается в образ жизни. Мы живем в мире меняющихся процессов, в которых людям (в том числе и президентам) очень легко ошибиться, поэтому те, которые меняются вместе со временем (как говорил Маяковский: «Он человек хороший — меняющийся»), становятся заметными, а их мнение о чем-либо постоянно востребовано. К таким людям относится и Сева Новгородцев.

4. Виктор Суворов. Вы с ним общались. Какое впечатление произвёл он на вас как собеседник? К чему относите вы его сочинения: к литературе, к историческим исследованиям? На чем, на Ваш взгляд, они основаны: только на документах и фактах, или ещё и на своей интуиции, внутренней логике, или просто Суворов желаемое выдал за действительное?..

У Суворова отличная память, аналитический ум, талант рассказчика, что делает его глубоким исследователем, способным получать достоверные результаты при недостатке знаний. Он может начать рассказывать и не останавливаться хоть 3 часа, причем расскажет то, о чем еще никто не знает. Его оппоненты утверждают, что Суворов ошибается, потому что его выводы не построены на документах, а истории без документов нет. Суворов «впитал» в себя факты и то, как эти факты были отражены в разных источниках, и на основе их анализа выходил на первопричины события. Как криминалист по оставшимся следам приходит к мотивам преступления. Суворов не столько историк, на мой взгляд, сколько исследователь и разоблачитель идеи коммунизма и некоторых ее адептов — Сталина, Тухачевского, Жукова... Для меня Суворов, благодаря его умению читать, есть лучший литературный критик.

5. Интернет. Меняет ли он жизнь человека и в целом общества, человечества? Благодаря ему человек свободнее становится или же, наоборот, зависимее? Интернет, конечно же, будет меняться. Но возможно ли появление параллельно ему чего-то ещё более быстрого, технологичного? Как, допустим, параллельно радио появилось телевидение, параллельно телевидению Интернет... Или же «средства связи и информации» теперь лишь будут усовершенствоваться и ничего принципиального новое не появится?

Вопрос настолько содержательный, что если убрать знаки вопроса, то ответ уже готов. Поэтому я только добавлю, что во всех вышеперечисленных процессах главенствующую роль будет приобретать мобильный телефон, который сегодня еже называется и смартфон и коммуникатор, то есть устройство, в котором будет все. Люди будут учиться дистанционно в университете посредством телефона. Он станет средством производства товаров, услуг, знаний каждому человеку, и средством потребления, конечно, кому как будет нравиться.

6. Виктор Астафьев, кратко, что вы хотите о нём сказать.

У Виктора Астафьева крепкое и неистребимое чувство юмора. В самом «неправильном» названии «Царь-рыба» (рь-ры) заложена усмешка. При этом талант писателя-реалиста, стал-

кивающегося с печальной и трагической жизнью. Обо всем он писал честно. Он великий писатель.

Теперь другие вопросы.

- *Субкультура фанфиков, шире — проблемы заимствования и взаимодействия вторичных миров;*
- *Неформалы-экстремалы инета: падонки, тролли, кащениты;*
- *Достоверность информации в сети, обесценивание эрудиции;*
- *будет ли встреча посвящена, кроме проблем Интернета, творчеству Дэвида Боуи (и современной масскультуре), по случаю дня рождения последнего.*

Сошлюсь по памяти на Лотмана: «Культура есть система норм и правил и наиболее значимых отклонений от нее». Отклонения от культуры жизненно необходимы для нее же самой. Некоторые из отклонений становятся наиболее значимыми. Возможно, такой станет субкультура фанфиков, но я про них ничего не знаю. И про кащенит тоже. Надеюсь, все, чем они занимаются, интересно.

Достоверности информации нет. Сегодняшние новые знания устаревают и становятся ложными в момент их произнесения. На фоне этого обесцениваются не только «эрудиция», но и все истины. Кроме Нагорной проповеди Христа. Потому эти 10 заповедей и собраны там, что не столько учат, сколько предупреждают.

У Дэвида Боуи, композитора и исполнителя, всегда есть в песне один такой «неправильный» диссонансный аккорд, благодаря которому и музыка и сам Боуи получил миллионы любителей по всему миру. Когда мне нужно очень плодотворно поработать, что-то придумать, какую-то идею, я слушал Дэвида Боуи.

О Валентине Распутине

Какой диагноз ставит нынешнему российскому обществу Валентин Распутин, как он оценивает нашу «новую жизнь»?

Если подразумевать под обществом народ, а народ, как хорошо известно, состоит из людей, из человеков, то вот люди у Распутина разные:

- прямая, простая, достойная, волевая Тамара Ивановна,
- растерянный и безынициативный Анатолий, её муж,
- хитроватый, но справедливый и открытый, готовый, не считаясь ни с чем, помочь другу Дёмин и его боевая подруга,
- безрассудная, зло иногда принимающая за добро, живущая чужим умом и, поэтому слабая и беспомощная Светлана и подружки её,
- наблюдательный, оценивающий, обдумывающий увиденное и оцененное, и в силу этого силу набирающий Иван младший,
- мудрый, беспокойный несмотря на свою старость, огорошенный преобразованиями Иван Савельевич,
- смирившийся, опустившийся, махнувший на всё рукой, и в первую очередь на себя, старик-бомж.

Мне кажется, что названные мною герои повести — типичные представители русского народа в его современном виде. Народа, как можно это понять из повести, больного. Больного индифферентностью к общенародному и коллективному, дезориентированного во времени и в идеях, целях, идеалах, сущности, блуждающего в себе самом. Мы, как народ, стали подражать Западу и одновременно терять себя. Но, несмотря на болезнь эту, мы пытаемся бороться с этой заразой. Вспомните кухонные разговоры Дёмина с Анатолием и бомжем.

«Да ведь мы все, разобраться если, струсили. — пафосно, но верно рассуждал Дёмин, — *Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти... коршуны... коршуны какие-то мелкие, вшивые, соплёй перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что всё у нас не так, всё у нас по-дурному, а надо вот так... А мы, вместо того чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазёнками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную соб-*

ственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай своё место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочём, мы снова наживём. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?. Где-то должны быть и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили».

Вот в этой страстной речи Дёмина и осознание болезни народной, и борьба с нею. Штуковину потерянную отыскать бы только или, другими словами, лекарство от болезни найти. Так что с народом всё более-менее в порядке: ведь нет среди нас того, кто ни разу в своей жизни не болел. Иногда ведь и в народный организм, как в организм человеческий, вселяется какой-нибудь вирус.

Но вот общественность (передовая часть общества, его голос) в распутинской повести не присутствует. Нет в ней намёков даже и на деятельность, как сейчас принято говорить, институтов гражданского общества. И общественников нету. Они, если и существуют, то страшно далеки от народа.

Человек, человек простой и маленький, оказался один на один с Государством.

А вот государству (власти) в лице прокуратуры Распутин диагноз ставит беспощадный: власть наша безнадёжна.

Почему вспыхнул «пыточный огонь» в сердце главной героини Тамары Ивановны, что послужило его причиной? Что, по вашему мнению, позволяет писателю утверждать устами Тамары Ивановны, отбывшей наказание и увидевшей неизменное: «...Жизнь делает своё дело — чеканит из человека монету»?

Главное достоинство повести Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», её гениальность в том, что, рассуждая об этой повести, мы рассуждаем и о том, что творится за нашими окнами, на наших улицах, в наше время. Повесть своевременна и современна. Так вот, может быть, ответ на этот вопрос, ответ конкретный содержится в самом тексте, может быть, что-то увидев, Т. И. и произнесла процитированные в вопросе слова, но я, если честно, не помню. Повесть мною прочитана сравнительно давно, а память у меня дырявая. Но то, что повесть не только о Тамаре Ивановне и её семье, но и о нас с вами тоже, то, не зная или не помня о каких-то деталях повествования, мы можем, рассматривая свою жизнь, ответить на любой неконкретный вопрос по этой повести.

Мне вот так сказать позволили бы вопиющие, кричащие несоответствия.

Почему, спрашивается, сельское хозяйство в нашей стране в разрухе, а прилавки продовольственных магазинов ломятся от изобилия всего и вся? Чью это колбаску мы едим и кого это мы, покупая её, финансово поддерживаем?

Почему это промышленность по своим показателям ещё не достигла уровня конца восьмидесятых годов, а в Кадуе на каждом углу выросло по магазину? Продукцию какой промышленности продают эти магазины?

Почему цены на нефть и газ заоблачные, а реальные зарплаты и пенсии становятся всё меньше и меньше? В чьих стабилизационных карманах оседают деньги от продажи природных ресурсов?

То есть полнейшее несоответствие слов и дел.

Но одновременно с этим избиратели отдают большинство своих голосов правящей партии. То есть власть и бизнес манипулируют человеческим сознанием, манипулируют человеком. Он превращается в разменную монету в играх правителей.

«Беспросветное отчаяние» охватило Светку после случившегося, ей «больнее боли больно». «Бешенный разгул насилия и жестокости» вокруг, а «государство» своих обязанностей не выполняет» — что, на ваш взгляд, могло бы изменить ситуацию?

Государство своих обязанностей не выполняет. Это, увы, так. Как может народ (люди) заставить власть что-то делать во благо народа? Не думаю, что может. Мне кажется, что российская власть, какая бы она ни была, никогда и ни за что этого делать, по природе своей, ничего подобного не будет. Мне вот приходится иногда ходить по присутственным государственным местам. И в ответ на мои просьбы или требования представители этой власти, чаще всего, меня посылают. То за какой-нибудь недостающей справкой, то прямиком к президенту или в правительство, то голосовать за правильных депутатов.

Сами же они себя представляют беспомощными, уверяют, что от них ничегошеньки не зависит. И так им проще и выгоднее. Раз ничего не могу, значит, ни за что не отвечаю. Пока власть местная не перестанет быть в оппозиции власти верховной, ничего, возможно, и не изменится. Нужно, чтобы не только президент отвечал за действия какого-нибудь клерка какой-нибудь районной администрации, но клерк этот отвечал за указы президента и законы думы. Нужно, чтобы каждый властью обладающий, нёс персональную ответственность.

Против чего предостерегает писатель нынешнее поколение молодых?

Вы, наверняка, помните драку на рынке, в которой и Иван принял участие. А потом бегство от стражей порядка вместе с зачинщиками этой драки местными скинхедами и короткий разговор с ними. После которого Иван, понимая, что агрессивные действия скинхедов всё же оправданнее бездействия той же милиции, понял, осознал, что бороться за справедливость надо как-то по-другому. Бороться не разрушая, а созидая.

Мне кажется, что многое, что хотел сказать Распутин именно молодому поколению русского народа, он вложил в уста Ивана-внука. Распутин молодое поколение призывает не идти на поводу большинства, жить своим умом:

«*Точка зрения всех... А что такое точка зрения всех?* — горячился как-то Иван, — *это всего лишь точка зрения, а не истина. Точку зрения внушить можно. Все — это, конечно, не все, а большинство. И одни — это не один, а меньшинство. Подавляющее большинство и обидное меньшинство. А большинство внушению поддаётся легче. Они этим и утверждают себя: нас много, мы не можем ошибаться. И — с гонором, с апломбом, но безвольно, как стадо, под облучение, под гипноз, под рабство. Вот это уж рабство так рабство! — такого в мире ещё не бывало. Такого массового добровольного. Было физическое: ты, значит, не свободен жить так, как тебе хочется. Теперь рабство умственное, духовное: у тебя отнимают способность думать так, как было бы полезно для тебя... и не только для тебя. Развернули твои мозги на 180 градусов, и ты уже не ты, не самостоятельная единица, а дробь. В числителе этой дроби, где личность, значение личности, такой мизер, такая братская могила!.. А в знаменателе... там да-а, там пудовые кандалы... шаг влево, шаг вправо — и капут!*»

«Нас как бы обчужили», — говорит один из героев повести. Как вы полагаете, что можно сделать против этого «обчуждения», чем противостоять ему?

Вопрос наисложнейший. Во-первых, быть, стать самим собой. Русскому человеку оставаться, как бы это было немодно, непрестижно, русским. Быть русофилом, а не русофобом. Народу русскому оставаться народом русским. Народ же — это, прежде всего, язык. Русский народ, прежде всего, — русский язык. И опять мысли на этом счёт Распутин вложил в уста обдумывающего житьё юноши: «*...когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёка доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная цену; когда плачет оно... когда торжественной медью гремит... когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно... — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанных родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времён оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно — и всё остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы*». Кто-то сказал, что русский человек — это, в первую очередь, человек православный. Так, похоже, думает и В. Г. Недаром же после службы в армии Распутин Ивана отправляет на строительство церкви.

Значит, чтобы противостоять «обчуждению», чтобы русскому оставаться самим собой, нужно знать и заботиться о своём родном языке и, хотя бы, осознавать целительную роль в жизни общества православной церкви. Это, во-первых.

Во-вторых же, знать и изучать чужое, иноплеменное. «*...чутко присматриваясь к заграничному опыту, мы должны решать свои задачи и — своими средствами. А для этого надо в совершенстве знать свои ресурсы и возможности...*» (Павел Флоренский), то есть осознать и понять, опять же, себя, свою страну.

Как, по вашему мнению, можно ли надеяться, что именно такие молодые люди, как Иван, думающие, пытающиеся понять суть происходящего, выходя на самостоятельную дорогу, сумеют избежать её «ловушек» и переустроить жизнь?

ДА.

Регина Соболева

Увлечение игрой

(о книге Михаила Калинина «Пунш и фейерверки»)

«А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: Хорошо, если б этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает».

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

В психологии есть такой тип личности — «истероид». Он подразумевает не только способность испытывать сильные эмоции, чувствовать на пределе и так далее, но и способность (очень упоительную, сладостную и даже, подчас, хоть и не всегда, правдоподобную) довести себя до того или иного состояния, чувства, искусственно создать в себе все признаки той или иной болезненной реакции, того или иного накала. Это, как если бы ваши лампочки сами включались и выключались бы. Ибо действует это всегда по методу сетевого маркетинга — хочешь, не хочешь, подключишься, так как это «вставляет» (конечно, если лампочка хороша, и светит из ряда вон). Из истеричных людей получаются хорошие актеры. Проблема подчас в другом... Игра сама по себе вещь нужная, тем более что никто не свободен от ее сетей. Все мы — маленькие детки, игрули. Но в игре в той или иной степени всегда чувствуется всякая фальшь — очень остро. Когда лжешь (будем говорить прямо), всегда чутко реагируешь на чужую ложь, потому что в такие моменты и от самого себя тошно и от общей ситуации тоже. А переиграть очень просто. И тогда начинается: ломака, позер, хлыщ и так далее. В таких случаях главное — всегда оставаться сильной и прочной лампочкой. Чтобы похвалы друзей и лицемеров не отучили от объективного взгляда на себя. Чтобы критика завистников и... критиков не отучила от творчества (если оно, конечно, вообще возможно). Молодые поэты, возможно, и осознают это, но им не хватает терпения, желания, душевной широты. Человек, донельзя испорченный артистичностью портится и глухотой к чужому.

Иногда поэзия Михаила Калинина производит впечатление чего-то высокомерного, фальшивого и наносного, я бы хотела знать, насколько серьезен диагноз.

Кто сейчас умеет чувствовать? Кто умеет четко ориентироваться в бинарном Космосе «возвышенность-приземленность»? Кто умеет быть всем, будучи всем? Молодые поэты. Наши накалы и обрывы сполна компенсируются всеведением. Потому что всего жалко. Все хочется попробовать. В книге «Пунш и фейерверки» это видно особенно ярко — смешение стилей способно как оттолкнуть, так и приблизить. Рефрены, крики, грубая и чувственная фактура создает особое настроение ИГЛЫ, острия, на кончике которого сражаются ангелы и демоны. И война — нешуточная. Молодость не может смириться с мыслью: Просто живи!!! Ей подавай сложности, и сложности в накале страстей, на «взлете глубины» (они упали в небо, а небо — это глубоко). Глобальная ассоциативность. Многословие (подчас — излишнее)... Отрицание всего и вся (кроме «Я», конечно)...

Все это то, на что способен молодой поэт. То, отчего бывает так трудно отказаться, ради идейной поэзии, ради одной генеральной линии. Ведь, повторюсь, всего жалко, всего много (мир молодого поэта огромен). Но разве это так уж плохо. Выбирать приходится из бесконечности, оттого так долог и сумбурен поиск.

Еще одна тенденция, вызывающая неоднозначные толки в отношении поэзии Михаила Калинина, это стремление к оригинальности (практически — абсолютной — «все или ничего» — что же тут удивительного). Оно достигается двумя путями: поискам в области мысли, смысла (философское направление) и эпатажными экспериментами (чаще — в области формы, но, как вы понимаете, существует и громадное количество эпатирующих тем). На ранних творческих этапах молодые поэты выбирают второй путь, и в этом они не могут быть ни правыми, ни неправыми, ибо альтернатива скрыта тою дорогой, что еще не пройдена. Некоторые поэты остаются эстрадными чуть ли до самого конца (для меня примером такой легкости бытия является Кичкарев) — что уже не может не приводить в уныние. Всему — свое время.

Если увеличиваешь звук своего транзистора, рано или поздно, музыка перерастает в гул. Все топится какофонией. «Не жизнь — шум жизни». Именно потому так важно чувство меры. Но к этому приходишь со временем. Навязать это чувство нельзя.

И тем не менее, надо признать, что иногда эго Миши Калинина смиряется перед образом или смыслом: он добивается своей сложности и оригинальности. Образы-перевертыши начинают провоцировать к жизни гигантскую неоднозначность. Читатели начинают ассоциировать на той самой грани, какую испытывал автор! Эффект бывает необозримый.

Так например, на обсуждении книги Калинина на одном из занятий студии «Лист», каждый пришедший обнаружил для себя свой накал, свою черную дыру, тянущую внутрь. Случилось такое и со мной.

МЕРТВЫЕ

Мертвых касаток волны бросят на берег,
Мертвые тигры молча смотрят на ружья...
Вооруженный только в победу верит,
И только в бога верует безоружный.
Красные капли — слезы и кровь вперемешку.
Лишь после смерти — вечное братство и дружба.
Вооруженный верит в «орла или решку».
И только в бога верует безоружный.
Мертвые дети к мамам вернутся вскоре
С мелким дождем, уже никому не нужным...
Вооруженный хочет уйти героем.
Просто живым хочет уйти безоружный.

Слов жалко, господа, но все на своем месте. Я за то, чтобы дать таланту набивать себе цену!!! Мише могу сказать следующее: пускай воротит нос, главное, чтоб не забывал писать. Кому-то прощается многое. Путь долог, а стихи — это его бесконечная живая лента! Так дайте человеку взрывать бесконечность всем тем, что у него есть — отбирайте сами... доделывать предоставьте автору и времени. Я очень надеюсь, что вскоре игра в жизнь Мише надоест, и он начнет жить.

Странник

(комментарии по книге «Странник» Захарова)

Часть первая. ПРОЗАИК.

Я знаю, как это, когда жадность до жизни одолевает тебя. Ни одну картинку нельзя пропустить. Перед каждым смыслом останавливаешься дважды: когда заметишь, когда захочешь его сохранить. Жадность. Он должен быть со мной!!! Эта красота не увянет!

У Мисимы есть роман — «Золотой храм». Молодой монах не может поймать хрупкую красоту своего храма, его одолевает мания охотника, и он сжигает его. Синдром Герострата? О, нет! Синдром поклонения вечной красоте, что должна быть вечна. Да. А храмы не вечны. Люди не вечны. Маленькие порты. Апельсиновые деревья. Азалии. Нет, не вечны. Страшно? А художнику всегда страшно!

«Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным — таким, каким описывал его отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, заворожено глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике».

Фотография, живопись, стихосложение — всегда убийство момента в целях его сохранения на века. Многим творцам знакомо это адское чувство бессилия. Куда слова подевались??? Что сказать, если плоскостное не преодолеть заранее? Для того, чтобы дать жизнь вечную — надо убить, уничтожить, сжечь, сфотографировать! Но бальзамированное тело уже никогда не напомнит тело живое, хотя и сохранится надолго.

«Я много говорил о том, что воспоминания обладают способностью лишать человека силы, но это не совсем так. Иногда внезапно возникшее воспоминание может дать могучий живи-

тельный импульс. Прошлое не всегда тянет назад. В нем рассыпаны немногочисленные, но мощные пружины, которые, распрямляясь, толкают нас в будущее».

Я прохожу по жизни с блокнотом и ручкой, кто-то с памятью и фотопленкой. И все ради одного — ради своей жадности!

Игорь Захаров — это творец, которому позволено не отрицать, заполняя пространства иной плоскости чем-то похожим на истину. Мы все тщимся. Отсюда эта дневниковость и эпичность стиля. Долгота. Растянутость. Замедленнее нарочитое и вязкое. Как будто останавливаешься посреди улицы с удивленным взглядом и просишь себя — запомни это, это так важно. А теперь поймите, у некоторых людей так бывает всегда! Каждую минуту! Все важно! Все отпечатывается! И все жалко отпустить от себя! Каждого человека, каждую вещь... Список кораблей у Гомера... Описание казней и пыток во всех девяти кругах Ада у Данте. Напрягайте память! Напрягайте!

Игорь Захаров — чертовский жадина. И — очень хороший фотограф.

Часть вторая. ПОЭТ.

С Игорем Захаровым мы познакомились на stihi.ru. Где же знакомиться с поэтом, как не там? И хотя этот сервис всегда был неким отстойником, куда авторы помещали все, что было написано и порою даже то, чему еще предстоял долгий процесс написания, надо сказать, что Игорь Владимирович поразительно собирал под своим именем стихи равного художественного уровня, мастерства и стиля. И так — побродив по страничкам, мы можем спокойно, ясно, четко, логично сформулировать мнение, насчет поэзии этого автора. Формулировки бросаются в глаза. Явление есть. Против него глупо было бы возражать.

Я еще раз делаю упор на четкую логичность и последовательность данного отзыва, так как ясная манера письма, самодовлеющего над пространством, и вескость каждой поэтической фразы — вот основные первопричинные признаки авторского стиля Игоря Захарова. Изначально они заставляли меня причислять автора к списку почти вымерших классицистических поэтов. Эта эпическая размашистость! Этот высокий элегический стиль! Эта ненатужность, выспренность! Подчеркнутая статичность и при том — пламенность! Сочетание данных признаков вводило меня в заблуждение. Ведь даже, при известном желании, можно обнаружить в лирике автора три классицистических единства! Но нет. В мире поэзии не бывает простоты и поверхностности — именно за это я и люблю каждого мало-мальски сносно пишущего. Раньше я всего лишь бросала взгляд, но недавно мне удалось погрузиться глубже.

Введу несколько понятий: атмосфера, среда, трепет...

Атмосфера стихов наполнена воздухом... Это легкая дымка и в то же время — совершенно прозрачная целостная реальность. Среда стихов — вещественна и реальна (детали делают этот поэтический мир насыщенным и обращают к категории Памяти — ссылки на нее есть почти в каждом произведении). Трепет стихов — почти незаметен (как не хотелось бы сводить все к статике средневековой фрески), но он есть. Легкая рябь на воде в штиль.

Начинаю искать сравнения в другой области. Пожалуй, в области живописи. Поэзия Игоря Захарова сразу напомнила мне картины Гойя, считавшегося новатором в области академической живописи (у него было несколько традиционных работ, но в основном...). Его реализм был не совсем реалистичен — позднее творчество Гойя дало немецким экспрессионистам почву для видения. Он отходил от изящного стиля подчеркнутой выписанности каждой детали. Он не делал гладких лиц и рук — скажем другими словами, он не покрывал свои творения сахарной глазурью. Мог позволить себе небрежные легкие мазки, не вполне проработанные черты лица и, что самое главное, — легкое натуральное движение. Реализм становился более реалистичен, и в то же время удалялся от самого себя. В область ночных фантазий? Все эти аллюзии не случайны. В отношении Игоря Захарова я тоже могу думать: «Далеко ли до Капричос и Диспоратос?». Мне в одно и то же время и страшно и волнительно представлять себе Игоря Владимировича и его творчество, подвластным теченим ветра, фантастическим картинам, снам и прозрениям. Думаю — к этому идет. Вот тогда стихи Захарова не просто привлекут мое внимание и заставят сказать, что «поэт — хорош», но и восхитят, влюбят в себя.

На захламлённый подоконник
Сквозь книги и черновики
Пробился луч и лёг на сонник,
Как след неведомой руки.

И я услышал, засыпая,
Как на протянутом луче
Вдали затих трезвон трамвая,
Запутавшись в ночной парче.

Я жду поэзии сквозь сон!!! Я жду откровений!!! Пусть остаются полотна, картины, зарисовки и простые этюды! Но я хочу большего! Я чувствую, этому большему просто надо дать возможность раскрыться!!! Пусть стих будет сном (каждый раз — новым), а прихотливость мысли — сонником.

Часть третья. ФОТОДЕЛО.

Когда моим фотографиям не хватало жизни, я целовала их. Целовала и оставляла с собою навсегда. Отпечатки — так милы и так поверхностны. Если фотографируешь дом, нельзя увидеть, что там за стеной. Если фотографируешь человека, нельзя увидеть его внутренности. Конечно, только если не резать по живому и не рушить неожиданно. Не тот путь.

Скорее — путь бесконечности кадров. Их живой ленты. Каждый следующий будет лучше, полнее, живее. А потому нельзя останавливаться. Еще, еще! Постоянно!

Культивация жадности. Культивация кадра.

За перегородкой *(О поэзии Лии Киргетовой)*

Ассоциация. Восточная страна. Девятнадцатый век. Все традиции соблюдаются беспрекословно. Пышная комната. Ковры, подушки, дорогие ткани. Тихо. Темно. Ничего из этой пышности не заметно. Потому что не это главное. Церемония помолвки. За решетчатой перегородкой в ароматах благовоний сидит невеста, у которой открытыми остаются только кисти рук, расписанные хной, и сурьмой подведенные глаза. Глаза с диким блеском в глубине. На потолке всполохи огня. В одежде невесты — много красного и золотого. Напротив нее, за перегородкой, жених. Он сидит к нам спиной, дорогой читатель, мы не можем разглядеть не то что его лица, но и деталей одежды. Он тоже то, что совсем-совсем неважно. Будущей жене задаются вопросы. Но относятся они к специальному человеку, что сидит в стороне. Жених не может слышать голос своей невесты. Желательно, чтобы он вообще не знал о ее присутствии в комнате. Тихо жених обращается к тому толмачу. Тот так же тихо передает вопрос невесте. Та тихо отвечает ему. Толмач пересказывает ответ жениху. Четырехкратное отсутствие. Целомудренный обмен репликами. Закрытость. Все что будет сказано в этой комнате, за ее пределы не выйдет. Наверное, если бы не свадьба, жених и невеста вместе тут же приняли бы солидную долю действующего немедленно яда.

Конечно, это шифровальное свойство подходит не только к поэзии Лии Киргетовой, но скорее ко всякой поэзии, начиная с декаданса у них и акмеизма у нас... и сейчас, поверьте, все пишут так же. Методами ассоциативного мышления. Выписывая мгновенно рожденный в недрах бессознательного образ. Быстро. Непонятно. Загадочно. Таинственно. Свежо и шифрованно. Это — тайнопись современного стиха. Не стоит думать, однако, что она лишь для избранных. Ведь остается мелодика и сочность языка. Вот это стихотворение убаюкивает, вот это наущает. И никуда не деться от первого впечатления. Ласковые шифровки. Вражеская разведка примет это за песни на иностранном языке.

«Ты меня не знаешь и никогда не узнаешь... и, пожалуйста, не узнавай меня, как можно дольше! Ведь это будет всегда говорить о моей сложности, вескости и принадлежности к высшим сферам. Да и неважно мне, поймешь ты меня или нет, главное — чтобы любил».

Мы, поэты, все теперь словно сирены. Мы маним и завлекаем. Мы окутываем. Мы опутываем. Мы усыпляем. И лишь потом заставляем делать то, что нам хочется.

А фотографии той голой девушки, в которой нет жизни... Лишь подтверждение. Нет, не позерство. Нет, не холодность. И даже не совсем только отстраненность. Это как слепки с почтовых марок или сами марки. Всего лишь — то, что нужно для дела. Все, что не стих, — лишь вокруг стиха и создает настроение. Аккумулирует слово. Так что картинки и тому подобный мусор имеют лишь прикладное значение.

Вот книга «Лилит» (правильнее было бы — «Lilit»). Голая натура фотографии, ни в одной из которых нет лица. Имя модели не упоминается. Да и она не живой человек. Она — слепок, отпечаток, иллюстрация, картинка, которую вы видите в книге. Она не важна.

Это все отстраненность наблюдателя, который издалека посматривает на что-то, чужие чувства, чужие поездки в поезде, про себя усмехается, или плачет, переживая чужую, не свою, жизнь. Жизнь за другого. За другую-другого. Это опять же — неважно.

Красивость фразы?

Позвольте мне увидеть!

Позвольте мне, сказав что-то, смолчать об увиденном.

Кто пишет? Она. Он. Непонятно. Кому пишет? Ему. Ей. Непонятно. Это тоже неважно.

Эпическая модель повествования. Кусок жизни без начала и без конца. А концов и начал не бывает. Как не бывает выводов и морали. Вырванный из бесконечности бытия отрывок, который сам, как прямая в алгебре, бесконечен, верный сам для себя в очень определенный момент, который сам в себе вечен.

Лихорадочность речи при фиксировании почти научных фактов может объясняться лишь скоростью реакции на действительность. «Тире», «многоточия», рваные фразы, сеченые конструкции, умолчания, строфика без строфики и... закрыть себе рукой рот... закрыть себе глаза раскрытой ладонью. Молчать, поглядывая сквозь пальцы.

НО за черным глухим одеялом, под которое спрятались с головой, за той самой перегородкой, зреет страшная болезнь, тикает бомба — жизнь.

Я могу еще долго рассуждать о такой поэзии. Она не хороша и не плоха, она просто есть, такая, какая есть. Ее не так много, но и не так мало. Но она обращает на себя внимание. А почему именно Лия Киргетова? Потому что именно эта поэтическая, наполненная мифами о самой себе, фигура натолкнула меня на мысль о таком явлении в поэзии, как шифрованная самодостаточная песня сирены. Это — типичный представитель. Ей не важно, будете вы любить ее или нет. Не важно, увидите ли вы там что-то или нет. Да... и... почти ничего не важно. Только бы дым не рассеялся. Читатель, иди за этим миражом. Он выведет к той самой восточной гостиной.

Нина Писарчик

Параллельное и противоположное в одном явлении

(о С. Фаустове)

Литературоведческую книгу Сергея Фаустова «Харизма вологодской литературы» я читала как художественную, точнее — высокохудожественную. За литературу, представленную в книге — стихи Валерия Архипова, Михаила Сопина, Натальи Сучковой, Ольги Кузнецовой, прозу Галины Щекиной — не стыдно и сегодня. Покойный Сопин, наконец, становится признанным на многих уровнях поэтом. Масштаб его личности, возможно, не для современников, поэзия Сопина и в будущем обещает много открытий. Тем значительнее заслуга Фаустова, оценившего Михаила Сопина как литературное явление еще при жизни поэта. Прочие герои «Харизмы...» находятся буквально в эпицентре литературного процесса. Как совпали с его творческой судьбой слова Фаустова: «Сначала про все новое говорят: «Кому это нужно, зачем это?». Потом спустя некоторое время: «В этом что-то есть. И спустя еще отрезок времени: «Как мы могли без этого жить?»

Галина Щекина, наиболее яркий пример правоты С. Фаустова как критика: «Есть графомания или нет графомании — это вопрос эгоистичности языка... Стремление писать собственным, себялюбивым языком не может быть названо графоманией по определению»... Щекина периода «Графоманки» находилась в поиске собственного языка. В последующих рассказах самоутверждение автора продолжалось. И вот на пороге новая книга прозы — «Ор». Язык в ней, безусловно, узнаваемый, «щекинский». Пользуясь фразеологией Фаустова, я выражу и свое мнение: «Автор просто описал жизнь своими словами, и кажется, что эта жизнь такой и должна быть». Значит, и литература, следуя за жизнью, такой и должна быть — пусть лите-

ратура будет разной и отличной друг от друга, и просто отличной... «Ор» Щекиной — как раз вещь отличная от всего написанного ею.

В очередной раз приходится соглашаться с Фаустовым: «Ценность литературы всегда проявляется прежде всего на уровне восприятия одного человека — читателя», и я как читатель соглашаюсь с выбором имен: Ната Сучкова, Ираида Метляева, Ольга Кузнецова. Сучкова десять лет спустя — почти классик, почитаемый даже циничными юнцами, Кузнецова кроме стихов пишет чудную, реалистичную до хлесткости прозу, только вот тянет с публикациями — это общая беда. Пишет ли Метляева, не знаю. Но в любом случае — «сделанного ею достаточно, чтобы войти в историю развития вологодской литературы». Потому что язык порождает поэтов, а не поэты — язык...

Мысль принадлежит Иосифу Бродскому, и Фаустов развивает ее в своей «Харизме...» Поразительно исследование судьбы и творчества Бродского в аналогии с Рубцовым! Два больших поэта, не пересекаясь, мистически совпадают по ряду подробностей, так как жили в одно время!

Или же сопоставление исторически разошедшихся, но вдохновляемых одной идеей, таких разных — Маяковского и Тайгановой.

По Фаустову: «Вдохновение — категория психологическая, неуправляемая, здесь трудно обойтись без слова «душа». «Душа, душевность, духовность», — этих слов не оказалось в моем энциклопедическом словаре», — так я переняла у Фаустова привычку к словарному толкованию.

Критик заявляет: «Метод критики, который я использую... основан на том, что АВТОР ВСЕГДА ПРАВ». «Многолетнее исследование вологодской литературы обнаружило ее особое состояние — выход на авангард при всем традиционализме... выход на авангард, постмодернизм, и какие-то другие, пока еще непонятные уровни...» Размышляя над всем этим, прихожу к выводу — поэтическое чутье, резонирующая душа писателя читателя и критика Фаустова — безошибочны.

Астафьева, дочь Астафьева

Можно, конечно, спросить у Анастасии Астафьевой, не мешает ли ей «тень» большого отца... Можно, но спрашивать не хочется. Потому что Анастасия Астафьева — совершенно самостоятельная творческая единица. Прозаик. Написала не так уж много, но и немало: книжку рассказов о своём детстве, детектив, повесть о дезертире с чеченской войны, несколько рассказов о природе как таковой и о природе человека; наконец, довольно любопытную автобиографическую вещь «Письма к отцу»...

Почему же она, Ася Астафьева, говоря образно, «топчется» на пороге большой литературы, словно не решаясь в неё шагнуть?.. Какой внешний толчок нужен писателю, чтобы перешагнуть этот невидимый «порог»? Одобрение, похвала пишущей братии? «Добро» со стороны литературных критиков? Или, напротив, неодобрение... Чтобы разозлиться, наконец, и пулей-ракетой — туда, в число известных и признанных!..

Зачем оно, признание, нужно? Сиди себе тихо, пиши «в стол», читай свои опусы на местном «кружке по развитию речи» (Г. Щекина «Графоманка»). Слушай сдержанные похвалы или же кислую критику от дюжины «графоманов», изредка печатающихся «самиздатом», в основном довольствующихся общей страничкой в Интернете... Что-то грустное и пресное вырисовывается в такой перспективе. А что можно предложить? Искать спонсоров на издание книг? Рассылать рукописи по всем «солидным» редакциям? Участвовать в любых творческих конкурсах? Да всё, что угодно, пора уже громко заявить о себе!

То, что уже написано, вполне достойно для выхода в «свет».

«Июньский снег»: Повесть в рассказах А. Астафьевой — вещь удивительная. Написана языком подростка, как бы увидевшего себя глазами взрослого человека. Происходит совмещение времени: событие совершается одномоментно в той, прошедшей эпохе с её бытовыми характеристиками, но и в эту настоящую минуту чтения — тоже.

Можно сказать, что проза Астафьевой абсолютно кинематографична. Она наглядна, оснащена яркими деталями, в ней присутствуют и близкий, крупный, и общий планы. Читатель, имеющий воображение, видит стереофильм с эффектом присутствия. Книга-детектив «Сети

Арахны», скорее всего, дань моде. Книга — непровальная, созданная по всем законам жанра; если её доработать, будет крепкий «психологический» детектив. Конечно, специализируясь на коммерческой детективной литературе, можно «нахватать» необходимых знаний, чтобы не допускать «ляпов»... Вот надо ли автору великолепной психологической прозы продолжать «криминальный» ряд?

Лучшие рассказы, на мой взгляд, «Танец маленьких утят», «Ботинки, которые ты носишь» и рассказ-монолог «Попробуй жить дальше», именно психологическая проза. Повествование от первого лица делает их настолько убедительными, что читатель не сомневается в их автобиографичности. Талант автора заставляет узнать героев, как старых знакомых, воочию увидеть места, в которых никогда не бывал... Вжиться в чужой уклад настолько, чтобы переживать за героев, как за самого себя!

Короткие рассказы-эссе А. Астафьевой — «Борьба с терроризмом», «Ветер с Енисея», «Тревога», «Ген войны», «О понимании счастья», «Только не бейте» — я бы назвала публицистикой, выполненной на высоком художественном уровне. Лучший из них — «О понимании счастья». Я слышала мнение, что здесь автор «свысока» рассуждает об унизительном труде уборщицы... Напротив, совестливость автора, его внимание к «маленькому» человеку, возвышают его, автора, в моих глазах.

Совершенно великолепны рассказы А. Астафьевой о природе: «Погоня», «Лес в кадушке», «Змей будет жалить тебя в пяту». Удивительно, что уроженка города, молодая возрастом, знает лес и его обитателей так, как не каждый профессиональный лесничий знает! Конечно же, существует «генная» память, и всё-таки главное — творческая наблюдательность. Рассказы о маленьких лесных приключениях — совершенны! Они великолепны своей описательной частью. Даже некоторая назидательность их не портит. Хотя, на будущее, как раз следует избегать дидактики...

Наособицу в творчестве А. Астафьевой стоит сказка «Козье болото». Завязка у неё просто изумительная. Сказка, забавная, совершенно невероятная продолжалась до какого-то момента... Потом «сдохла»! Раздумывая, почему так неудачно получилось, я поняла, что автору было на тот момент всего двадцать лет, и сказка эта — своего рода «проба пера». Беда в том, что главный герой, студент Иван — абсолютно безынициативен, он — наблюдатель, в какой-то момент «скисший», переставший даже удивляться... Автор словно не знает, как заставить его действовать, поэтому всё заканчивается фантастическим сном, видимо, от непривычно свежего воздуха.

В начале заявлены совсем нетрадиционные сказочные герои. К сожалению, забавная, анекдотичная завязка ни к чему не приводит... Сюжет увязает в обилии второстепенных, совершенно безликих героев. Все добрые, кроме условно злого Змея Горыновича, который настолько нелеп, что непонятно, почему ему так охотно все подчиняются... Становится скучно. Вместо вялого Ивана, по-глупому доброй Бабы Яги и выдохшегося Змея Горыновича действовать начинает непонятный Шишик, который всё и разруливает. В финале чувствуешь недоумение, и только... Ещё... очень циничной мне показалась дойка Василисы Прекрасной под видом козы!

После сказки, которую я читала последней, стало понятно, что именно меня раздражает в другом герое А. Астафьевой — Павле из повести «Чужая война». В отличие от Ивана из «Козьего болота» Павел вовсе не положительный герой, хотя оба они — жертвы обстоятельств. Общая же у них одна черта: они инфантильны.

Павла постоянно кто-то ведёт за руку: сначала мама, потом военкомат, ротный командир, друг Руслан, старик чеченец, приютивший в пещере, потом сын старика, знакомый того сына, обменявший автомат на поддельный документ. Далее в Ленинграде — бомжующий бывший врач, наркодилер... Наконец — семья обходчика, подобравшая его, раненого. В конце концов попадает он в ласковые, надёжные руки Татьяны, которая становится ему второй матерью. Как только герой оказывается без чужой крепкой руки, он тут же теряется и делается жертвой мирового зла. Он совершенно не умеет находиться в одиночестве; тут же начинает комплексовать... Он ни разу не проявил себя активно. Даже работу каждый раз ему предлагает кто-то посторонний, даже девушка приходит сама к нему в постель.

Единственный поступок Павла, за который можно уважать, это его возвращение из последнего побега после рождения ребёнка. Именно ребёнок и привязанность к Татьяне заставили принять взрослое решение. У читателя возникает надежда, что инфантильный мальчик с железными кулаками стал, наконец, мужчиной...

Трагическая тема войны уходит на дальний план, а в центре — история несчастного бесхарактерного мальчишки, воспитанного без мужского влияния. В отличие от Руслана, в котором есть жизненная сила, Павел — типичный захребетник, но с амбициями.

Вот женщины в произведениях А. Астафьевой — действительно деятельные, самостоятельные, одним словом, мужественные... Та же Татьяна в «Чужой войне»!.. Эта повесть — стопроцентный киносюжет, похожий на очень многие «боевики» последних лет. Нет оригинальных сцен, всё видено-перевидено на экране. Хотя все герои Астафьевой достоверные, «жизненные». Единственно, смущает нетипичное поведение участкового Кудряшова... Очень мало похоже, чтобы такой нахрапистый тип столько лет только издали «пас» Татьяну. Да давным бы давно попытался её «исвоить»!. Всё-таки ему уже тридцать лет, да и она давно не школьница, двадцать два!

Отдельно хочется сказать о языке повести. Здесь язык зрелого мастера, в отличие от сказки, где много штампов при оригинальном сюжете. Самое сложное произведение А. Астафьевой — «Письма к отцу», написанное в форме сценария. Но, мне кажется, длинные, насыщенные информацией диалоги непостановочны ни на сцене, ни в кино... В данном объёме, не нуждаясь в переработке и сокращении, так они хорошо прописаны, эти диалоги-монологи были бы идеальны в другом варианте. Само название «Письма...» подсказывает форму произведения. Если сохранить прямую речь главных героев, убрав второстепенных, останется самое ценное, и будет читаться как роман в эпистолярном жанре. Появится ощущение документальности, тем более, что это действительно мемуарная вещь. Что ж, если читатель, тем более, критик, так переживает за будущность автора, значит, автор стоит того!

Мария Суворова

О пьесе «Письма к отцу» Анастасии Астафьевой

Отзыв на «Письма к отцу» — это попытка прикоснуться к живому человеческому сердцу, воплощенному в словах (вопрос, к чьему сердцу — открыт). Это именно отзыв, отклик, а не рецензия в строгом смысле слова.

Боль за невысказанное и за неслучившееся — два столпа душевной силы Лиды — героини пьесы. Не стоит считать, что боль — это слабость; боль — это сила. Недаром творчество — спасительная сила, а самокопание — ответная спасительная реакция. А письма...

Письма — это боль невысказанного и неслучившегося. Боль как счастье? Возможно, главная проблема произведения. Если шире — счастья жить с этой болью и черпать именно в ней силы. Проникновенная усталость, грусть, напряжение и отчаяние — маркеры ситуации прошлого, которая в пьесе не закрыта — она внутренне открыта будущему и настоящему, то есть минуте написания, воспоминания, обращения со сцены. Внешне, напротив, зафиксирована точкой: *«Лида подходит к письменному столу. Гасит лампу»*. Таковы последние строки пьесы.

Отчаяние и грусть — волнообразно всплывающие на поверхность текста «крики» героини. Сначала Лида отчаялась узнать, кто ее отец, позже — увидеть его и познакомиться, и в конце — наладить отношения, получить неданное и неподаренное в детстве: любовь, нежность и заботу. Отчаяние потерять одиночество или отчаяние от одиночества и недоверия — непонимания — непроникновения в души людей (читай: полного доверия, понимания, глубокой эмпатии, НО сквозь боль души и в связи с этим на расстоянии)? И вопрос и ответ одновременно. Одиночество обретается вместе с болью (силой?), Лида одинока и несчастна — она сильна и несчастна. Сила помогает увидеть счастье — значит Лида, все-таки, счастлива? Вспомним, что отца она находит, встречается с ним, получает после его смерти письмо — напутствие... Как волны приходят и уходят, чувства и люди в жизни и судьбе героини появляются каждый раз по-разному, уже новыми или просто другими.

Усталость и напряжение — тоже волны в душе Лиды, они возникают и исчезают в зависимости от ситуации. Кроме того, волнообразно само повествование — это настоящее и прошлое по времени (первая пара волн), а также письмо и живой диалог (вторая пара волн). Переплете-

ние двух планов подчеркивает и без того акцентированную боль за прошлое и муку настоящего: *«...<я> вынуждена нести в своей душе муки за близких мне людей, все думать о чем-то, анализировать, пытаться понять, простить, суметь жить дальше и дальше. А помогает мне в этом только творчество, способ уйти от реального мира, или высказаться о чем-то, донести до других свои мысли...»*.

Письма написаны, по словам героини, для того, чтобы отец «узнал, как я жила и взрослела без тебя». А еще для того, чтобы отец услышал наконец-то «крик» дочери.

Освобождения и успокоения не происходит — они за рамками произведения, в будущем, в дальнейшем осознании и переосмыслении собственной жизни через творчество, которое связывает временные пласты и самого текста в том числе. Именно оно оставляет читателю надежду на душевное освобождение Лиды — ее жизнь прочно связана со словом, которое дает силы, успокаивает, рождает мысли, а вслед за этим и ведет по судьбе — дает возможность прожить то, чего не было (в письмах), пройти весь путь от начала до конца и подвести итоги.

Понять смерть и несколько раз принять ее в своей жизни. *«Ведь ты незримо стоишь за моей спиной и следишь за возникающими на страницах строками»*.

Наталья Усанова

Попытка толкования поэмы Марии Марковой «Вина и время»

С начала я хотела написать рецензию на поэму М. Марковой, но потом поняла, что ничего у меня из этого замысла не получится. Почему? Да потому, что сначала нужно переводить «Вину и время» с поэтического на русский. Честно признаюсь, после первого прочтения у меня не возникло никакого целостного впечатления. После второго прочтения меня задели за живое некоторые фрагменты. И лишь после третьей попытки поймать и удержать текст, чтобы рассмотреть его, я подумала: «А ведь это интересная поэма...».

Здесь я подробно описываю процесс моего проникновения в текст. Конечно, это будет не рецензия. Скорее — толкование. Этот жанр в данном случае более уместен. Итак...

В первых строках появляется довольно определённый образ лирического героя:

Плачь
внутри меня и не давай — снаружи —
для сожалений повода, палач.

Ситуация ясна: сильный человек хочет остаться сильным, прямо-таки приказывает себе не поддаваться слабости.

А вот образ «палача», напротив, очень и очень неопределённый. Сначала возникает мысль, что палач — это любимый человек.

И плачешь ты, зализывая ранки.
И плачу я беспомощно в ответ...

К кому ещё возможно такое сострадание, как не к возлюбленному? Ведь не случайно когда-то в русском языке вместо глагола «любить» был глагол «жалеть»...

Соленая моя слеза — искома.
Кому она? — горошина в подол.
Тебе, тебе, и даже если... Кроме
тебя, я — никому... Такая боль!..

Что же так тесно связывает палача и лирического героя? Какое-то испытание, приравненное к пытке. Скорее всего — испытание виной. Неспроста же поэма названа «Вина и время». Откуда она — опять же можно только догадываться. Точно можно сказать только то, что мотив вины постоянно переплетается с мотивом слова.

(...) Я спотыкаюсь слогом.(...)

Каким я языком тебя пойму
и на каком заговорим мы?.. Слышишь,
тревожно мне...(...); Ты говори со мной (...); (...) тебе внимая (...); Я — шепотом... (...); мне не поможет честный твой ответ (...)

Мучительный разговор ведётся от начала поэмы, причём с градацией. Нарастает бессвязность, речь лирического героя начинает напоминать бред. Так бывает, когда человек пытается сдержать распирающее его страдание. Оно копится, а потом обрушивается мощно, беспорядочно, «с гор лавиной в снежный лес».

Возникает ощущение, что герой-то, может, нездоров, может, ему просто кажется, что он, то есть, она, не одна. А может, у неё раздвоение личности? «Бред» доходит до кульминации...

И где-нибудь у шеи, где теплее,
где бьется жилка, где размерен пульс,
и правда, успокоюсь, онемею,
уткнувшись носом, тихо растворюсь...

Бред обрывается. Герой начинает говорить предельно чётко, интонация меняется.

Какие мысли!.. Ветер. Бездорожье.
На кончиках, на цыпочках, слегка...
Ко мне приходит мудрость. Осторожно,
прохладно, сонно гладит по рукам.
Причесывает — отрастай — мой опыт.
И волосы до пят — стриги, стриги...

Герой наблюдает собственное безумие — отрешенно наблюдает:

Неси меня, безвременье, неси...
Носи меня, безумие (...)

Интересно — безумие приравнивается к безвременью. А не безвременье ли выступало в роли «возлюбленного» палача? Но в конце поэмы вдруг

... за стеклом — неспешно, незаметно,
бесшумно — время в полный рост встает.
И время смотрит на меня спокойно,
ныряет в глубину моей груди.

Поэма отражает конфликт в душе героя, должно быть, поэтому автор постоянно сталкивает противоположные понятия: «безвременье и время», «нет веры» и «вера есть», «далека» и «близка», безумие и мудрость.

Конечно, любая гармония рождается из хаоса. В конце поэмы лирическому герою удаётся «причесать» мысли. И автору тоже. И мне, читателю, — после третьего прочтения...

Если я что-то поняла не так — простите меня, автор, признаю свою вину. Я бы прочитала ещё пару раз, но — увы! — времени не было...

Письмо Марковой

Листаю цикл твоих стихов.

Сразу замечаю, что практически все стихи прямо-таки заметены зимой, её проявлениями. С другой стороны, в этих строчках с не меньшей частотой мелькает слово «среда».

Что такое среда? Возникают ассоциации: окружающая среда (природа). Вариант «окружающая среда» очень хорошо сочетается с мотивом холода. Почему бы не наступить зиме, а поэту её не описать? Получится изящная классическая лирика, описывающая душевное состояние человека через аналогии с природными процессами. Всё вроде бы чётко.

Но это первое, внешнее восприятие. Слишком уж настойчиво повторяются в цикле оба мотива. Я перечитала, и у меня сложилось впечатление, что, оказывается, традиционное описание душевных состояний здесь не является самоцелью.

Стихи эти описывают кое-что пообъёмнее, чем личное «я» — пространство и время. У тебя уже не впервые в стихах делается акцент на эти категории, но настолько роскошно они раскрылись в первый раз. Причём удача в том, что они предстают в единстве, как в жизни. «Среда — день недели (время)» и среда-пространство. Аналогично и с зимой (время года и заметённые сугробами расстояния).

Но почему же «время вмёрзло в лёд»? Откуда этот холод? Из глобальности размаха.

Дни отбрасываются веком («А день уже прожит и веком отброшен в бессонную тьму»), наросшее время срезается с кожи. Если посмотреть в глубину веков, можно будет увидеть всемирное похолодание, время, когда замерзали гиганты-мамонты.

«Пространство необъятно», «край света так близко». Если посмотреть на край света, то придётся уткнуться в Антарктиду. Там опять же холод. Оптимальное сочетание времени и пространства — «вечная мерзлота». Размах от полюса до полюса... А между полюсами должна быть талая вода, не только лёд. И вода эта есть. Неслучайно дни становятся рыбами, да и заветы пишутся на треске. Маленькие и скользкие дни плавают между ледяным началом и ледяным концом времени (и пространства). Но — парадокс: несмотря на описание вечной мерзлоты, стихи всё же тёплые. Это ощущение навевает сама интонация — успокаивающая, плавная. Строчки так и покачиваются на весу, как уютная детская люлька. Например, в «Оттого, что край света так близко»: аабввб. Греет и волшебство. Сказочность — неизбежная в таких масштабных рассуждениях мифологизация. Только вот первое и последнее стихотворения, по-моему, стоят несколько наособинку. Они самые печалящие. Среда втягивает уже не в полюса, а в «серую, тёплую, мягкую массу». Среда — середина между крайностями. Последнее стихотворение привело к первому. Круг замкнулся. Человек не способен вырваться из рамок собственных возможностей, а ему так этого хочется...

Замечательное чувство стиха. Одними только усилиями мысли такую стройную систему не сделать... Уважаю.

Сергей Фаустов

Особенности композиции рассказа Анастасии Астафьевой «Змей будет жалить тебя в пяту...»

Рассказ небольшой, можно сказать очень короткий, но он представляется каплей воды, в которой отражается творческий метод и мастерство Анастасии Астафьевой. Содержание можно пересказать весьма кратко. Девочка с матерью и сестрой приезжают в деревню, где идут за грибами и собирают землянику. В лесу увидели змею. Мать, испугавшись, палкой начала бить змею, пока та не перестала двигаться, и они ушли с оставшейся горечью от происшедшего. Казалось бы, что можно из этого сюжета воссоздать, какое произведение. Но начнем читать.

«То было первое лето, проведенное нашей невеликой семьей — я да мама — в деревне. В гости к нам часто приезжала моя троюродная сестра. Вместе с нами мама обходила все прежде знакомые местечки, где она таким же подростком играла, живя на летних каникулах у деда с бабкой. Тогда у стариков собирались внуки и внучки всех возрастов, которые пасли коз, месили ногами навоз на колхозной конюшне, купались вместе со свиньями в грязном пруду, бродили по перелескам...».

Очень важный зачин, который сыграет большую роль в дальнейшем. Это и называется единением детей с матушкой-природой.

«Так забрели мы славным солнечным утром на старую дорогу, когда-то ухоженную и широкую, выводящую через лес к большаку. Теперь выезд был с другой стороны деревни, через поле. Там стояла ржавая железная остановка, и после проехавшей машины пыль густым облаком наносило с большака на дома и огороды. Старая дорога вся заросла разнотравьем, высокими кустами и уже подпиравшими небеса деревьями».

Здесь подчеркивается высота окружающего мира маленькому росту героини рассказа — девочки. Но в первую очередь описана идиллия, в которой показана мирная добродетельная сельская жизнь на фоне прекрасной природы. Казалось бы, и повествование так и дальше пойдет и закончится все словами — усталые, но довольные возвращались мы домой.

Читаем дальше.

«Мы ели спелую крупную землянику, спрятавшуюся среди лесных цветов и духмяных трав, собирали букеты, а в сыром месте с изумлением увидели несколько скромных бледненьких цветочков ночной фиалки. Под жарким солнцем она не пахла так, как по маминым рассказам

должна была. Белым, едва ли не прозрачным, на высокой светло-зеленой ножке соцветиям фиалки необходима была вечерняя роса, наползающие из-под елей сумерки приближающейся ночи. Только тогда она начнет источать великолепный сильный, но не приторный, не дурманящий запах. Тем более странным было, что ее ближайшая родня, такая же фиалка, только с фиолетовыми соцветиями, не пахла вовсе, ни днем, ни ночью».

Здесь описана красота и превратности темного мира, красота поганки. Это уже не детский взгляд на мир, это уже начало внутреннего монолога с использованием художественной детали — изобразительной и выразительной подробности, характерной черты мира природы, несущей повышенную смысловую нагрузку. Нагрузку антитезы. После описанной фиалки начинаешь ожидать от идиллии какой-то неожиданности. Пропустим абзац описания той самой идиллии (хотя читать его — удовольствие), и вот первая неожиданность — бурундук, испугавший детей и испугавшийся сам. И вот неожиданно вторая.

«Среди зарослей завиднелся просвет, и близкий лай собак подсказал нам, что старая дорога скоро закончится, и мы выйдем на зады деревни, где пасутся в загороде коровы и овцы.

Но внезапное живое препятствие заставило нас замереть. Сперва послышалось лишь тихое шипение, и мы не сразу, но разглядели в заросшей дорожной колее черную змею. Она свилась кольцом, и лишь приподнимала острую голову с раздвоенным языком, едва заметно раскачиваясь в нашу сторону. Сестра вскрикнула и отшатнулась, отбежала подальше назад. Заметив движение, змея тут же зашипела громче и вытянулась вверх, стала раскачиваться заметнее. Мы оцепенели от первобытного страха».

Далее кульминация рассказа с динамичным и психологически напряженным описанием битвы матери со змеей. Заканчивается рассказ грустно.

«Не знаю, снялось ли с нас хоть по одному греху, но стыд и отвращение даже сегодня охватывают меня при воспоминании о том случае. По-детски наивно хочется верить, что змея та ожила, уползла к своим детям, вырастила их. Они никогда не ужалили никого, только ловили ночами лягушек да мышей.

Первородный страх. Первородная вражда.

Змей будет жалить тебя в пяту. Ты — бить его по голове».

Вот и весь рассказ.

Композиция произведения, последовательность расположения его элементов, построены классически. В композиции рассказа выделены определенные стадии: экспозиция — введение общей ситуации, первое знакомство с персонажами (навоз, свиньи, пруд);

завязка — намек на зарождение конфликта (фиалка), то событие, без которого бы не было сюжета; кульминация — высшая точка напряжения; момент наибольшей остроты конфликта (стычка со змеей, другими словами, символическая сцена драконоборчества); развязка — исход конфликта, разрешение его.

Интересно, что мать девочки здесь выступает Георгием Победоносцем, убивающим дракона. Это один из самых интересных религиозных мифов. Герой, почитаемый у многих народов, сражает змея мечом и возвращает предназначенную для съедения змеем дочь отцу. Этот рассказ, в котором Георгий выступает одновременно как богатырь, как проповедник истинной веры и как рыцарственный заступник обречённой невинности. Здесь, в рассказе, такой представлена мать. Но не столько смысловым богатством наполнен рассказ, сколько построенной композицией, структурой и последовательностью художественного использования внутреннего монолога.

Это показывает Анастасию Астафьеву мастером, пишущим в традициях классической русской литературы, поэтому, говоря о ней, невозможно не вспомнить XIX век. Я думал, кого привлечь Астафьевой в качестве аналога — Тургенева, Толстого... И решил все-таки Лескова.

Лесков в свое время сформулировал три основных закона образцового литературного произведения:

1 — верность характеров;

2 — артистичность формы;

3 — строгость композиции.

А условием правильной композиции Лесков считал занимательность, живость, «интересность». При этом сам Лесков вмещал в повествование собственные фантазии, отчего у него получались полубыли. Астафьева пишет настолько верно, что веришь всему, что она написала, веришь, что все в точности так и было, кажется, что она абсолютно ничего не придумывает. Но я понимаю, что это невозможно, я предполагаю, что у автора было много возможностей добавить или убавить, но вот рассказ выкристаллизовался, и это требовало вдохновения и воли. Это реализм с глубокими корнями.

Про Лескова писали, что он владеет всеми таинствами литературного контрапункта, то же можно сказать и об Астафьевой. Я знаю, что таинств у нее больше, чем я это могу увидеть и распознать. Для Астафьевой нужен очень вдумчивый, неторопливый, внимательный читатель. Она была бы очень успешной в прошлом и позапрошлом веке, в то время такие читатели жили...

О рассказе А.Черного «Я убил тебя, Сережа»

Рассказ Антона Черного писался, судя по дате, пять лет, это значит, не на едином дыхании, а долго, с возвращением к прочитанному, с поправками, дополнениями, то есть рассказ — не случайный факт его творческой биографии. А. Черный известен тем, что он хорошо знает русскую литературу, и современную, и прошлую. Поэтому все, о чем он пишет, он сознательно, вольно или невольно, соотносит с прочитанным, с литературой. Его творчество не спонтанно, а гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это видно по началу рассказа, где автор размышляет о том, как бы он мог бы начать рассказ, то есть в начале автор раскрывает веер возможностей, обычно такое позволяют себе писать в романах. А потом, начав, пишут — нене, это не настоящее, это сон, а вот настоящее... В случае с обсуждаемым рассказом я могу предположить, что этот рассказ — синопсис романа, его краткое изложение, и для этого предположения в дальнейшем у меня будут дополнительные доводы.

А пока автор разворачивает незатейливое, незамысловатое повествование, в котором описывается влюбленность, измена, и то, что можно назвать «случаем на охоте», и оказывается, что переживание главного героя не оригинальны, они очень распространены, такое происходит, или может произойти, с каждым, практически с каждым. Действительно, есть такие героини жизни, которые проскальзывают по судьбам молодых людей, бывает и друзей, заставляя их вздрогнуть, и это не редкость, а как правило.

Вот и в этом повествовании друг отбил у друга его девушку, в нагорной проповеди Христа сказано: «не возлюби жены ближнего своего», почему там нет «не возлюби мужа ближней своей»? Не потому, что это нехорошо, некрасиво или неприлично, а потому что бесследно этот эпизод в жизни мужчин, близких в дружбе, не проходит. Умирает или дружба или один из них. Христос не воспитательным нравоучением занимается, а предупреждает — так будет! «и не убий» о том же — тебе же будет хуже, счастья не получишь, такова закономерность, таково мироустройство, кто нарушал эти заповеди, тот знает.

В прежние века такой узел разрешался убийством, в рассказе Черного тоже убийство, но иносказательное, убита дружба, нет дружбы — нет человека. Все описание происходящего Черным сделано живо и динамично, он пробует материал, и мнет и деформирует его. Он позволяет себе описывать природу без описания ее, напаивать героев водкой, не опьяняя их, оставляя трезвыми, стрелять из ружья, не убивая.

Его изложение идеи, сильнее сюжета или композиции. Рассказ очень христианский, очень мужской. В детстве многие мальчишки играют в войну с пластмассовыми пистолетами и кричат друг другу: «Я убил тебя!». Став взрослее, играя в любовь, они не кричат, они молча, сжав зубы, проговаривают это. И так получают закалку сердца.

И я возвращаюсь к тому, что идея рассказа достойна романа. Да и писался он долго, как роман — 5 лет.

Антон Черный

Три книги 2007 года

Мария Маркова — Наталья Усанова — Регина Соболева

1

Собственно, почему именно эти три? *«Мед — Червоточина» М. Марковой, «Днем с огнем» Н. Усановой, «Черно-Белый Альбом» Р. Соболевой*. Обоснование выборки — место, время их появления (Вологодская область, 2007 год), формат, размер, тираж — внешние приметы

означенных изданий. Внутренние — авторы-женщины. Надеюсь место-временная условность сопоставления искупится нашим стремлением к нетенденциозному сравнению их. Ведь книги эти сколь похожи, столь и различны, в чем, собственно, и будет состоять простецкая идеология нашего мини-исследования о новой вологодской женской поэзии последнего времени. Все три книги были в прошлом году изданы и представлены публике как некие события, с чем мы попробуем согласиться или нет. Ни в коем случае не претендуя на полноту анализа и окончательность оценок (каковая оговорка должна нас в будущем всячески защищать), все же и анализ, и оценки мы себе позволим.

Проявляя скромность этим признанием собственной погрешимости, хочется обозначить еще одну не для всех очевидную установку. Установка такова. Хотя в подзаголовке статьи стоят имена авторов, говорить мы будем *не о них*. Об их творчестве исключительно. Отдельные личностные оценки, если таковые и будут присутствовать, заранее оговариваются нами как относящиеся только к образу автора, его отражению в произведениях словесного искусства. Не принимая решительно переход на личности как метод дискуссии, мы сознаем, что тем самым лишаем себя части аргументов и материалов для анализа, однако на жертву эту идем спокойно, воспринимаем ее не просто как основу настоящего разговора об искусстве, но как отправную его точку.

Засим фигуры расставлены, и мы можем спокойно совершить задуманное: в одном кратком обзоре столкнуть три разных поэтики, или, забегая несколько вперед, одну поэтику и два отсутствия таковой.

2

Последовательность анализа недолго представляла для нас проблему. Алфавитный порядок (по фамилиям авторов) рассмотрения книг не только демократичен, но и вполне соответствует внутренней логике нашей работы. Итак, имея заглавные буквы М — С — У, начнем с Марковой.

Книга «Мед — Червоточина», имеет два формальных отличия от других: она издана не в Вологде, а в Кадуе; но главное — среди рассматриваемых она единственная НЕдебютная. Впрочем, узкому кружку вологодских ценителей изящной словесности Маркова стала известна в большей степени благодаря этому сборнику, поэтому определенным почином его признать все-таки стоит.

В книге Маркова предстает перед читателем как стихотворец с буквально на глазах складывающейся оригинальной манерой. Манера эта состоит в особой атмосфере доверительности, в интонации интимного разговора, до определенной черты раскрывающего внутренний мир автора *(Я постоянно и совершенно сознательно ухожу от термина «лирический герой», который, на мой взгляд, — лишь научный эвфемизм, заключающий в себе весь комплекс читательских представлений об образе автора произведения. Не претендуя на терминологический мятеж, все же оставляю за собой право называть стихи стихами, а автора автором)*. Тон этот задается первым же произведением книги — «Секрет»:

«Кто-то ведь прячет от света
секреты
в шкаф, где скелеты,
в угол, где тень.

Я же держу свой в правом кармане.
Он не мешает, не давит, не тянет.
Он слишком мал, чтоб хватило на всех.
Он слишком прост, чтоб подняли на смех.
Но для кармана он самое то
и не узнает об этом никто.»

Утверждение своего личного душевного пространства, ценимого и лелеемого именно за то, что оно *свое*, — и есть основа *своей* интонации Марковой. Автор не лезет с революциями и громами, не раздвигает границы своего Я до космических пределов. Нет, просто есть понимание того, что космос внутри гораздо главнее космоса большого:

«Он слишком мал, чтоб хватило на всех.»

В дальнейшем интимность и свойскость органично войдут в образную структуру стихов Марковой в виде персонализированных, конкретных реалий, словно вплывающих в стихи из настоящей жизни. Они — эти живые, повседневные предметы не только создают новую и необычную образность, как, например, в стихотворении «Коробка конфет и фантиков ворох...», где детские ощущения преломляются через псевдо-взрослый анализ:

«Под солнцем расплавлена тёмная мякоть
помадки и светлая — карамели.
Как хочется взять и внезапно заплакать
над ромовым сном современных вателей.

Искусство дразнить задремавшие чувства.
Пройти поглощение, как причащенье.»

Вот это «поглощение как причащенье» — одна из многочисленных ярких черточек поэтики Марковой: обыденный процесс, воспринятый и переданный по-детски, тут же получает глубину из одного обобщения.

«Простые предметы» Марковой позволяют ей строить оригинальные метафоры, подчас на самой грани, за которой вот-вот начнется ирония и каламбур:

«Дай мне уснуть у тебя на плече
старой рыбацкою лодкой.
Голос твой — дивный прохладный ручей.
Плыть по нему беззаботно.

Пой мне. Пусть ветер шумит за окном.
Сосен высоких качели.
Ткнуться в тебя успокоено дном,
в руки — песчаные мели.

День — это век, в ожиданье конца
или случайного брода.
В заводи тихой, в затоне лица
рыба бесшумная ходит.»

Метафоры «мели», «лодки» здесь развиты именно до той степени, чтобы не стать уже комическими. Умение Марковой балансировать на этой тонкой границе лиричного и смешного в этом стихотворении действительно впечатляет. Тем более, что ассоциация «мель — спокойствие» одна из знаковых в этой книге:

«И нас ведут случайные зарубки
на кем-то непридуманную мель...»

(«Ты три недели, как философ. Что ж...»)

«...уткнуться в большие лапы
приятельских многоточий...»

(«Я знаю, что я могла бы...»).

Но одна из самых интересных черт образного инструментария Марковой — способность с помощью одного живого, зримого, лаконично поданного образа оживить стертый от частого употребления образный ряд. Так в части 5-ой цикла «Лю»:

«Август не рвется в окно.
Август за городом бродит.

Вечный бродяга и мот.
Золото яблок и воля.
Спас и пшеничное поле,
ветром пройденное вброд.»

Жнива и межа из пыльных хрестоматий одним росчерком («поле, //ветром пройденное вброд») приобретают перспективу. Плоский холст передвижников неожиданно становится трехмерным за счет этой цепко схваченной вещной детали. Не говоря уже о звукописном ряде [*тро*] — [*про*] — [*бро*].

Те же приметы оживления «метафорических трупов» находим и в стихотворении Марковой, посвященном вечной осенней теме:

«Беззубый ощерив рот,
судачат о нас старухи,
и *листья летят, как слухи*,
в осенний водоворот.»

(«Какие тревожные дни!..»)

Сплетение двух образов в одном сравнении (судачащие старухи + листья), да еще и сцементированное смежной рифмой «слухи//старухи», создает эффект метафорической призмы, в которой сквозь последующие строчки видны предыдущие.

Уверенность в высшей ценности *личного*, *своего* в мире не раз становится предметом размышлений автора. Индивидуальность настолько самодостаточна, что даже не способна к полному самовыражению, самопостижению:

«Если бы меня спросили,
о чем я здесь написала,
я бы промолчала, стесняясь, в шесть лет,
сказала бы «не ваше дело» в шестнадцать,
испугалась бы в тридцать,
послала бы всех к черту в семьдесят пять.

Думаю, где-то после трехсот,
я бы знала, что ответить.»

(Цикл «Лю», часть 8-я)

Прочувствованность, переработанность мира через личные ощущения и предметы — фундамент складывающейся оригинальной художественной манеры Марковой. И путь этот столь же универсален, сколь и беспроигрышен — как это ни парадоксально, индивидуальное в поэзии всегда было и будет кратчайшим путем к самым великим обобщениям и открытиям. Художественный инструментарий автора на этом пути широк: рифмованная силлабо-тоника, белый стих, верлибр, тонический стих применяются не как самоцельные формы, но в большинстве случаев приспосабливаются к характеру высказывания, используются как гармоничные системы, предназначенные каждая для своего. Умелое (не без исключений, конечно) владение формой все же не позволяет стиховедению взять верх над стихом.

Определив достоинства поэтики Марковой, можно легко понять, в чем слабые места и пустоты этой книги. А появляются они именно там, где личностное начало ослабевает, уступает место штампу, то есть там, где слово идет по пути наименьшего сопротивления. Образчик такой «безличности» находим без труда:

«Ни к чему продолжать эту связь,
если скоро поймём мы, откуда
эта нежность слепая взялась,

если скоро пойдут пересуды
и намоют нам косточки всласть
сквозняки, пенталгин и простуды,

ни к чему продолжать эту связь,
если выбрана каждым дорога,
и куда бы она ни вилась...»

Абсолютная безóбразность этого стихотворения кроется в отсутствии всякой индивидуальной окрашенности описываемого. Язык не только беден метафорическим компонентом; он опошлен метафорой стертой, безжизненной («если выбрана каждым дорога»), так что на фоне других стихов это выглядит просто капитуляцией.

Это же относится и к стихотворению, давшему название всему сборнику — «Одиночество ты мое...»:

«Одиночество ты мое,
не спасают ни ночи, ни творчество.
В исступлении сна — пророчится.
В каждом слове рожденном — мед.
Червоточина.

Я сама эту долю выбрала,
и с ума б не сойти теперь.
Одиночество мое — зверь,
доморощенная калигула,
жуткий цезарь любви моей.»

Незамысловатость метафорического ряда в данном случае близка даже к обыденной речи. С ней также сближает текст затемненность некоторых смыслов. Например, метафора «цезарь любви» да еще и с эпитетом «жуткий» напоминает не окказионализм, а скорее тривиальную речевую ошибку, смешение слов цезарь//цербер. Даже строчка «не спасают ни ночи, ни творчество...» не спасает стихотворение своей звукописной вычурностью. Присутствие обыденно-речевых и непонятных метафор лишает текст «второго плана», того тайного фонарика, который и должен подсвечивать сзади стихотворное полотно.

Наибольшая крайность «деперсонализации» в стихах Марковой — трюизмы, банальные истины, поданные без всякого логического поворота, незамысловато и блекло. Таково стихотворение «Неверно живу — не цепляюсь...», в котором предпринята попытка уравновесить безлично-дневниковую первую строку второй — псевдо-философской:

«Свободнорожденное слово
не знает ни цепи, ни крова
и нечего слову терять.»

Таких маленьких капитуляций в книге едва ли не треть, но коллекционировать ошибки не входит в наши задачи. В этом мы усматриваем скорее не творческую, но составительскую проблему, актуальную практически для всех авторов, издающихся самостоятельно в Вологде. Отсутствие всяческой внешней оценки при отборе стихов (слава Богу, если он вообще присутствует) и формировании сборника, проработке его композиции приводит к тому, что «шлак», который не должен выходить дальше творческой лаборатории автора, «засоряет» книгу. Горациево правило «Через девять лет будет издано» забыто: не «вылежавшиеся» стихи бросаются бездумно в общий котел. В результате «Мед — Червоточина» лично для нас полностью соответствует своему названию: многочисленные проблески настоящего лиризма «разбавлены» в ней изрядной долей безликих поделок, отвлекающих читателя от главного, создающих ненужные помехи в поэтическом эфире. Хотя мы и условились рассматривать все три книги как бы герметично, безотносительно к предшествующему творчеству авторов, все же для справедливости нужно отметить, что в первой книге Марковой «Упоение» такой вот «шлак» составлял едва ли не три четверти объема. То есть рост налицо.

В данном случае очень трудно разграничить проблемы книгоиздательскую и творческую. Как мы сможем убедиться в разговоре о двух других книгах ушедшего года, первая стоит едва ли не острее второй.

3

Что ж, раунд второй. «Черно-белый альбом» Регины Соболевой открывается фразой из предисловия, объясняющей практически все об этой книге: «принцип расположения стихов в нарастании экспрессии». ВНЕтекстовое основание градации содержимого заставляет задуматься: а что же свяжет все эти тексты воедино, помимо экспрессии? И есть ли в них что-то, кроме нее? И первое же стихотворение, написанное спотыкающимся дольником, впечатляет именно тем, что самое интересное и изящное, судя по всему, осталось за пределами текста: ни впечатляющей образности, ни единства формы, ни даже элементарной логики в этих словах нет:

«Выдавить краски — вытравить душу.
Тюбиков хватит на все.
Палитра полна, холст готов, но сушит
Художник кисти и кровь.»

И дело даже не в неожиданном пропуске рифмы, подобие которому есть у великого поэта-иронисты Игоря Иртеньева:

«И верхней частию своею,
Которой имя — голова,
Стихи слагаю, как умею,
А я умею хорошо.»

Пугает отсутствие в стихах Соболевой «мысли, мысли и еще раз мысли». Речь не о том, что составленные вместе слова этого стихотворения не имеют никакого смысла. Безусловно, это русские слова и русские фразы, построенные согласно русской грамматике. Да только вот для того, чтобы получилась поэзия, простого соседства слов недостаточно. Нужна новизна, свежесть, маленькое открытие. И все это достигается средствами прежде всего стиховыми, то есть художественными, тем, что называют «поэтическим ремеслом». Видимо, выбирая согласно своей искусственной схеме для начала самое низко-экспрессивное стихотворение, автор не понял, что допускает фатальную ошибку: в этом безжизненном комке слов, лишенном эмоциональной напряженности, больше никаких достоинств нет. Пытаясь писать в тонической манере, где ритм определяется акцентными, а не акцентно-слоговыми характеристиками, Соболева допускает школьные ошибки. Ведь основной гармонический принцип тоники — равное число ударений в рифмующихся строках. А когда в строку «Палитра полна, холст готов, но сушит...» вползает лишний ударный слог (на «холст»), утяжеленный ко всему прочему стечением согласных, четкий тонический ритм рассыпается.

Проблема у впервые читающего Соболеву может быть такая: что это? Огрех или сознательный прием? Но по прочтении еще нескольких страниц у того, кто знаком хоть с чем-то изящнее «Репки», сомнений не останется: налицо полная беспомощность автора перед стихотворной формой. Провальный дебют этого стихотворения в начале книги делает закономерным общий провал, следующий за ним еще долгие 79 страниц. Провал «с нагнетанием экспрессии». Слова не слушаются автора, бегут как хотят, калеча ритм и звук:

«И жизнь как сквозь пальцы от нас утекает —
Бежит и бежит, скорей и скорей...»

(«Поезд» из цикла «О смерти»)

Ошибка аналогичная: в 1-й и 2-й стопе 4-ст. амфибрахия допущены сверхсхемные ударения, усугубленные страшными стечениями согласных: «...жизнь как сквозь...». В результате озна-

ченная «жизнь» течет «сквозь пальцы» не «скорей и скорей», как ей подобает по тексту, а весьма медленно и с большими препятствиями. К тому же, не нужно объяснять, что в сравнении «убегать, как сквозь пальцы» особой новизны не содержится.

Ритмы, болтающиеся у Соболевой без всякой системы и смысла, порой достигают комических соответствий, как, например, в стихотворении «В обличьях разных смерть ко мне являлась...», где серьезная тема, не блещущая, впрочем, ни единой достойной строчкой, решена с помощью разностопного ямба крыловских басен. Абсолютное непонимание автором формы как живого субъекта поэтической речи, отсутствие чувства формы, ассоциаций, идущих за ней приводит к тому, что слова сваливаются в строки кое-как. «Баснописный» стих о смерти вообще заканчивается надгробным камнем виршеписца — рифмой «бремя//время».

Наблюдая за обращением Соболевой с поэтической формой (пресловутой «экспрессии» пока не касаемся), я неожиданно понял, что все ее сбивки, шероховатости и огрехи — не стилистический прием, не попытка (чур меня!) какой-либо стиховой революции, а элементарное подражательство классике, причем в школьно-учебном ее восприятии. Подражательство неумелое, никем не подправленное, не отредактированное — каждое отдельно взятое произведение превращается в школьный стишок на тему «мир вокруг меня». Отсутствие компетентной внешней редактуры приводит к появлению даже фактических ошибок. В стихотворении «Пушкинский мемориал», автор бегло описывает дуэль поэта:

«Шесть анонимок, выстрелы, *наемная пролетка* –
Как быстро, странно, невозможно, дико!»

Выделенная мною «пролетка» любого читающего человека заставит недоуменно нахмуриться. Какое отношение она имеет к описываемым событиям, если легендарная дуэль происходила зимой на окраине города, куда ее участники, кроме саней, не могли ни на чем добраться? К тому же представить себе камер-юнкера двора Его Императорского Величества столбового дворянина Пушкина, разъезжающим на «наемной пролетке» — вот это уж воистину «странно, невозможно, дико». Суть этих замечаний не в обычном буквоедстве, хотя и в нем тоже, но в отсутствии у автора такого вот буквоеда-советчика, который поправил бы сии глупости, прежде чем они будут пущены в тираж.

Творческий «шлак», подобный описываемому, составляет практически весь корпус книги. Что же до «экспрессии», то она лишь подчеркивает стихотворное убожество текстов Соболевой:

«Я мясо! Мясо! — нет во мне души!
Ничем не лучше обезьяны с палкой!
Но в то же время мои мысли — хороши,
Я прав всегда с своею правдой жалкой.
Ведь даже обезьяна палку мечет в цель,
Я — мясо, но все ж разумный зверь...»

Стихи, наполняющие сборник «Черно-белый альбом», если их лишить экспрессивного элемента, становятся пустым местом, лишенным оригинальной мысли, изящной формы, подтекстов и сверхтекстов. Когда же над словесной кашей поднимается ор экспрессии, возникает химера стиха, недолговечный энергетический заряд, не несущий никакой смысловой нагрузки. Даже эпатажное попирание высоких тем (стихотворение «Поцеловать знамя» из цикла «Революционное») не дает ничего, кроме самого попирания. Потому что там, где нет мысли и умения ее подать, крик не помогает. Так, гражданский пафос Соболевой оказывается смешным, злоба — преувеличенной, обиды — надуманными, герои — ходульными.

Наш обзор не претендует на исчерпывающую полноту, но кое-какие обобщения нам уже сейчас могут быть доступны. Прежде всего зададимся важным вопросом: *а имеем ли мы право быть столь строгими к этой книге?* Ответ лежит на поверхности: *безусловно, нет*. Не можем, потому что перед нами сырой поэтический субпродукт, по роковой случайности оказавшийся книгой. Из сборника явствует, что собственный взгляд, индивидуальная творческая манера у Соболевой еще не выработались, и неизвестно, выработаются ли вообще. Стихи эти, по сути, *ученические*, не предназначенные для тиража, даже такого скромного, как у этой книги. Соот-

ветственно, и критерии оценки, и подходы к ним должны быть иными. Произошел фальстарт: первая книга дает нам автора, который еще не сформирован.

Кто же допустил, чтобы автор поспешно выложил в книгу столько «необработанной руды»? Боюсь, что вопрос этот требует отдельного разговора, и найти правильные ответы нам помогут раздумья над последней из рассматриваемых книг 2007 года.

4

Приступая к книге Натальи Усановой «Днем с огнем», необходимо сделать кое-какие важные для нас отступления. Прежде всего они касаются того, что этот поэтический сборник мы будем рассматривать отдельно, практически не принимая во внимание вторую книгу Усановой «Внутри», вышедшую «дуплетом» в том же году в том же издательстве. Это вовсе не означает, что мы пренебрегаем рассмотрением автора в его развитии. Наоборот, такая «герметичность» анализа позволит нам смягчить некоторые оценки данного сборника, но мы ни в коем случае не хотели бы хвалить или ругать книгу за то, чего в ней нет. Поэтический сборник рассматривается нами как произведение не только и не столько полиграфическое, сколько творческое и составительское. Как будет видно из окончательных итогов нашего обзора, именно завершенность всех трех книг позволяет нам выйти на уровень обобщений, лежащих за пределами этих издательских продуктов.

Книга Усановой практически лишена того, что бурлит и «нарастает» в соболевском сборнике — той самой экспрессии. Задумчиво-спокойная, порою даже несколько отстраненная речь автора течет без всплесков и бурь. Ее позиция — автор-наблюдатель. Это касается разных тем и лирических ракурсов. Например, любовных:

«Ты смотрел на мои веснушки
Сероглазым усталым взглядом.
Я сидела, обняв подушку,
Вроде рада, а вроде не рада...»

Эти стихи-картинки безэмоциональны и просты, но в этой простоте и безэмоциональности, как в дистиллированной воде, никакой жизни не рождается. Даже самые яркие и глубокие эмоции автор умудряется облечь в форму отстраненную и равнодушную. Примером тому стихотворение «Друг на плече принес свое горе...», где метафора разбора горя на «теории» не окрашена ни иронией, ни сочувствием, ни протестом — ни одной человеческой эмоцией. Такое впечатление, что читаешь записанные в рифму показания какого-то счетчика.

Подобная же «роботизация» эмоций наблюдается в стихотворении «Один человечек, честный и чистый...». Текст построен в виде какой-то «холодной притчи»: ни единой нотки отношения к происходящему, ни каких-то вполне ожидаемых выводов из ситуации — ничего. Поневоле становится актуальным признание, звучащее в стихотворении «У меня остались...», опять же неокрашенное горькой самоиронией, так что вообще непонятно, всерьез ли это сказано. Признание такое:

«Эта масса текста
Тянется, как тесто.
И искать в ней смыслы
Даже неуместно.»

Пролистывая сейчас книгу Усановой со своими пометами на полях, я заметил что самой частой среди них оказалась «Ну и что?». Потому что воистину, дочитав текст до конца, зачастую просто не понимаешь для чего он написан, о чем он. Что это, кроме чьих-то мыслей вслух, не решившихся ни на один шаг в сторону поэзии? Лишь иногда в этих текстах начинает исподволь просвечивать живое эмоциональное начало, без которого любые стихи — лишь строчки в столбик. Таково стихотворение «Не весна, потому что зима...», где отказавшись от многословия, автор делает попытки обрисовать интонации и ситуации легкими черточками («Разлюбить бы... Билет — и уехать.»). Но такие попытки редки, они тонут в пустословии своих

невзрачных соседей. Таких, например, как стихотворение «Ты любишь ветер совсем по-своему...». Порой отмеченные нами «черточки» всплывают посреди провально затянутого скучнейшего текста. В стихотворении «Было жутко и холодно по-антарктидски...» есть одна деталь, которая так и «выстреливает» своей интимностью, человечностью:

«Мне не важно, что ты мне на это скажешь.
Ты ушел в никуда, сам себе не нужен.
На тебе пуховик не застегнут даже...
Я бежала, не видя машин, прохожих.»

Вот эта трогательная, ни к чему здесь не относящаяся забота о том, что «он» уходя не застегнул пуховик, заставляет поверить во всю сцену. И дальнейшие детали, пусть и не такие действенные, подкрепляют эту человечную правдивость стихотворения («...Я нашла тебя в центре, вблизи от «Спорта»...»), но переход к пустопорожним безличным фразам снова «топит» текст. Особенно последний «гвоздь» — попсово-шлягерная метафора: «И в глазах твоих холод за минус тридцать». За подобные псевдо-поэтизмы еще в пушкинские времена приличные стихотворцы не подавали руки.

Будничность стихов Усановой особенно ярко проявляется там, где ей и положено, — в описании будней. В тексте «Сижу. Поглощаю за блюдом блюдо...» кроме детального описания разных скучных новогодних безобразий (похмельный Дед Мороз, снегурочки-стриптизерши) ничего нет. Здесь мы сталкиваемся с удивительной каверзой. Открытый Шкловским прием «остранения», когда вещь или событие показывается необычным, странным, у Усановой абсолютно не срабатывает. Она пытается показать новый год как бы с темной изнанки, но ведь эта изнанка всем хорошо знакома, а потому нисколько не странна, не удивительна, не интересна. То, что жизнь скучна, — весьма скучное открытие.

Лишь иногда бесстрастная Муза Натальи Усановой порождает любопытные образчики. Например, стихотворение «По ночам, когда выползает луна...» уже наполнено некоторыми ироническими коннотациями:

«Особенно любят поэты страдать –
С нервами нежелезными.
Они постоянно не знают, куда
Засунуть свою поэзию».

Впрочем, и здесь третья строфа лишь занимает место, так что об окончательном успехе вряд ли может идти речь. А вот стихотворение «Икона» представляется нам удачным именно потому, что в нем автор переборол собственную бесстрастность, в своем «остранении» порой даже похожую на кощунство:

«Ну, сделал картинку
Старик посторонний.
Его личный бред.
Он талантливый был».

Последние две строки как бы «опрокидывают» бесстрастие всех предыдущих, перечеркивают их, как знаменитые цветаевские «Но если по дороге куст// Встает. Особенно рябины...».

Подводя итог, можно говорить о том, что книга «Днем с огнем» представляет больше провалов, чем успехов, весьма и весьма редких. И главная ее неудача не в стиховых ляпах, перебивках и неровностях, как у Регины Соболевой. Нет, гладкописью Усанова овладела, кажется, вполне. Но гладкость эта оборачивается тем, что книга попросту скучна. Поэтическая недосказанность в ней становится ничего-не-сказанностью. Отсутствие эмоций не дарит читателю ни радости, ни горести, ни смеха, ни слезы. Не дарит ничего. И здесь вновь напрашивается мысль о неком фальшстарте, ибо, приоткрывая завесу «герметичности» анализа, можно утверждать, что вторая книга Усановой «Внутри» представляет собой если не противоположность, то по крайней мере некую альтернативу бескрылому первому сборнику. На этом, пожалуй, и остановимся, так как сопоставление двух этих книг выходит за рамки нашего исследования.

5

Три книги, рассмотренные нами выше, представляют нам современную вологодскую поэтессу на разных ступенях ее развития. Творчество Регины Соболевой — чистой воды ученичество, лишь по недоразумению оказавшееся опубликованным. Наталья Усанова в книге «Днем с огнем» представляет нам определенные зачатки будущего развития, в определенной степени получившие продолжение в ее второй книге «Внутри», но в приведенном нами сборнике затерявшиеся в общей скуке и неоригинальности. Что же до Марии Марковой, то сборник «Мед-Червоточина» дает нам право говорить о появлении в нашей среде нового самобытного автора, хотя некоторые стихи этой книги и являются откровенно проходными. Мерой оригинальности становятся личная прочувствованность и оценочность, глубокая субъективность текстов. Там, где она мала, мы видим скуку и недоделки (Усанова и Соболева).

Сам факт появления этих трех книг в один год позволяет нам говорить уже об определенных тенденциях в частной книгоиздательской практике Вологды. Прежде всего, это отсутствие какой-либо редакторской и составительской работы. «Сборник» понимается буквально — собрание неких текстов, всего подряд, без всякого толку и смысла. Я уж не буду пугать вас такими заумными словами, как «композиция». Качество текстов в отсутствие внешней оценки остается в таком случае исключительно на совести автора. Не пройдя «отсев», в книгу попадают случайные стихи, лишь заполняющие объем. Порой не приходится говорить не только о редактуре. Даже корректуры приличной некоторые сборники, похоже, не проходили. Так, в книжке Усановой на страницах 13 и 14 два раза напечатано одно и то же стихотворение.

Но если применительно к Марковой мы можем говорить только об определенных огрехах, «лишних» стихах, то книги Соболевой и Усановой явно не стоило издавать вообще, так как творческая несостоятельность обеих очевидна. В настоящее время инициирован процесс принятия Н. Усановой в Союз Российских Писателей. По правилам заявитель должен представить в СРП две опубликованные книги. Так вот закрадывается такое сомнение: не есть ли издание двух книг подряд, первая из которых явно уступает второй по качеству, — намеренный шаг? И не имеем ли мы дело в данном случае с чисто бюрократическими причинами появления одной из них?

Проблема отсутствия внешней оценки при издании поэтических сборников имеет всеобщий характер и не зависит от степени одаренности поэта. Автор, относящийся к своим произведениям, как к родным детям, зачастую не может увидеть в них слабину, недоделанность. Для него немыслимо представить, что среди его творений есть и уродцы, и заморыши. Когда же сборники составляются и печатаются впопыхах, эти огрехи только множатся.

И здесь пора сказать о той причине, которая заставила нас анализировать вышеприведенные книги в отрыве от того, что было у этих авторов раньше или позже. Дело в том, что к читателю книга попадает такой, какая она есть. Книга — это вещь в себе. Смешно объяснять такие вещи, но в ней нет ничего, кроме того, что в ней есть. И если редактуры не было, будут в ней плохие стихи, неудачные строчки, которые можно было подправить простой перестановкой слов; и некому будет объяснить читателю, что вот это — не самое лучшее стихотворение, что это вот — случайная ошибка, и вообще, мол, лучшие стихи автора напечатаны не в этой книге, а в следующей...

Но не нужно обманываться: плохие книги плохи не только для читателя. Ведь в сладкой парочке «писатель — читатель» первый всегда заложник второго. Месть читателя проста: он закроет скучную книгу и больше не откроет ее никогда. А может быть больше не откроет ни одну книгу этого автора, какие бы замечательные стихи в ней ни содержались. И даже если автор наиздает потом целые тома отличных стихов, воспоминание о той, провальной, книге будет еще долго вызывать в нем чувство неловкости. Здесь мы выходим на уровень проблем уже не книгоиздательских, а общелитературных. Вопрос депрофессионализации литературного процесса очень остро стоит в наше время, однако рамки данного исследования не позволяют нам отдельно останавливаться на нем.

Заключить наш обзор хотелось бы сакраментальным вопросом: что же делать? И достойным на него ответом: а ничего не поделаешь! Непрофессионально изданные книги будут печататься, и никакой критикой тут положения не поправишь. Выход может быть в другом: назло всему делать качественные книги. Привлекать редактора, составителя, выверять, вычитывать, взвешивать все до последней буквы. Я уверен, появление профессионально подготовленных поэти-

ческих сборников заставит активных участников литературного процесса задуматься над сложившимся положением, а впоследствии (о! мечтанья!) воспринимать таковые издания как эталон.

Из обсуждения статьи «Три книги 2007 года»

Моя статья вызвала в начале прошлого года шквал возмущения. Разгорелся оживленный спор на форуме ВОСРП (vosrp.artvologda.ru/forum). Некоторые извлечения из этой полемики я счел уместным привести здесь в качестве приложения, чтобы не казалось, что мнение, высказанное мной в этой статье, является единственным и окончательным.

С. ФАУСТОВ (Вологда):

«С точки зрения критики позапрошлого века подобному «убойному разбору» можно подвергнуть любую (любую!) книгу, выпущенной в прошлом году в любом издательстве РФ. Сам язык исполнения «критики» направлен не на исследование текста, а на укалывание отравленным зонтиком. На то, чтобы дать максимум дискомфорта всем подряд, в том числе и случайному читателю. Запугать всех. Прослыть крутым. Стать последней инстанцией — фишка дальше не идет! Вот оно, где истинное резонерство-то. Вот оно, бревно, рядом.

Статья хороша в смысле демонстрации ностальгии по прошедшему времени и собственной безжизненности в условиях нового века.

Она показывает, как не надо писать в 2008 году».

«Пословица «тяжело в ученье, легко в бою» сегодня не работает. Пока мы учимся фехтовать на шпагах, другие перешли на огнестрельное оружие. Поэтому ученье нынешнего времени непременно включает в себя элементы боя. То есть, недостаточно грызть гранит науки и впитывать знания, надо уже сейчас создавать новые знания. А новое становится знанием после его презентации, причем в лучшей его форме — в инете, а не в худшей — в книге. К сожалению, заскорузлая система до сих пор требует. Чтобы стать писателем, надо издать книги.

А надо так, чтобы обсуждения стихотворения были здесь, это гораздо важнее и интереснее книги. И в союз принимать по факту обсуждений и голосований, с набором проходного балла очков. Чтоб друг друга спрашивали — ты скока очков набрал?

Надо приучить приемную комиссию в москве к тому, что проведенное такое обсуждение и есть протокол и законное решение ВОСРП, и официальная заявка на прием.

Надо бы это опробовать. Пора уж. Только где такая площадка?».

А. ДУДКИН (Кадуй):

«Статью Чёрного прочитал полностью. Если говорить не конкретно, то я с ним, к сожалению, согласен... Про частности что-либо сказать трудно. Не читал я первую книжку Усановой, а вот вторая — «Внутри» — мне понравилась. Об этом я самой Усановой и написал».

«Редактор всё же необходим. Но беда в том, что нет среди нас ни одного редактора, точнее, никто не соглашается быть им. Вспоминаю недочитанную мною книгу Михаила Калинина. И утверждаю: вот если бы из трёхсот стихотворений этого сборника выкинуть двести (хотя бы только выкинуть, не редактируя оставшиеся), другой бы получилась книга. И скорее всего, замечательной. Автор же, сам, так как он любит всех своих детей, не способен объективно судить о них. И ещё беда в том, что никакими способами, окромя диких, диктаторских, которые для нас (?) неприемлемы, бороться с серым самиздатом (я имею в виду качество текстов) невозможно.

С другой стороны и в Самиздате выходит немало хороших книг. Когда-то и Марина Цветаева за свой счёт печаталась. Может, тогда учредить Вологодскому отделению Союза российских писателей какой-нибудь знак (что-то вроде знака качества), который бы ставился на тех только книгах, которые бы получили положительное заключение экспертного совета. Неужели, спрашиваю я, Ната Сучкова и Сергей Фаустов откажутся прочесть в год четыре-пять рукописей и оценить их?».

Е. КОНОВАЛОВ (Ярославль):

«Доброго времени суток всем уважаемым участникам дискурса.

С немалым изумлением слежу за развитием разговора и ясно вижу, что обсуждать содержательность и доказательность рецензии никому не приходит в голову. Дело ограничивается критикой «тона» рецензии как неадекватного. Это странно и удивительно.

Критика — искусство, которое, по выражению Пушкина, непременно должно содержать «перец». И достаточно почитать критические отзывы того же Пушкина (скажем на Плетнева, Рылеева или Шевырева — не последних, между прочим, графоманов) или Гумилева, или Бунина, или Ходасевича (опять же, на серьезных поэтов) — дабы убедиться в том, что выбранный г-ном Черным тон более чем корректный. А если сравнить последний с тоном, скажем, известного современного критика г-на Топорова, так и вообще — интеллигентное благодушие.

Важнее, на мой взгляд, другое. Поэтическая рецензия, по определению, призвана кратко охарактеризовать стихотворный сборник для человека, который его, сборник, еще не читал. Например, для меня. Ибо я, грешен, не читал упомянутых поэтесс. В этом смысле «сборная» рецензия г-на Черного вполне состоялась. И вполне аргументирована. Приведенные цитаты, действительно, в большинстве своем, демонстрируют весьма посредственный поэтический уровень. Хочется думать, что никто не посчитает такие пассажи, как «жуткий цезарь любви моей» или «даже обезьяна палку мечет в цель» образчиками высокой поэзии. При всем уважении к авторам. Которым, к слову сказать, я даже несколько завидую. Поскольку нашелся человек, не пожалевший своего времени и труда вчитаться в подобные стихи и вынести развернутое суждение на достаточно профессиональном уровне. Окажись я на их месте, был бы прежде всего — благодарен за подобный труд и рад поразмышлять над замечаниями.

Одним словом, хотелось бы более профессиональной реакции на вышенаписанную рецензию. На мой взгляд она того вполне заслуживает».

И. СМИРНОВ (Лос-Анджелес, США):

«С творчеством Марковой, Усановой и Соболевой я знаком, и даже рецензировал «Черно-белый альбом», где сосредоточился больше на эмоциональном, образном ряде. Эссе у Антона вышло хоть и жесткое местами, но, по моему мнению, беспристрастное, с претензией на полную объективность. Главный минус, однако, это то, что он порой слишком углубляется в недры поэтики каждого автора, забывая иногда вернуться к общей картине, общей мысли того или иного сборника. Критика в целом вполне аргументирована, и вряд ли является бранью.

Соглашусь с разбором Марковой. Действительно, стихи сильные, именно подкупающие своей «свойскостью», дышащие русским. Есть конечно и проходные фразы, творческие слабинки и вполне правильно замечание Черного о том, что у книги должен быть редактор. (Это относится ко всем 3-м книгам). Или хотя бы «третье, сведующее лицо», которое пропустит материал через фильтр своего критического сознания и выберет лучшие зерна, а там уж дело за автором.

По поводу «Черно-белого альбома». Черный возможно прав в том, что экспрессия и эмоция здесь действительно берут верх над формой стихов, их цельностью, а иногда и захлестывают собою мысль... Но «79-ю страницами провала с нагнетанием экспресии» я бы это не назвал. Из общего бурного потока выскакивают интересные стихи, образы, картинки, которые до сих пор живы в моем воображении... Значит, что-то сработало... Конечно, если честно, то, по-моему, не стихи, а проза получается у Регины сильнее, и я предвижу ее успешное развитие в этом направлении. Экспрессивность, интеллектуальность, храбрость, сумашедшая плодовитость и претензия копнуть глубоко (особенно подкупившая меня), я уверен, засияют (если уже не сияют) именно в ее прозе... надеюсь, не разочарует!.. Что же до данного дебюта, то конечно могло бы быть лучше... Сердце заглушило все остальное, но факт на лицо — ОНО бьется, ОНО есть.

По поводу Усановой... слова Черного о том, что здесь, «как в дистиллированной воде никакой жизни не рождается», не считаю справедливыми. Да, форма не тяготеет к экспрессии, есть тенденция к интроверсии, созерцательности, даже нарочной научности образов, языка, но от этого-то иногда и будоражит... так как в комбинации с глубоко драматическими сюжетами, это и дает тот самый эффект «контрастного душа», от которого мурашки по коже! Особенно срабатывает в таких стихах, как «Было жутко и холодно по-антарктидски». Есть опять же

проходные вещи, там, где интроверсия перебарщивает, там, где ждешь толчка, а его нет... Но тем не менее, в сборнике даже больше, чем отдельно взятые стихи, меня увлекает общий смысл, и какой смысл!!! — поиск ЧЕЛОВЕКА человеком в человеке, вселенская тоска по Единости, по теплоте, по любви всеобъемлющей, которую автор ищет Днем с огнем! По задумке и глубине книгу Усановой можно поставить на первое место в этой тройке! По качеству исполнения, самобытности языка, верх берет Маркова. Экспрессия — океан Регины Соболевой».

М. МАРКОВА (Кадуй):

«Мысленно аплодирую г-ну Черному. Вот, наконец-то, нашелся хоть один человек, который мне не улыбается, и мне после него не улыбается и никогда уже не улыбнется наивное ощущение своей непогрешимости. Честное слово, мне стыдно за большинство стихотворений в своем сборнике. Правда-правда. Галина Щекина не права, когда говорит, что Черный признал Маркову лишь тогда, когда все о ней заговорили. Он снизошел до того, что посчитал достойным внимания (и это касается всех трех книг, до которых он снизошел). А первая моя книжечка, по моему глубокому убеждению, вообще слаба. посему внимания приличных и уважающих себя критиков не достойна. Конечно, далее можно продолжить самоуничижение, да не дождетесь. Я еще не совсем из ума выжила.

Поэту можно и нужно мешать, поскольку, в первую очередь, читатель зависим от поэта. Зависимость эта сродни болезни, неизъяснимой, неизлечимой, продолжительной. А мы-то, поэты, еще удивляемся, почему это нас читать перестают. А читать-то, оказывается, и нечего. Вот этой самой пустотой мы, нимало не смущаясь, практически насильно кормим читателя. И ведь ест (чтоб его), не приглядываясь, не принюхиваясь, а так из долга, стало быть, читательского. Затем мы ждем от опустошенного, больного и на глазах седеющего читателя чего-то многообещающе позитивного, а он только срыгивает и засыпает. Просыпаясь же, не помнит ничего из прочитанного, потому как пустое, не бери в голову!

Какие-то нелепые прыжки вокруг критической статьи Антона смешны. Он достаточно объективен. Он прав, что забыл о том, кто перед ним: девочки ли, мальчики ли. Существует только Поэт, который в любой момент может быть привлечен к ответственности ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ. Читателем. Не надо фиговым листочком прикрываться. Что касается крутизны и зауми, то не завидуйте попусту, все мы так можем. Вопрос в том, кто будет более прав, а прав пока только Антон. На одной эмоции далеко не уедешь. Негодование, начерно благородное, а начисто более похожее на пустозвонство, если копнуть (куда уж глубже), яйца выеденного не стоит. Имейте смелость признать свою слабость. Это достаточно просто, если иногда внутрь себя заглядывать. Черный никого не хотел обидеть. На свои же ошибки обижаться глупо. Грустно, на самом деле, все это.

С какого конца яйцо ни бей, с тупого ли, с острого ли, а проблема частного книгоиздания, на которую Черный обратил наибольшее внимание, остается наиболее актуальной не только для начинающих, но и для уже состоявшихся авторов. Действительно, будь я более ответственна, в первую очередь перед самой собой, я, быть может, избежала бы многих ошибок, грубых и непростительных. Тайное чувство стыда и смущения останется при мне на всю жизнь (и это не громкие слова, просто память человеку дана, и от этого никуда не деться). А за сколькое мне еще предстоит стыдиться, даже представить страшно!.. Я может и сейчас в чем-то ошибаюсь, может не права я во многом, и ткнут меня в это пребольно свои же. Что ж. И мне эмоции не чужды.

Итак, добро пожаловать на суд, самый справедливый суд в мире».

Календарик

О книге А. Логиновой «Гербарий»

Данная статья была первоначально задумана как самостоятельный разбор новой книги молодой вологодской поэтессы Александры Логиновой «Гербарий», выпущенной недавно в Вологде издательством «Свеча». Однако жизненные обстоятельства внесли свои коррективы, и основные тезисы этой статьи были озвучены еще прежде, чем они были перенесены на бумагу — на обсуждении книги в ЛИТО «Лист» 30 марта. Таким образом, настоящая статья станет

чем-то вроде обзорного конспекта той «речи в защиту Логиновой». В ней я хотел бы отразить лишь самые существенные соображения о природе поэтики автора, композиции и концепции книги.

1

Начать хотелось бы с одной особенности стихов Александры Логиновой, которая вызвала наибольшее количество нареканий и придирок студийцев — «отсутствие рифмы». Это утверждение намеренно поставлено мною в кавычки, поскольку его обоснованность кажется мне не вполне очевидной. Имелось здесь в виду не отсутствие рифмы как таковой, но рифмы яркой, четкой, то есть той, которая привычна нам в ее классических образцах, а также образцах модерного времени. И здесь требуются некоторые пояснения. Вот пример (строки пронумерованы для удобства):

а) Волны цвета сирени,
б) Гладь и лодки причал.
в) Здесь у берега веришь
г) Ты в начало начал.
д) И круги легким телом
е) Разошлись по воде.
ж) Каждым камешком смело
з) Округляется век. (стр. 33)

Единственная рифма в данном стихотворении, которая может удовлетворить стиховедческим критериям глубины и точности, — б/г (причал/начал). Это для современной поэзии скучный рифменный идеал.

NB: Напомним, что точность рифмы определяется совпадением ударного гласного и послеударных звуков. Глубина рифмы — совпадением предударных звуков.

Таким образом, д/ж — неточная глубокая рифма. Любимое детище русских поэтов, начиная с серебряного века, практически не прижившееся в других европейских поэтиках. Все остальное — как раз те самые рифмы, «которых нет»: а/в, е/з. Обе основаны на созвучии только ударного или ударного и послеударного гласного звука. Согласные здесь неважны. В рифме сирени/веришь игра ведется на тонком совпадении созвучий [е-и]/[е-и]. В классическом стиховедческом понимании таковая рифма и правда относится к разряду неточных неглубоких рифм. Но не плохих.

Стихи Логиновой, как это ни странно, отражают общую историческую тенденцию «расподобления» русской рифмы. Прием этот нащупан автором, безусловно, неосознанно, но его неоднократное и последовательное применение (естественно, в пределах данной нам книги) позволяет нам говорить о неточной неглубокой рифме как о гармоничном приеме в творчестве автора. Вот еще пара цитат:

а) Доверяешь мне, своей, как прежде
б) Маленькой русалочке на дне.
в) Домик из печали и кореньев
г) Сложен повелителем всех рек. (стр. 28)

а/в: [ре-е]/ [ре-е];
б/г: [е]/[е].

Сочетаются гласные, редко — пред- и послеударные согласные. Рифма прячется вглубь слова, действует исподволь, не на сознательном уровне.

а) Возникает внезапно
б) Из-за тоненьких лип,
в) И как в солнечных лапах,
г) Загорается блик.
(стр. 24)

а/в: [а́п]/ [а́п];
б/г: [ли]/[ли].

Таким образом, рифма в стихах Логиновой представляет собой достаточно сложное явление. В первом приближении кажется, что автору доступны лишь традиционные рифмы либо отсутствие таковых. Например, в стихотворении «Живут, как прежде, облака...» (стр. 36). Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что игра созвучиями основана на несколько иных закономерностях, нежели те, что знакомы читателю по классическим текстам.

2

Я остановился столь подробно на рифме именно потому, что данная книга вообще предлагает читателю множество подобных тривиальных на первый взгляд приемов, которые на самом деле являются очень тонкой (хотя может быть и не всегда осознанной) игрой в рамках классической поэтики.

В частности, стоит сказать несколько слов о ритме. В большинстве случаев автор остается в рамках традиционной силлабо-тонической ритмики. Однако здесь присутствуют и дольники («Мой дом», стр. 37; «Осень кисти рисует...», стр. 12; «Чистая даль, белые стены...», стр. 8 и др.), и верлибры. На последних как раз и хотелось бы остановиться подробнее.

Первоначально свободный стих (vers libre) появился во французской поэзии как текст, в котором строки написаны различными метрами. Затем во второй половине XIX века появился верлибр в том виде, каким мы его знаем сейчас, названный «освобожденным стихом» (vers libéré). Впоследствии «свободный» слился с «освобожденным» и был им полностью поглощен. Под верлибром теперь подразумевают, конечно же, безрифменный, неметрический стих, то есть vers libéré.

Но в книге Логиновой я неожиданно наткнулся на один образец, вполне определенно отсылающий нас к забытой ныне традиции изначального, разнометрического, верлибра. Приведу его полностью, опять же с нумерацией строк:

а) Тонколистный восход
б) Ловит первые признаки утра.
в) Золотится над морем садов
г) Так невзрачно, притонно и смутно.
д) Пустошь скоро осенится светом,
е) Будет зыбиться день.
ж) Разыгралось красками лето
з) И пчелиная слышится звень. (стр. 38)

Схема метрических вариаций здесь такова:

а) 2 стопы анапеста
б) 3 стопы анапеста
в) 3 стопы анапеста
г) 3 стопы анапеста
д) 5 стоп хорея
е) Паузник на основе 3-стопного дактиля
ж) Паузник на основе 3-стопного анапеста
з) 3 стопы анапеста

Из схемы явствует, что 3-стопный анапест становится основной ритмической темой в стихотворении, вариации и отклонения от которой воистину художественны.

Приведенными примерами рифм и ритма далеко не исчерпывается разнообразие любопытных приемов в представленной книге. Очевидно, что автор не выступает в роли ниспровергателя основ. Здесь мы имеем дело с игрой внутри и по правилам традиционной поэтики. Однако эта игра не бесплодна: она дает интересные и художественно ценные результаты.

Пока мы сосредоточивали наше внимание только на формальной стороне текстов Логиновой. Однако в отрыве от содержания любые, даже самые смелые эксперименты бессильны. Наблюдения за формой для нас — лишь отправная точка, позволяющая понять логику автора. Как

будет видно из дальнейшего, тематически сборник также дает читателю массу парадоксов, заключающихся в кажущейся, мнимой тривиальности этих стихов и их истинной, но тонко скрытой оригинальности и красоте.

3

Книга подготовлена компетентным составителем, и это чувствуется. Этим она выгодно отличается от многих поэтических изданий, выходивших в последнее время в Вологде. Проблема отсутствия внешней редактуры уже поднималась мною в статье «Три книги 2007 года», и здесь нет смысла к ней возвращаться. Можно утверждать, что «Гербарий» А. Логиновой — свидетельство того, что в этом отношении наметились определенные позитивные сдвиги.

Тематически книга едина. Ее основа — календарно-метеорологические мотивы: времена года, погодные явления, дни, часы недели и так далее:

...В холодной и строгой
Апрельской воде. (стр. 22)

Мы будем жить среди зимы... (стр. 19)

Полетели со мной в страну,
Где ни холода нет, ни снега... (стр. 42)

Все наоборот — морозец жаркий... (стр. 17)

Вспоминаю, как в ласковом треске
Дров, покрытых ноябрьским снежком... (стр. 52)
...и т. д. и т. п. Говоря метафорически, эта книга — не «гербарий». Это календарик.

Массовые упоминания отрезков времени и метеорологических явлений свидетельствуют о тщательной тематической выборке. Поскольку именно эта структура стала основной для книги, я решил произвести подсчеты, которые позволят нам выявить закономерности не только тематического, но и композиционного характера.

Итак. Времена года (косвенно или прямо) упоминаются в 73,8% всех стихотворений книги. Из 16 произведений, где таковых упоминаний нет, в 14 мы все же находим упоминания о различных календарно-метеорологических явлениях или процессах. Между собой времена года находятся в приблизительном равноправии: весна — 17% (ранняя весна — 5%); лето — 13%; осень — 24,1 % (поздняя осень — 6,7%); зима — 18%. Также сюда относим расплывчатое «не летняя пора» — 1,7%.

Если говорить о том, как распределены времена года в корпусе 64-страничной книги, то равномерности здесь не наблюдается. Сборник четко делится на четыре части, в каждой из которых преобладают те или иные сезоны: стр. 3-26 — зима и осень; стр. 27-43 — лето и весна; стр. 44-53 — осень и весна; стр. 54-61 — зима.

Нужно отметить, что избитая до полусмерти тема погоды и природы в стихах Логиновой неожиданно оживает. И не в последнюю очередь благодаря такой нарочитой сосредоточенности на ней. Чувство через погоду, эмоции через время, ощущения через времена года и отрезки суток — стершаяся символика, приобретающая здесь вопреки всем ожиданиям особую свежесть. Один из лучших образцов ожившей календарной лирики таков:

Сумерки тянутся пряжей,
Ласковой, шерстяной.
С тобою тихонько присядем
Гадать над счастливой судьбой.
Слышишь? В разлете поленьев
Шепот таинственных букв.
Дышит дождем воскресенье,
Не разнимая рук. (стр. 18)

«Шепот таинственных букв» разбужен автором там, где уже кажется все, что можно было, уже вышептано. В финале стихотворения абстрактное воскресенье на мгновение становится таким близким и человеческим... Это очень сильно.

Среди безусловных удач также можно назвать стихотворения «Я откуплюсь от тебя истиной...» (стр. 58), «На небосклоне сотни звезд...» (стр. 32), «Доверяешь мне, своей, как прежде...» (стр. 28), «Полетели со мной в страну...» (стр. 42) и некоторые другие.

Чувства выражены в стихах Логиновой опосредованно, через сложные метафоры и образы, главным образом календарно-метеорологические. «Непрямота» их косвенно подтверждается и некоторыми символическими рядами, проходящими через всю книгу. Один из них наиболее показателен — символический ряд «засов — замок — преграда». «Засов» появляется еще в первом, а стало быть программном стихотворении книги:

Засмотрелась птица на январь,
Надобно менять — сама уж знаю,
Круг друзей, засовы и печаль
На другие странствия и дали. (стр. 3)

Затем он вновь упоминается в стихотворении «Несколько часов...» (стр. 23):

Несколько часов
Под наклоном туч
Не сломать засов,
Не рассеять грусть...

И вновь появляется в виде «замка» здесь:

Прикрой одиночество комнаты
Своею душой, крепче всяких замков... (стр. 53)

Как связаны эти образы со скованной, интровертной манерой автора, судить уже не литературоведам, однако какая-то связь, может быть и подсознательная, по-моему, здесь есть.

4

Наряду с несомненными успехами, есть в «Гербарии» и неудачи, и огрехи. Одна из ошибок — излишнее многословие. Особенно не на руку автору оно играет в ситуации финала стихотворения, когда любой словесный перегруз будет чувствоваться читателем особенно резко. Например здесь:

Возникает нежданно
Из-за дыр облаков
И сливается с нами
Чувства маленький бог. (стр. 24)

«Чувства маленький бог» согрешил против благозвучия не только сверхсхемным ударением в первой анапестической стопе, но и неоправданным стечением согласных.

Также «темные» места появляются из-за нарушения внутренней логики фразы:

Легкий облачный плот
Как дыханье ребенка... (стр. 29)

Объект сравнения здесь остается неясным: то ли «легкий, как дыханье», то ли «плот, как дыханье». Самый вопиющий пример словесной неразберихи таков:

Плыву к тебе и вытянутых рук
Плоскости одной обнимаю дух. (стр. 55)

Сниму шляпу перед тем, кто мне внятно объяснит, кто здесь, кого и чем обнимает. По крайней мере, во время обсуждения даже сам автор не смог этого сделать.

Логика фраз порой нарушается и неудачной инверсией:

...А потом поведать с суши людям,
Как качает время над волной. (стр.16)

Опять же соседство слов оказывается двусмысленным: то ли «поведать с суши», то ли «с суши людям». Причем второй вариант более громоздок.

5

Удалось отметить только самые важные моменты книги А. Логиновой, однако лишние примеры лишь обозначали бы четче ее положительные и негативные стороны, не прибавляя ничего по существу. Подведем итог.

Книга «Гербарий» не содержит броских экспериментов, бурных чувств, нечеловеческих страстей. Опыты автора, весьма небезынтересные, остаются в рамках классической поэтики. Несмотря на то, что сборник Александры Логиновой — не самое яркое явление последнего времени, внимательный любитель изящной словесности сможет найти в нем немало несомненных прелестей и поводов задуматься. Эта книга для тех, кто не только читает, но и перечитывает стихи, пробуя их на вкус.

Галина Щекина

Мои книги года

/47/

«Моя книга года «Графоманка» сейчас в Интернете имеет сотни ссылок на 10 страницах. Что касается меня, я никогда одну книгу не могу выделить. Мне подружка Ираида дала случайно французскую книжку — я просто в обмороке.

Анна Гавальда «Я ее любил. Я его любила» — это новая Франсуаза Саган!

Почему чужая история стала родной? Непонятно. Женщину бросил мужчина, и вот она к его отцу едет в гости, ну он все-таки тесть, и дети привыкли, но ей же тошно!

Они пытаются дружить, ведут длинные беседы за бокалом вина... и поначалу просто бесят друг друга... А потом начинаются чудеса любви и понимания. Потому что все кого-то любили и переплакали это дело... Вот такая штука. Даже отсвет этой любви вспыхнувшей сто лет назад дает такой инверсионный след, что тысячи душ завораживает....Ее на 36 языков переводят... Я уж теперь попалась навсегда. Как раньше запоем читала Айрис Мэрдок. Вот теперь буду гоняться за Анной Гавальдой. Русских прозы три.

Нина Голанова «Линия обрыва любви» М.: Эксмо 2008 и «Вис Виталис» Дана Марковича. М.: ЭРА

Это вообще полюса! Горланова с ее нежными растерями-бабами, с ее милым жутким бытом — это объяснение, почему мы живы, когда жить неохота и незачем. У Горлановой же все не потому что, а вопреки. Загадочная русская душа, соленые слезы, едкие, и юмор острый внезапный. Книга новелл о женских судьбах. Особенно «Пик разводов» — роскошный рассказ! Муж сходил налево, а потом пришел и припал к стопам. Жену от него тошнит, а он требует дополнительного ребенка родить. Она его и била, и унижала, а он — ну что еще сделать, чтобы ты меня простила? Что вы думаете? Начинает рожать... Ну, бабы...

А Дан Маркович — это вообще художник и мой френд в ЖЖ. Это такая виртуальная дружба, когда одно слово скажешь — и все! Он одинокий волк, живет в Пущино, пишет картины во всех техниках, пишет романы. Первым прочтенным был «Жасмин». Но настолько лишен

чванства человек, настолько мудрец-отшельник, насколько Горланова вся в гуще жизни, в эпицентре людей и событий... Он отстранен. Он сто раз мог бы стать лауреатом любой премии, но издательства хлопают ушами... Его издала «ЭРА» — это как раз то издательство, где Графоманку выпустили... Тоже можно через инет заказать.

Вот уникум — КОВАЛИНАЯ КНИГА. Время: 2008

Собрано 50 историй про Юрия Коваля — поэта, писателя, детского художника, барда, театрала, охотника — такой синтетический дар. Умел все на свете. И когда чужие люди о нем говорят — там от Бек до Ии Савиной — начинает охватывать такая жалость и любовь, что хоть ложись и умирай...

Это мемуары вообще. Я и Коваля не знала, и мемуары не люблю, а тут — просто упасть и не встать. Конечно, начала с Татьяны Бек — у меня к ней безусловное доверие, и я видела эту запись в книге Бек «До свиданья алфавит». Вообще, я знаю, что у книги была долгая предыстория — там не просто статьи, там деньги собирали... Очень все было драматично. Но не напрасно. Такой памятник души построили....

Кибиров Тимур. СТИХИ О ЛЮБВИ.- М- Время, 2009, — Поэтическая библиотека — 896 стр.

Ну и конечно, Кибиров. Стихи о любви. Издательство «Время». Я его и раньше любила. Но тут ему дали премию «Поэт и новая книга» в издательстве «Время». Его некоторые люди ненавидят, так я специально написала для моих студийцев отклик «Ищу грязь в стихах Кибирова». Он, кстати, приедет в Вологду 3 декабря. (Так и не приехал).

Юная поэтесса Елена Абакумова, та самая, к которой советовал обращаться для оценки Н. Лесков, взяла в руки сборник Тимура Кибирова и воскликнула — «Какая мерзость, грязь».

Следим. Романсы Черемушкинского микрорайона, пропетые Наташке Угловой, Деве Чистого Плеса и даже себе на скрипучем диване «под пение сестер Лисициан» — какая же грязь в романсе?

Правда есть юмор,- «уж огурцы в цвету, мой нежный друг», «Ленин с нами, видит Бог» — а что и пошутить уже нельзя? Лелейная Лена однако упрямится: зачем поэт обращается к суке? Спокойно, Лена, это прямая речь не поэта, а злодея, который хочет забить поэта в очках....

А далее совсем крамола — «Сортиры». Но крыса, отгрызавшая гениталии, мелькнула только раз, и всего-то раз хотели пацаны за тетей Азой подглядеть, их сразу и прогнали! И они были наказаны по заслугам... Лена, раскрою секрет — все эти туалеты лишь прикрытие, на самом деле это ностальгический рассказ об экспрессе до Читы, о самолете над Уфой, и вообще деталей детства столько, что остальное неважно.

Идет исповедь, к тому же грустная, увы, как первая влюбленность.

Да разве ты не видишь посвящений — Елене, Лене, Е. Борисовой? — почти тебе... Разве может кто-нибудь писать посвящения, имея в виду дурное?

Искать грязь в Молитве и Сонетах к Саше Запоевой, Колыбельной к Л. Борисовой — можно. Но трудно. Лена Абакумова скажет — низкая лексика, упоминание глистов, срамных волос, а я перебью. Это границы размаха поэтова. От и до... от и до. Пусть живет живое от комара и глиста до исцарапанного плечика. Из низости, грязи, праха лепит человек свой мир и рад точно во дни творения.

Золотит июльский вечер облаков края
Я тебя увековечу девочка моя
...чтоб твое изображенье легкое как свет
мучило воображенье через сотни лет...

Так, дальше про коленки, про веснушки-стоп! Любовь — не грязь. Но выбирает другое упрямая отличница: нашла «пиздец» в «Шалтай-болтае». Лилейной деве мат, конечно, ни к чему. Пожалуй, эта грязь буквальна, и девочка захлопывает книгу. Но я прочту украдкой — это только для удержу от напрасных зол и от слепой хулы... Ну в переносном смысле! Он ненормативкой разрушает пафос, чтоб скорее дошло. Насмешник!

Заметки на полях Хаусмана пока трогать не будем. Вряд ли можно там найти грязь. Все равно Лена уже закрыла книгу, а я продолжаю кипятиться и доказывать.

У: ЭХО ФЕСТИВАЛЕЙ

ЭХО КОКТЕБЕЛЯ

Юрий Кублановский:

«Вложить новое содержание в классическую форму»

Александр Солженицын:
«Поэзия Юрия Кублановского отличается верностью традициям русского стихосложения, ненавязчиво, с большим чувством меры обновленной метафоричностью — никогда не эксцентричной, всегда оправданной по сущности; и естественной упругости стиха, часто просящегося к перечитыванию и запоминанию».

Иосиф Бродский:
«Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина».

Юрий Михайлович КУБЛАНОВСКИЙ. Родился 30.04.1947 года в Рыбинске. Окончил исторический факультет МГУ, работал экскурсоводом и музейным работником на Соловках и в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1982 году эмигрировал в Париж, где был членом редколлегии и составителем литературного раздела журнала «Вестник РХД». В 1990 вернулся в Россию, работает в журнале «Новый мир» зав. отделом публицистики (1995-2000) и с 2000 года зав. отделом поэзии. Живет в Москве. Принимал участие в больших литературных проектах, например, как член жюри конкурса «Илья-Премия». На Волошинский фестиваль 2008 года прибыл из Парижа. Будучи на Волошинском фестивале в Коктебеле, поэт дал интервью для фонда «Русский мир».

- Юрий Михайлович, что вас привело в Париж?
- В Париже я занят работой — редактирую большой курс русской истории.

- Ваш интерес к русской истории общеизвестен, вы много стихов на эти темы писали — о Годунове, о Соловках, острове Анзер, о русских поэтах... Но редактирование — это тяжелая работа для поэта. В смысле – нетворческая....
- Тяжелая, но небезынтересная. Она позволяет провести ревизию накопленных знаний, представлений...

- А вы не чувствуете себя в некотором роде творцом истории, ее «создателем»?
- Нет, я не создаю историю, просто размышляю над ней. Это необходимо для любого человека. По окончании этой работы вернусь в Москву.

- Вы успели пообщаться с русскими, находящимися за рубежом, с русской диаспорой? —
- Пообщался, но не так много.

- Верно ли, что русские эмигранты за рубежом лучше говорят на русском языке, чем россияне?
- Но ведь нет эмигрантов как слитного, среднего понятия. Есть эмигранты первой волны, которые переняли язык от своих родителей – их язык красивый, правильный, но уже с легким

акцентом. И конечно, это язык реликтовый, неживой. Хуже говорят дети эмигрантов второй волны, им требуется больше сил для адаптации в новой среде, их родительские корни не привились. Говорить о нынешних эмигрантах еще сложнее, это, как правило, экономическая эмиграция...

- Что значит – «экономическая эмиграция»?

- К ней относятся люди, эмигрирующие не по политическим мотивам, а больше по деловым. Это не люди искусства, в смысле языка ничего примечательного. В Париже сейчас живет режиссер Отар Иоселиани, из писателей, кажется, никто не уехал в последнее время. Уехали бизнесмены, возможно, люди, укрывающиеся от уплаты налогов. Так что о языке такой эмиграции как о явлении говорить не стоит.

- Скажите, люди, оторванные от родины – сильнее хранят родной язык? Лучшее в языке – это язык литературный?

- Безусловно, в литературном языке все лучшее.

- Писатель Алексеев считает, например, что главное — не то, что написано, а то, что передано изустно — древнее, древлее слово.

- Стихи пишутся по вдохновению, на порыве, там не успеваешь задуматься, что древнее, а что нет... Я не Солженицын, не сидел, проводя время в чтении Даля, не писал словари. В этом все же чудится некая мертвоватость. Мне кажется, что нельзя искусственно привить языку некие нововведения, точно так же, как и старинность. Это должно рождаться спонтанно, органично. И если знаешь все, что хочешь сказать – можно сказать просто и без ухищрений.

- Многие писатели заискивают перед стариной, считая ее нормой.

- Да нет, это стилизация, следовательно, искусственно.

Славянизмы, восковые соты
Строф и звуков позабудь, пиит.
Есть иные образцы и ноты,
Стих — как дом Романовых – убит.
Наша правда не в высоком слоге,
наши не в согласье голоса.
Знать недаром мечены в итоге
Все твои крестами адреса...

(из книги *«Дольше календаря»*)

- Поэт и критик Ольга Ермолаева недавно сказала, что от чтения молодых авторов у нее порой возникает ощущение, что они самонадеянны, холодны, нелюбопытны, невежественны... Вам подобное не приходит в голову как члену жюри литературных конкурсов?

- Дело вовсе не в том, что все молодые – наглые и самонадеянные. Это происходит от того, что теперь рано начинают писать, когда личность автора еще не сложилась! Они уже владеют языком, но не тем багажом, который нужно вложить в этот язык. И образуется большой зазор между умением складывать слова и самой личностью. Проблема в том что молодой автор часто поражает яркостью, метафоричностью – а личности в нем еще нет. То есть зазор между формой и содержанием.

Они еще не поняли, чему будут служить в литературе. А ведь высокое назначение, русской литературы в том, чтоб укреплять человеческую душу. Это было всегда. Но вот та литература, которая душу разрушает, — постмодернистская...

- Полно, постмодернизм уже обречен, люди потянулись в вечным ценностям...

- Он, может, и обречен, но его представители все еще самые престижные премии получают.

- Вы сказали – молодые еще не поняли, чему служить... А вы поняли? Вас называют классиком, надеюсь, это не обидно?

- Если классик – это что-то застывшее, то не согласен, моя поэзия довольно живая. Это оттого, что душа болит. А потом – смотря что считать классикой. Русские поэты ведь недолго живут. Мне 61, в этом смысле я классик живой, две трети русских поэтов до этого возраста не дожили. А если серьезно – путь пройден большой, но я в себе классика пока не ощутил.

Тогда каково главное приобретение?

- В принципе, я добился, чего хотел: я старался вложить новое содержание в традиционную классическую форму. У меня нет штампов, затрепанных эпитетов...

- А иногда стих идет легкий, озорной, даже хулиганский... Помните, про дождь... Это благородная норма, которую вы создали.

- Против этого не возражаю...

На открытии фестиваля Юрий Кублановский читал и старые стихи о Крыме, и более новые – о Сталкере.

* * *

Ястребок, один из сынов Израиля,
Под святой горой указует – в путь!
На глазах гряда облаков подтаяла,
Подсоленным воздухом дышит грудь.
Голубиной гальки цветное крошево,
Но еще вовсю холодит апрель.
Потому нежна акварель Волошина,
Серокрылый ветер свистит в свирель...

...И по дымным амфорам, стенам глиняным
Будут ползать, твори уж без нас,
потому что мы не на это выбраны
и на землю призваны лишь сейчас,
в миг, — меж тем как запойный фрунзенец
по ночам в подвале пытал дворян
и когда отряды мокриц и гусениц
Киммерии ссыплют к себе в карман.
...Но пока бутылку рука нашарила,
на глухой веранде у лоз сухих
ястребок, один из сынов Израиля
читает высокопарный стих.

(из *«Киммерийской саги»*)

Из *«Сталкера»* (3)

Товарняков заоконный скрежет.
Прижавшись к наволочке несвежей,
Будто пацан беспризорный — к лону -
Он спит и видит родную зону.
Когда напорист, когда опаслив,
Он люто разом и зол, и счастлив,
Кричал, как чибис, и ждал ответа
В сухой траве на излете лета.
Не отличая ответ от эха,
Он ждал отдачи, а не успеха,
И где-то там, где репей в бурьяне,
И в станционном порой шалмане -
Спи, сталкер. Что тебе нынче слава?
Она диагноз, а не забава.
Чтобы какой-нибудь сноб с набобом
Шли за твоим, извиняюсь, гробом?
В небытие уходить достойней
Здесь, на отшибе, чем в центре с бойней,
Пока заря на сырой подушке
Одна и держит на красной мушке...

* * *

Путанными путями время пришло к концу
И провело когтями с нежностью по лицу.
На родных бережках я с солью в глазных мешках,
Себя же виня за редкость, слоистых одежек ветхость,
Будем учиться сами тому, что забыли снова,
Обмениваться томами истории Соловьева.
Перейдя на свист, ветер взвихряет лист.
Над темнотой дворов новый полет миров.
Галактики нас, похоже, способны заворожить.
Но что за ними – не можем даже предположить -
До ближней живой звезды тысячи лет езды.

Из *«Родной речи»*

Дальнему ельнику напереез
Промельком падают звезды с небес.
Спят деревенский журавль и ушат,
Снега подушки на крышах лежат
Утром из труб потянулись дымки.
Иней на стеклах — луга и венки.
Лось, из копны ухвативши сенцо.
Волк, ямщику облизавший лицо.
Что-то из детства. Из «Речи родной».
Чу, Алексей Константиныч Толстой!

Что-то из детства – из «Речи родной».
Прямо под окнами наст слюдяной,
Вдоль седовласых кустов и коряг
Мчит, возведенный Некрасовым в ранг
Старый топтыгин на облучке,
Если возница гудит в кабачке...

...Стекла вагона – мороза роса.
Леса завеса, небес образа.
Слезы под веками — щиплет, течет.
Это не задано! Это не в счет!

* * *

Кто пробовал силу и волю,
Да вдруг надорвался в пути,
За кем через вьюжное поле
Нам трудно и страшно идти,
Кто в землю холодную ляжет,
Отпетый худым вороньем,
Тот Господу правду расскажет
Про то, как на свете живем.

Алексей Цветков:

«Быть русским»

Интервью с Алексеем Цветковым, США

Дмитрий Кузьмин,
из речи на вручении А. Цветкову Премии Андрея Белого:

«Алексей Цветков, одна из центральных фигур московской молодой поэзии начала семидесятых, автор трех книг, вышедших в США с 1978 по 1985 год, выпустил в издательстве "ОГИ" том избранных сочинений "Эдем и другое".

Одновременно Алексей Цветков, в 2004 году решительно вторгшийся в текущий литературный процесс (около 20 стихотворных публикаций в периодике за три года), опубликовал в "Новом издательстве" вторую книгу произведений последнего периода "Имена любви". Соединив эти два издания в одной номинации, Премия получила лауреата, совмещающего в себе свойства 60-летнего патриарха и амбициозного дебютанта, нацеленного на решительный передел символического капитала... Присуждение Алексею Цветкову Премии Андрея Белого, возникшей уже почти 30 лет назад как решительное утверждение единства русской неподцензурной литературы, выглядит абсолютно закономерным проявлением ее генеральной стратегии».

Родился Алексей Цветков в Станиславе в 1947 году - ныне Ивано-Франковск, Украина. Жил в Запорожье, Одессе, Москве, учился на химическом факультете Одесского университета, на факультете журналистики и историческом факультете МГУ. Был участником поэтической группы «Московское время». С 1975 г. в США. Окончил Мичиганский университет, диссертация об Андрее Платонове. Работал на радио «Голос Америки», затем (по настоящее время) «Свобода». Автор нескольких книг стихов и прозы, переводов с английского и польского. Преподавал в колледже Дикинсон, штат Пенсильвания, русскую литературу. С 1989 г. работал в Праге на радио «Свобода» редактором и ведущим программ «Седьмой континент» и «Атлантический дневник». С 2007 живет в Вашингтоне (США). В конце 1980-х гг. прекратил писать стихи, обратившись к прозе. Неоконченный роман «Просто голос», созданный в виде автобиографии римского воина (доведенной лишь до отроческого возраста), отражает представление Цветкова о римской цивилизации как одной из вершинных точек истории человечества, а в отношении поэтики отличается отточенностью стиля, обилием лирико-философских отступлений, прямо наследуя прозе Владимира Набокова и Саши Соколова.

В 2004 г. после 17-летнего перерыва Алексей Цветков вернулся к поэтическому творчеству, менее чем за полтора года сочинив новую книгу стихов. Лауреат премии Андрея Белого (2007). Перу Алексея Цветкова принадлежат книги: Состояние сна Ann Arbor: Ardis, 1981. — 130 с.

Стихотворения СПб.: Пушкинский фонд, 1996. — 104 с.

Дивно молвить Стихи. — СПб.: Пушкинский фонд, 2001. — 268 с.

Просто голос М.: Независимая газета, 2002. — 301 с.

Шекспир отдыхает Стихи 2004-2005 гг. — СПб: Пушкинский фонд, 2006. — 63 с.

Имена любви М.: Новое издательство, 2007. — 148 с.

Ровный ветер Стихи 2007 года. — М.: Новое издательство, 2008. — 136 с.

Интервью Алексей Цветков дал Г. Щекиной на Волошинском фестивале.

- Скажите, Алексей Петрович, вы до сих пор чувствуете себя русским – уехав? Вне страны?

- Есть много аспектов понятия «быть русским». Быть русским в гражданском смысле. Или быть частью – честью — русской литературы.

Дело в том, что уехал-то я очень давно, в 1975 году, и планов «возвращаться на броневике» у меня, в общем, не было. Моей полной ассимиляции за рубежом помешала моя профессия, ведь я филолог, защитил диссертацию по русской литературе и связан с этим занятием пожизненно. Потом я преподавал, работал журналистом, теперь опять преподаю русскую литературу в одном из университетов США.

Русский язык — это язык, на котором я пишу 17 лет, правда, я пишу и на английском, но русский основной. Мне уже не вырваться из того факта, что я русский поэт. Поэтому я русский.

- Возможно, русские эмигранты бережнее обращаются с языком своей родины? Хранят...

- Я так не думаю. У эмигрантов язык костенеет. Язык живет и развивается тогда, когда есть среда! А эта среда, конечно, в России. Честно говоря, быть русским эмигрантом – тяжкая доля. Это сейчас Интернет, а тогда, в семидесятых, я жил, «под собою не чуя страны», почти по Мандельштаму... Не участвуя в ее жизни, не зная, что происходит. Отрезанный ломоть... С людьми, которые варятся в этом соку, происходит сильная деформация. И разумеется, деформация языковая тоже. Мы становимся старше и строже ко всякого рода нормам. А у тех, кто уехал – у них привыкание к новому связано с отторжением всего старого, всего, что связано со страной. Возникает разрыв.

Я встречался с эмигрантами ранней волны, которые заявляли, что я говорю на ужасном русском...

- В смысле?..

- ...На ужасном русском, зараженном советизмами. Я родился и прожил в России 28 лет, я уехал после войны, а были люди, уехавшие гораздо раньше, и они сразу ощутили эти советизмы. Набоков уехал гораздо раньше. В его среде, например, даже слово «парень» считалось вульгарным.

- Какая строгость, однако.

- Да. Когда я переводил Набокова, у меня были большие скандалы с вдовой писателя. Она считала недопустимым слово «парень». Английский порой богаче смысловыми оттенками, а в русском наиболее близко по смыслу было именно это слово, и оно было непозволительно.

- Какой может быть признак эмигрантского языка?

- Самый первый признак эмигрантского языка – это когда носители считают, что их язык истинный, более истинный, чем даже в самой стране... Это бред по определению...

- А если жаргон? Сленг?

- И жаргон, и сленг, и всякие неправильности, и народные этимологии – все это признаки живого языка. Иначе бы мы все говорили на каком-нибудь древне-русском...

- Может, на дистиллированном?

- Дистиллированный язык – это язык чиновничества. У которого очень малый словарный запас и правильные обороты речи. Да на нем никогда в жизни никто из писателей не писал. Учитель говорит на правильном языке, потому что учит. А писатель – он пишет только на живом и «неправильном» языке. Даже с ивритскими корнями, если переселенцы. А совсем без примесей — это что же, башня из слоновой кости, а не язык. Вряд ли возможно.

- Вам приходится общаться с русскими эмигрантами?

- Конечно, но я живу за рубежом так долго, что не делаю разницы между русскими и нерусскими друзьями. Я достаточно ассимилирован.

- Знаете ли вы о существовании русских клубов? Говорят, они помогают освоиться в чужой стране, выучить язык...

- Знаю, но меня не вовлекали, а я сам не стремился. Мне все-таки кажется, что коли приехал, надо выживать без этого, жить просто, как все.

- Назовите зарубежное издание, публикующее русских.

- Есть такой журнал, и я там публиковался, это Интерпоэзия, его можно найти в Журнальном зале. Это абсолютно живой журнал.

- Вы приехали на Волошинский фестиваль издалека. Что вам пришлось преодолеть?

- Вашингтон, Нью-Йорк, Прага, Одесса... В Одессе уже были друзья... Чемодан потерян по дороге, потом вроде нашли... Да, дорога дается нелегко.

- Вы уехали, а у вас в это время занятия идут?

- Да, занятия идут, но, когда я шел на эту работу, договоренность с Коктебелем уже существовала. Я предупредил, что мне придется выезжать на большие мероприятия, когда потребуют дела. Все согласовано. Кроме Волошинского фестиваля, где должен выступить и провести

мастер-класс, есть другие не менее важные вещи, которые требуют моего присутствия в России. Я работаю практически один семестр.

- Вы отслеживаете издание своих книг в России? Или царственный автор может не обращать внимания на некие малые тиражи...

- Такого нет, я за этим слежу, правда, бывает, что гонорар отдают книгами, а не деньгами, но в целом, работают честно.

- Значит, в России читатели есть. А там – есть читатели?

- Есть, хотя не так много.

- А как вы это знаете?

- Когда приезжаю в Нью-Йорк, то человек тридцать сразу приходит на встречу. Бывает, и семьдесят.

- Прекрасно. Довольны ли вы результатами своей литературной работы?

- Нет! Не хочу этого говорить. Пусть другие за меня скажут...

И подписывает книгу «Имена любви». Очень молодые стихи, кстати.

* * *

зима струилась вязко как сметана
где кое-где на гулком этаже
я сторожил а ты была Светлана
или Марина может быть уже

в очакове где ты жила положим
прорабу или отчиму женой
я всю судьбу приоткрывал прохожим
мою с твоей наташка боже мой
в ладонях небо стыло и немело
без выдоха наружу и внутри
вход в гастроном там слово рубль имело
старинный смысл и означало три

когда я кербер первому аверну
курировал свой встреченный объект
в Очакове неверную царевну
ласкал прораб и требовал обед
повелевал а я пока разлука
на улице из солнца и стекла
твой иероглиф выдыхал без звука
мари тама ната но вся светла
в бреду соображникам по равнодушью
где радость без тринадцати цена
изображая как на шелке тушью
любви пленительные имена

я не солгу как в те снега когда-то
сквозь всю необъяснимую страну
ты повела меня на цвет граната
на вкус его и с чем подать к столу
но скоро старость обесточит память
обратный мост не выстроить из строк
дай разлюбить тебя так проще падать
нам с дерева когда настанет срок

Андрей Коровин:

«Надо говорить о том, что происходит»

Интервью с Андреем Коровиным, директором Волошинского фестиваля

1. На взгляд Организатора — все ли получилось, как хотели? Есть ли неизбежные в таких случаях «но»?

АК: Мне знакомо чувство неудовлетворенности. Всегда хочется, чтобы было еще лучше. Я ведь знаю, каким должен быть этот фестиваль в идеале – большим карнавалом искусств, с большой собственной сценой в центре коктебельской набережной или где-то недалеко от нее, с привлечением музыкантов, художников, фотохудожников, самых разных творческих людей. Я хотел бы, чтобы в рамках Волошинского фестиваля самые разные творческие люди из разных стран знакомились, общались, становились нужны друг другу. Именно творческое содружество представителей разных жанров всегда создавало мощные культурные потоки – Серебряный век, футуризм, сюрреализм и многое другое. Пока, в силу отсутствия вменяемого финансирования, он остается камерным, домашним и немного самодеятельным. Самодеятельным в том смысле, что фестиваль делают по большому счету два человека – директор музея Волошина Наталья Мирошниченко и Ваш покорный слуга. Есть, безусловно, помощники – те, кто спонсирует фестиваль, те, кто помогает решать оргмоменты. Но для того, чтобы развернуться, развернуть фестиваль в мощный пароход современного искусства нужна серьезная финансовая поддержка, слаженная рабочая команда и очень много времени. Время – вещь немаловажная. Я вот на фестиваль трачу собственный отпуск. В остальное время работаю в офисе (эта работа никак не связана с литературой), чтобы кормить семью, а в свободное время, которого почти нет, готовлю фестиваль, занимаюсь Волошинским конкурсом и премией, и массой других литературных проектов. Вообще-то у меня много интересных идей, и я знаю, как их реализовать в рамках фестиваля, но на поиск денег тоже нужно время, силы, контакты и определенный талант. И я уже много лет я живу с мыслью, что фестивалю нужен хороший директор, человек, умеющий искать деньги. Но такого пока не проявилось. Увы.

2. Уточните зарубежных участников, ведь это дает фестивалю статус международного.

АК: Само собой, в фестивале участвует много авторов из России и Украины. Что же касается более дальнего зарубежья, то это: Алексей Цветков из Вашингтона, Юрий Кублановский, живущий сейчас между Парижем и Москвой (на фестиваль он прилетел из Парижа), Александр Радашевич и Леся Тышковская из Парижа, Равиль Бухараев и Лидия Григорьева из Лондона, Вадим Месяц, который живет между Нью-Йорком и Москвой, Ирина Рашковская из Германии, Ольга Гришина из Бельгии, Вячеслав Самошкин из Бухареста, Геворг Гиланц из Еревана, Михаил Гофайзен из Таллинна, Мирослава Метляева из Кишинева. В другие годы были представлены и другие города и страны, я фиксирую только год нынешний.

3. Есть ли разница восприятия фестиваля между Коровиным-организатором и Коровиным-человеком? В чем она?

АК: Коровин-организатор живет в круглосуточном режиме – встречает, расселяет, собирает, проводит, развлекает, отвечает на вопросы и так далее и тому подобное. Коровин-человек наблюдает за всем этим и думает: «и зачем тебе это надо???». С тех пор, как мы начали проводить фестиваль, я в Крыму больше не отдыхаю. Только работаю. Увы. А я всегда любил именно отдыхать в Крыму.

4. Не кажется ли вам, что фишки вроде заплыва унижают достоинство симпозиума, форума? Это же не пионерлагерь, не скауты... Взрослые люди. А если доплывет человек с ужасными текстами?

АК: Ничто не может унизить достоинство, если людям это интересно. А люди с радостью участвуют в заплыве. Поэты – такие же взрослые дети, они любят играть. Почему мы все время хотим сделать из них мучеников и страдальцев? Пока не случилось новых войн, революций, терроров – пусть играют! Пострадать человек успеет всегда, жизнь дает для этого массу поводов. Что же касается результата с публикацией... я не знаю, какой вариант отбора рукописей честнее – долгий редакционный или вот такой стремительный. И так, и так нет гарантии, что тот, кого напечатают в толстом журнале лучше того, кого не напечатают. Все относительно – в этом Эйнштейн был совершенно прав. Только время расставит все по своим местам.

5. Опишите, что было на вилле Басаргиной. Приятно ли вам быть в кругу избранных, ведомо ли вам тщеславие?

АК: Тщеславие – мне кажется, слово из лексикона XIX века. Я не знаю, что оно означает.

А на вилле замечательной и гостеприимной Аллы Борисовны Басаргиной происходило вручение Волошинской премии. То, что туда не были приглашены все участники фестиваля, объясняется только размерами виллы – Алла Борисовна озвучила примерно допустимое число гостей. Ну и любая церемония вручения премии, как Вы знаете, — мероприятие, на которое невозможно пригласить не только всех желающих, но и всех, кого хотели бы видеть даже сами организаторы. Так что вопрос, мне кажется, некорректен. В дальнейшем будем делать разве что отдельную аккредитацию для прессы на эту церемонию.

6. Знакомы ли вам некоторые тексты, обсуждавшиеся на семинарах? Как вы смотрите на то, что на семинар берут слабые тексты, а потом унижают авторов? Как вы относитесь к обсуждению ГЛБТ текстов?

АК: Что касается семинарских текстов – конечно, некоторые я читаю. Но не все. Это не моя задача. Возможно, на обсуждении были и слабые тексты, но чтобы авторов унижали на семинарах – об этом я слышу впервые. Все ведущие мастер-классов – люди достойные и корректные. А то, что некоторых авторов допускают к участию со слабыми текстами – думаю, очень полезно этим авторам. Ведь обычно от них отпихиваются все конкурсы, премии, редакции и так далее. А людям важно услышать – почему? за что их игнорируют? Вот приезжает к нам женщина из украинской провинции в серьезном возрасте, почти бабушка, и говорит: «Я – поэт, у меня десять книжек вышло. Можно я у вас тут почитаю?». А начинаешь листать ее книжку и понимаешь, что она издала их за свой счет и сроду никому из профессионалов стихи свои не показывала. Потому что любой профессионал объяснил бы ей, что так писать нельзя. Если мы ее отпихнем – она никогда уже вообще не услышит грамотное корректное мнение о своих стихах. Я не считаю, что это жестоко. Если человек так упорно пишет и хочет знать мнение о своих стихах – он имеет на это право. И на таком семинаре недостатки творчества таких авторов им могут объяснить не только профессионалы-ведущие, но и такие же, как и они, начинающие авторы или стихотворцы-любители. Наш подход как раз гораздо более демократичен, чем то, что я вижу в текущем литпроцессе. И вообще я считаю, что литература – очень жесткая профессия. В ней нужно быть готовым к полному неприятию, к сложному пути, к долгому непризнанию. Это непризнание часто выковывает настоящего поэта. Слабые, увы, в литературе не выживают. Если кто-то из известных литераторов со стороны покажутся вам слабыми – поверьте, внутри у них – железный стержень.

Насчет ГЛБТ текстов скажу так – мне неважно, кто кого любит на страницах художественных произведений. Если это хорошо написано – мне будет это интересно. И обсуждать это можно и нужно, почему нет?

Я вообще считаю, что в частности, в поэзии у нас слишком много сегодня текстов и слишком мало разговора о них. Люди пишут – выступают – куда-то ездят, но что это такое — ни они, ни публика не догадываются. Критика вообще отстает от бурно развивающейся поэзии на десяток лет. Критики пережевывают авторов, которых хорошо знают, молодых же принимают в основном по факту – вписался автор в инфраструктуру литпроцесса или нет. Если вписался – ура ему, нет – тогда «а кто он такой»? Критики уже давно не открывают новых имен, не способны грамотно аттестовать нынешнюю ситуацию в литературе. Все очень плохо. Сегодня нужно говорить, говорить и говорить о том, что происходит с современной поэзией, изучать ее, расставлять акценты в обширном и порой весьма агрессивном словесном потоке. А то уже любого завалящего певца, написавшего текст про «любовь-морковь», начинают именовать поэтом.

В этом могут помочь и выездные и стационарные мастер-классы, и форумы молодых писателей, и хорошая критика. Поэт – это звание, которое не выдается за выслугу лет, как звание заслуженного артиста или работника культуры. Это – особый, редкий, уникальный дар, который либо есть, либо нет. И это нужно впечатать каленым железом в головы тех, кто паразитирует на нынешнем хаосе в литературном царстве.

7. Болели ли вы за вашу жену как участницу семинаров? Или это не было главным, важней участие?

АК: Моя жена – самостоятельная творческая единица. Если ей интересно обсуждаться – почему бы и нет? Главное, чтобы она извлекала для себя пользу из этих обсуждений.

Беседовала Галина Щекина

ЭХО «ИЛЬЯ-ПРЕМИИ», Москва

Свет «Августа»

Пятым Фестивалем «Август» завершился девятый сезон международного литературного конкурса «Илья-Премия». Конкурс был учрежден в 2000 году как дань памяти 19-летнего московского поэта Ильи-Тюрина.

Родился 27 июля, а 24 августа покинул землю поэт, которого поэтесса и писательница Марина Кудимова назвала «главным событием Миллениума». «Август» — последнее стихотворение Иосифа Бродского, которого ценил Тюрин. Поэтому 23 августа открылся фестиваль «Август».

По традиции на подведение итогов тура собрались не только финалисты 2008 года, но и участники проекта прошлых лет. Количество талантов, открытых конкурсов «Илья-Премия» давно перевалило за сотню: все они вместе с координаторами, журналистами и критиками составляют теперь большую «семью Ильи».

А торжественное открытие фестиваля прошло 23 августа в Москве, в городской библиотеке им. Лермонтова, пианист Сергей Волюжский исполнил прелюд Рахманинова...

Награды были вручены финалистам, многих ожидает публикация в альманахе «Илья», который выйдет в 2009 году. Специальный приз за лучшую публикацию в альманахе получил Антон Черный.

Особенность данного сезона была в том, что для всех участников стало обязательным промежуточное номинирование через литературные сайты. Новшество повысило планку требований, но не снизило приток участников. Важно было послушать «голос сети» — представителя сайтов-номинаторов Точка зрения и Контрабанда Сергея Алхутова.

В жюри конкурса вошли председатель жюри «Илья-Премии 2008» поэт, публицист, культуролог МАРИНА КУДИМОВА, поэт и публицист ЕФИМ БЕРШИН (Москва), критик ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ (Псков), поэт ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, президент Фонда памяти Ильи Тюрина журналист ИРИНА МЕДВЕДЕВА, прозаик, эссеист и журналист АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ (Санкт-Петербург), поэт, эссеист, журналист ВЛАДИМИР МОЖЕГОВ (Москва), поэт, издатель АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО (Москва), НИКОЛАЙ ТЮРИН, исполнительный директор Фонда памяти Ильи Тюрина, журналист. В жюри входят также обладатели Гран-при предыдущих сезонов, например АННА ПАВЛОВСКАЯ. Обладатели Гран-При прошлых лет получили в качестве награды свою первую официальную книгу. Гран-При-2008 международного литературного конкурса «Илья-Премия» решено не присуждать – такое решение вынесло жюри.

Президент фонда Ильи Тюрина Ирина Медведева так прокомментировала это решение: «В этом году никто не преодолел высокую планку, заданную в прошлом году Смоляковым... не говоря уже о прошлых годах — Павловская, Чечеткин, Нитченко... Очень близок к прошлогоднему лауреату оказался Михаил Калинин, но укреплять этот путь в поэзии «Илья-Премии» было бы все-таки неуместно. Углубление смысла и образа у нас традиционно предпочитается форме... Так что ждем новых серьезных прорывов...».

Финалистов 2008 года всего оказалось двадцать шесть по разным номинациям – поэзия, проза, эссе... География участников – Новосибирск, Москва, Вологда, Череповец, Курск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Рязань, Братск, Татарстан, Башкирия, Эстония, Германия.

В финал «ИЛЬЯ-ПРЕМИИ-2008» вошли:

- Михаил Калинин, Череповец. «Во мне умирает поэт» Номинатор: Дом Ильи — стихи;
- Елена Смиренникова, Вологда. «Записки ангела» Номинатор: Дом Ильи — проза;
- Регина Соболева, Вологда. «В лаборатории русской лени» Номинатор: Дом Ильи — эссе;
- Александр Виноходов, Вологда. «Говоря по душам – и бездушно» Номинатор: Дом Ильи – стихи.

В книжной серии «Илья-Премия» вышла поэтическая антология «АВГУСТ» (М., Вест-Консалтинг», 2009) – книга стихов о месяце, который стал трагическим для русской поэзии.

Анна Ахматова сравнивала его с траурным маршем, который длится 30 дней... В сборнике представлены стихи известнейших поэтов XX века, а также стихи лауреатов и финалистов «Илья-Премии» разных лет. Презентация издания состоялась 10 декабря в Булгаковском доме.

Вологодские участники «Августа» — Антон Черный, Мария Маркова, Елена Смиренникова, Галина Щекина.

Марина Кудимова

Есть тревога о слове

Это очень высокий уровень стихотворений и очень серьезная внутренняя трещина, которую я неизбежно услышу, как слышит их человек, который ведет меня перед самим духом, наверное, так. В чем парадокс главный? Парадокс, об этом говорили мои коллеги (естественно, мы неслучайно вместе работаем, и что-то общее должно нас объединять), заключается в том, что поиск нового языка на другом полюсе сопряжен с поразительным отрицанием, внутренним расколом по отношению к тому, что мы называем вечными истинами бытия, мироздания. Прежде всего, к самому слову. Практически нет стихотворной подборки, где не звучала бы эта нота, «и я не верю в слова», «я не слышу слов», «я не хочу ничего этого знать, не говорите мне ни о чем» и так далее. С одной стороны это признаки инфантилизма, безусловно, а инфантилизм и молодость – это разные вещи, надеюсь, все это понимают. А с другой стороны — это, конечно, глубокая тенденция, и она меня крайне настораживает. Поймите меня правильно, я не учитель средней школы. Я говорю в данном случае как эксперт. Я очень хочу по-другому, даже если б очень хотела, но ничего сделать не могу. Это так. А настораживает меня потому, что, повторяю, в поэзии ничего не изменилось со времен Пушкина, есть ее неподкупный голос, есть эхо социума, есть эхо народа, нации, языка, которыми эта поэзия создается. И в принципе настораживают, конечно, не сами стихи, они прекрасные и талантливые, а вот то, что происходит со всеми нами... Это абсолютная подмена всех слов, абсолютная их вывороченность наизнанку, и пока их нечем заменить. И, тем не менее, повторяю, что общий уровень чрезвычайно высок. Второй год острейшая проблема отсева, а не выбора. Об этом сказала Щекина. Интуитивно. Каждое имя процеживается через чрезвычайно мелкие ячейки. Невозможно выпихнуть. Это очень тяжело удается. И это тоже в определенном смысле тенденция довольно опасная. Я помню, такое время было в конце 70-х. Все научились очень хорошо писать. Такой уровень, что все хорошо писали. Как определить лучших?

Галина Щекина

Альманах «Илья» № 7 и ледяной ветер смерти

Мотивы смерти в творчестве молодых – откуда? Возможно, сама личность Тюрина делает эту тему неизбежной, возможно – сама психология юности...

Общность темы многих авторов и Тюрина бесспорна.

Антон ЧЕРНЫЙ в эссе о молчании Тюрина, «Силентиум Тюрина» — рассуждает о том, что молчание поэта Тюрина наступило его, Тюрина, волевым усилием, после чего пришла смерть. Как будто судьба , убедившись в серьезности такого решения, свершила свой суд над талантливым человеком...

А взрыв стихов был у Ильи в связи со смертью Бродского. Что же получается? Она – открывающая и закрывающая скобка! Она – тот ключ, без которого не отпереть двери смысла. Смерть выступает в эссе Черного как инструмент аналитический, в общем как образ и как инструмент познания... Слов нет — благородно. Для самого Илюши таким инструментом был Бродский, в том аукается с Антоном Черным из Вологды Сергей Коколов из Иваново. Поразительно, как не сговариваясь, они мыслят в одном направлении! Вот только интонации у них разные:

если Черный утверждает и доказывает свои догадки, то Коколов вопрошает себя и читателя — так ли? Имеет право.

Сергей СМОЛЯКОВ при всей взрывчатости стиха и всей его ненарочной громкости (что делать, такой горячий темперамент у автора) — со смертью буквально сталкивается локтями.

И я понимаю – раз реквием, значит смерть рядом,
«Ну, вот и лепи себя из могильной глины,
Мешая чужие ребра в свои слова.
Поскольку смерть оказалась настолько длинной,
Что не заслужила света в конце ствола»
«Мы стучимся лбами, целуясь, и раз за разом
Время лечит нас, чтобы мы себя убивали».

Могла бы и отмахнуться — дескать, крикнул для красного словца, но Смеляков-то шкурой чувствует стихию, ловит ее движение, это видно по прекрасному стихотворению «Волна», имхо, это лучшие строки у него, ну а смерть тоже стихия, от нее никуда не денешься. Моя бы воля — никогда не причислила бы Смолякова к товарищам Ильи с его сленгом, неслыханной дерзостью и даже натурализмом. Но это свобода слова. Поэт свободен от рамок и следовательно, никакой ответственности ни за что не несет... А жаль.

Гораздо более ясен и по-хорошему предсказуем Максим ГРАНОВСКИЙ из Питера, его слово о смерти вылилось в стихотворение «Казнь», оно исторично и потому более косвенно, не о нас речь, о том человеке.

«Дробь барабанная, топор
Простите люди, — крикнул вор»
«И каждый нехотя умылся
Предчувствием цареубийства!»

Да, если б только воров казнили, а то и царей.

Смерть как инструмент истории — это автор так почувствовал, и я с ним совпала в этом ощущении. На примере Грановского я как раз вижу невероятную стойкость классического слога. Разве такое устареет? И пусть сюжетность стиха никогда не была в чести, зато – слово летит, товарищи, летит. Это же для читателя самое главное.

А дальше многоголосый хор, который мощно спел свою песнь о смерти, и у каждого своя партия. Нежный Александр ГУБИН из Москвы и жесткая Софья ГРЕХОВА из Новгорода, они не просто мужчина и женщина, они личности, видящие смерть, каждый по-своему, Губин очень изысканно, иносказательно – война, длящаяся в голове незнакомца, – пройдут секунды, она выключится, и наступит конец, то есть смерть для незнакомца...

«Подскажите, где продаются темные очки для конца света?». Не хочу знать!

А Грехова говорит намеренно предметно и резко – про рак на Красной площади. Вообще ее страсть к эстетике ужасного была б непростительна, если бы не ее честность. Не нравится, но это несчастье больных и калек – вот оно рядом. Терпи. В ее образном мире смерть — это избавление, облегчение:

«А ему досталась лишь койка в больничной палате
С видом на желтую стену, а за окном халаты халаты
И он каждую ночь слышал, как умирают на соседних кроватях
Такие же как он, мечтатели, не дошедшие до Красной площади».

Татьяна АХРЕМЧИК из Минска глубоко симпатична мне своим образом не смерти, а скорее сопротивлением ей. У Ахремчик ведь не сама смерть – а тоска смертная, которая всеми узнаваема, мной тоже. И не само явление, а его образ, и это не отвергает, а усиливает правду жизни правдой искусства.

«Проавосила двадцатый
Проскрипит двадцать первый – Эх
Край юродиво-придурковатый
Почему ты дороже всех?
Время прочь! Хочу заблудиться
В безымянном присесть тупике
Пусть тоска моя растворится
В этой смертной вселенской тоске.»

Эту чудодейственную образную линию подхватывает москвич Иван ЗЕЛЕНЦОВ. Его лишь «задело крылом». А он крылом — нас. Но только крылом, так что это смерть не насмерть:

«Так роняй, словно капельки крови
Торопливые буквы в тетрадь
Продолжая бессмертную повесть
Повесть, автор которой сказал
Умирая – что жизнь это поезд
В никуда, а рожденье – вокзал.»

Ну. Такой легкости и афористичности позавидуешь, а еще — тому, что смерть для него — тема побочная. Неглавная это тема, ведь главное – это божественный чертеж, то есть мир вокруг. Это изумительно.

Отступление: есть поэты в альманахе, у которых тема смерти даже не просматривается, вот такие редкие исключения. Но даже у них смерть мелькнула прилагательным –

«Сирень после дождя
Предсмертнее вокзала...» — Денис КОЛЧИН, Екатеринбург. Стихи у него хорошие, без выпендрежа. Но надо же такое придумать – предсмертнее вокзала....Я даже не догадывалась, что вокзал может быть предсмертный... А сирень еще более... Да и «смертовик в башке» – тоже что-то новое. У Дениса смерть — лишь элемент стиха, причем, легкий элемент, специя, и у роскошной Евгении ЛАНЦБЕРГ из Москвы тоже – момент скорее игровой. Просто для красоты, как штрих, завершающий полотно:

Резкий короткий вдох.
Выстрел. Душа. Душа.
Пуля и снова вдох.
Я превращаюсь в тир.
Маятник — командир.
Как она хороша...

Кристина ЭБАУЭР, Новосибирск — свою «Жизнь в картинках» всю перепутала и сломала хронологию, сломала стихострой, написав стихи в строчку. Но это все равно стихи про боль, сопротивление боли. Не про смерть... Таких как раз мало, очень мало.

Керен КЛИМОВСКИ (США), напротив, далека от игр, она слишком знает то, о чем говорит -

«И в Аидово царство короток, легок путь
Не успеть на дорожку присесть и отдохнуть...»

Потому что –

«Я росла в краю, где смерть случалась так часто
Что в нее перестали верить, и были беспечны».

Поэзия Климовски – это непостижимое сочетание жесткости и нежности, довольно свободная форма, интелелектуальность и порыв – что тоже подтверждает современность этих стихов.

Мотив смерти нешуточен и властен в стихах петербуженки Любови ЛЕБЕДЕВОЙ, наиболее интересны в этом плане «Красная конница» и «22 июля». Красная конница — двухслойное явление, где наподобие двух гребенок проникают друг в друга история Элли на лопатках и гибель красного командира... «если первый умер — кто тогда кричал...» стих шарада.

А вот 22 июля вообще роман-хроника в миниатюре. Огромное в малом, потрясающие детали выдают бесспорный талант.

«...через три года на пику ограды сорвется с березы Андрей
Пахнет жасмином и мамино жуткое ААА
...через одиннадцать лет смерть придет в это дом поутру...
Визг тормозов и штаны разрывает по швам. Синяки...
Я же лечу вверх ногами – лечу и от счастья ору...
Правый сандалий смешнуще слетает с ноги...»

Лики смерти в молодых стихах – это возрастная черта. Я веду литературную студию и наблюдаю много примеров творчества молодых, связанного со смертью. И мне непросто соглашаться с этим явлением. Есть объективные причины. Во-первых, молодость говорит об этом бесстрашней, чем старость. Это смелость незнания. Во-вторых, это жажда познания мира и себя — каков я на излом? В-третьих, бравада. Самоутверждение, наконец. Но вопреки разуму со всем этим хочется спорить... Не надо, не надо....

ПРОЗА альманаха выражает печальную тенденцию номера особенно отчетливо. Собственно, с нее-то и хотелось начать, но почему-то первичность поэзии, ее здешнее царство смутили меня... И я стала читать по порядку.

Простой и прозрачный «АлтынКель» ульяновской Ирины БОГАТЫРЕВОЙ — психологический рассказ –оцепенение. Они на озере, где утонул золотой слиток. Но золото никому не дается. А он готов убить ее из-за какого-то фотоаппарата. Так начинается смерть любви. Наедине с природой дрогнули они, и наедине с дождем остаются герои одноименного рассказа Александра РЫБИНА (Томск). И тем и другим смертельно холодно. Это еще не конец.

А вот Ульяна АРЕФЬЕВА (Ивангород) и Елена БЕССАРАБОВА (Приднестровье) говорят прямым текстом — «Бессмертия у смерти не прошу» и «Немного смерти в моей жизни».

Ульяна размышляет над стихом Бродского, любимого тюринского поэта, «Осенний крик ястреба», которое, конечно о смерти, о смерти поэта. Поскольку искусство всегда попытка пережить смерть автора, сочинительство сродни умиранию, читатель соучастник этого умирания или умирания стихов. Анализируя текст, Ульяна вместе с Бродским взлетает над землей и над бытом и попадает в небесную страну – куда попадают души. У ястреба есть человеческие моменты, и сердце бьется, и тепло-движение, и он хочет вернуться, но уже не может и тогда — этот страшный крик ястреба, предсмертный.

Вот я думаю — Ульяна нашла ту адекватную форму, которая позволяет разбираться со смертью, думать и говорить о ней без видимых и явных разрушений.

Точно и честно написала о смерти как о понятии Елена Бессарабова. Жизненные истории ее очень живучи и очень могучи, потому что хитрее жизни не выдумать. И хотя они тоже перепутаны по хронологии. Мы все же их воспринимаем без сопротивления, потому что ярко, художественно и дозировано: близкие, но не я... милиционер, герой летчик, чей-то брат, но не я... Гомеопатия делает свое лечебное дело, и яд смерти опять же не убивает, вдобавок такая проза кинематографичная, это же готовый сценарий...

Елизавета ЧЕГОДАЕВА из Вологды пошла дальше – она не только описала состояние ужаса, близкого к смертному ужасу. Но еще и постепенный выход из него. Человек все внутри пережил и убедил себя жить дальше. Что ни говори, это признак внутренней силы...

Симптоматична тут и работа «Человек Шаламов» — работа Макса ГОНЧАРОВА (Москва), ведь Шаламов жил там, где все умирали, «лагерь — это отрицательный опыт жизни», «в лагере убивает не маленькая пайка, а большая пайка», «там жизнь на грани жизни и смерти». Такой подход, наверно мудрее, чем рвать свою душу напрасными мыслями о неизбежности смерти...

Тут я позволю себе выйти за круг новеньких лауреатов, хотя хочется говорить только о них... и поприветствовать лауреатов прошлых лет.

Друзья мои, я давно симпатизирую Дмитрию МОРОЗОВУ (Москва). Что-то в нем есть настолько искреннее, настолько щемящее, что я как читатель, во-первых, была счастлива его приходом из стихов в прозу, а во-вторых, все удивлялась его романтичной открытости.. И вдруг я вижу его «Гостью» в 7 номере и ужасаюсь – пить пиво со смертью? Кокетничать с нею? Это почему? Целый день ломала голову — зачем это он залез на богохульственную вышку такого оглушительного стеба? Если он хотел шокировать – то шокировал. А дальше-то что? Меня волнует не только судьба текстов Морозова, но и судьба самого Морозова, который так опасно играет словами.

И рядом же Надя ДЕДЕЛАНД из Ростова-на-Дону, рассказ «Зрение», где приближение смерти чувствуешь физически через муки слепнущего человека. И вроде бы ты тоже умираешь. Но, отдавая должное автору, скажу — благодаря его деликатности мы видим — смерть здесь не жестока, а благодетельна. Как глубоко пишет Надя! Как она видит разные стороны бытия и улавливает радиоволны, на которых общаются два чужих человека, Марина и тот сосед, покинувший землю с ней вместе... Так проявляется духовная зрелость писателя... Мне бы хотелось еще поблагодарить Эдварда ЧЕСНОКОВА, череповчанина, живущего в Москве, который стал великолепным исключением и не коснулся опасной темы. Но вызвал целую бурю чувств в душе моей. Его проза на первый взгляд безэмоциональна, суха, но как и чем он успел завоевать меня? Может красотой среды и необычностью ситуации? Может, простой человеческой откровенностью. Не изысками стиля, а обнаженностью факта....

Поэтому я как человек, бесконечно любящий жизнь во всех ее проявлениях, читаю этот альманах с трепетом, ибо верю. Ужасаюсь. Сострадаю!

Это не значит, что писать о смерти нельзя – сейчас не существует никакого «нельзя». Но прошу вас помнить о честности, которая искупает все. Много зависит от вас — вашей смелости, глубины, такта. Прошу вас, молодые таланты: будьте осторожны. Ответственны за свое слово.

ЭХО «ПЛЮСОВОЙ ПОЭЗИИ»

Антон Чёрный, Вологда

Сменный носитель

Записки «культуртрегера» о фестивале «Плюсовая поэзия» (2007-2009)

Недавно где-то в интернете, кажется на «литкарта.ру», с удивлением, прочитал, что я — *«культуртрегер»*. Мол, устраиваю фестивали, составляю альманахи — стало быть, несу культуру в массы. Ведь немецкое «Kulturträger» — именно это и значит, «несущий культуру». Узнав это свое новое наименование, я сразу стал копаться в слове. Я это очень люблю, особенно в отношении составных немецких словес. Например, если распилить по корням немецкое «Dasein» («бытие»), получим «da + sein», то есть «быть + здесь». Такое вот философское немецкое бытие. Что же до «трегера», то с корнем «Kultur» все ясно, а вот у глагола «tragen» просто бездна значений: «нести», «тащить» и даже «терпеть / переносить». То есть бедолага, «несущий культуру», не только тащит ее на себе, но и терпит от нее порядочно. «Träger» — одновременно организатор, носитель, переносчик и носильщик. Его ближайший словесный «родственник» — Gepäckträger, «носильщик багажа». Что, впрочем, и неудивительно. Оба они тащат на себе чужой скарб, материальный или духовный. И неизвестно еще, что труднее волочить: «Kultur» или «Gepäck».

Фестивальный опыт говорит о том, что определить, кто организатор мероприятия, совсем не сложно. Нет, упаси Боже, это не тот, кто больше всех орет и командует. Правильный ответ: это тот, кто уходит самым последним и убирает за всеми мусор. Так что «трегеру» приходится таскать не только культуру.

Что ж, с термином мы определились. Теперь по существу. Я до сих пор задаюсь вопросом: как так случилось, что за какие-то два года я стал заядлым «носильщиком»? В № 11 альманаха «Свеча» я уже описывал обстоятельства возникновения фестиваля «Плюсовая поэзия»: был проект, под который я безуспешно искал средства, а потом вдруг неожиданно на моем пути появился меценат Юрий Ганичев, который хотел помочь культуре. Совершенно диковинный в наши времена человек, которому я не устаю удивляться до сих пор.

Первый фестиваль прошел 24 мая 2007 года под рабочим названием «Зов Муз». Стартовый круг авторов ограничился местными: собрали Вологду, Череповец и районы, пригласили кое-кого из земляков, живущих в столице. Приурочили праздник к Дню славянской письменности. Решили проводить «Плюсовую» два раза в год. Оптимальная периодичность: держит в тонусе и авторов, и организаторов.

Уже второй фестиваль (27 октября 2007) собрал стихотворцев из нескольких областей. Пожаловали ярославские (Н. Кудричева, Е. Коновалов, А. Коврайский и др.), с которыми мы познакомились на «ЛОГОрифмах». Приехала президент Фонда памяти И. Тюрина Ирина Медведева. После каждого фестиваля я валялся дома, не в силах пошевелиться.

Идеология фестиваля формировалась постепенно. Большого размаха мы не желали. К тому же в количестве, как правило, тонет качество (что, кстати, случилось на ярославском фестивале). Во главе угла — отбор авторов и общение. Никаких призов и дипломов, чтобы избежать вкусовщины, склок и обид. Каждый должен был увезти и унести с фестиваля свои впечатления, контакты и связи. Все остальное тащат на себе «трегеры»: приезд / отъезд гостей, залы, чай с печенюшками, конферанс и т. д. Список на несколько страниц.

Третий фестиваль (24 мая 2008) должен был стать двухдневным, но не стал. Три мероприятия на разных площадках уместили в один день: в областной библиотеке — презентация сборника «Плюсовая поэзия» (издан благодаря гранту Комитета по делам молодежи и предприимчивости Ганичева); встреча с издателем Л. Осепяном в Литмузее; гала-концерт фестиваля в ДМТ. Приехали: Москва (Э. Чесноков), Киров (А. Докучаев, А. Жигалин, Е. Изместьев), Ярославль, Череповец, Рязань.

Мы начинали «квадратеть». Ю.Ганичев даже предложил осенью ввести призы и номинации. Мне все это немного претило. Во-первых, я терпеть не могу выстраивания поэтов в ряды, табели и колонны. Это тупик, стагнация. Во-вторых, к тому времени путем проб и ошибок в моей голове уже начала складываться постепенно концепция *фестиваля как самоорганизующегося сообщества*. Ведь, на самом деле, фестиваль делают не «трегеры», а его участники. Они — главные. Их общение, духовное обогащение есть главная цель. Не «демонстрация актуального состояния поэзии», не «поощрение лучших». Наглядным примером этого была придуманная Юрой система «скамейки запасных». То есть читка по принципу «свободный микрофон», когда желающие выступить следующими садятся на скамейку рядом со сценой. Никакого произвола конферансье, никакой градации и табели — импровизация с участием самих поэтов.

Учитывая желание моих коллег добавить в «Плюсовую» немного грандиозности и официоза, я ждал осеннего фестиваля 2008 года, признаюсь, даже с некоторой растерянностью и тоской. Изначально взяв слишком много организаторских функций на себя, со временем я обрастал еще большим количеством, так что укрупнение дела грозило закончиться тем, что «носильщик» надорвет пуп. К моему облегчению, по финансовым причинам IV фестиваль решили провести «в камерном формате», то есть с небольшим количеством приглашенных. Приурочили его к 10-летию ВО СРП, чем и объяснялся «домашний» формат.

Мероприятия уместили в два дня (31 октября — 1 ноября). Отметили юбилей, провели мастер-класс по эстрадной поэзии и «свободный микрофон». В гостях: Киров, Ярославль, Москва (в качестве экспертов в мастер-классе участвовали известные современные поэты Мария Галина и Аркадий Штыпель).

Для меня последний фестиваль стал особенно знаковым. В одной из школ теоретического менеджмента, рассматривающих любую управляемую систему как организм, есть понятие «точки взросления», когда приходит понимание того, что система в ее нынешнем виде «забуксовала» и нуждается в развитии. В противном случае ее ждет застой и исчезновение. Этот момент наступил. «Трегер» понял, что так нести дальше нельзя.

Выход из тупика один — развитие *идеи самоорганизации* фестиваля. Причем не только в части участников, но и подготовки самого действа. Со временем организаторский креатив в «носителе» иссякает. Необходимо обновление системы, привлечение помощников и единомышленников в виде активно действующего *Оргкомитета*. Продолжая нашу метафору, можно сказать, что необходима *смена носителя*.

Подготовка к V фестивалю идет в настоящее время. К сожалению, экономическая неразбериха последних месяцев коснулась и нашего мецената. В связи с этим, возможно, что весной «Плюсовая поэзия» пройдет в «сверхдомашнем формате»: без оплаты проезда иногородним и прочих расходов. В этих условиях вопрос обновления Оргкомитета и смены носителя становится вопросом дальнейшего существования фестиваля. Надеюсь, что уже в ближайшее время мне удастся привлечь к работе новые силы. Что будет в противном случае, объяснять не стоит. Противного случая не должно быть.

У: ПОЭЗИЯ

Валерий Архипов, Вологда

Держа в руке литературы прутик

Памяти Татьяны Бек

Вобравшая в себя двадцатый век по сути,
Нахохлившись, скользя по нити бытия,
Держащая в руке литературы прутик,
Осталась в ней совсем. И без нее нельзя.
И пусть неясный свет пронзит
печали тризны,
Внезапный сей уход осмыслить нам должно.
Она — кусочек льда на палочке отчизны.
Не прошлое, не тлен. Кино, кино, кино.
Кино как мелкий дождь, как
злое расставанье.
Ресниц печальный взмах иль
бабочка в крови.
Когда-нибудь у врат отыщется свиданье
Ее высоких строф — лови, лови, лови.
Откуда же у ней воздушность, невесомость? -
От бога ли отца, чей так всесилен бас?
Уклончивая речь, подчеркнутая скромность
Чуть-чуть не долетит, окутывая нас.
Стихи, стихи, стихи остались неизменны.
Зачем они живут, какой совет дают?
Ну пусть летят, снуют — строги,
благословенны –
То там они живут, а то присядут тут...

***

Белая береза, на березе
Надпись: «Я любил в анабиозе».
Надпись до обидного проста.
Говорят, что нет на мне креста.
Новая не лучше полоса:
У нее раскосые глаза,
И какой-то сумрачный злодей
Выколол ей черных лебедей.
Рук ее банальное кольцо,
Крики одурелые в лицо,
Прорубь вожделенья, и туман
Серых глаз, в которых спит обман.
Мачеха, любовница, жена,
Золушка, распутная княжна.
Нотки «ми» и павшая навзрыд,
У тебя бессонница болит.
Белая береза, а на ней
Ножичком про черных лебедей...

***

Позвонила мне и сказала
Умер Хой, я звоню с вокзала.
И заплакала, матерясь –
Неужели и дружбу в грязь?
Пусть твой голос дрожит как стужа
Пусть сегодня ты спишь без мужа,
Я б тихонечко ревновать...
Да и сердце твое стучит,
Слишком редко, нетривиально,
Как тебя понимать буквально –
Буквоединкой называть.
В этом детском нетрепетаньи
Вся любовь и вся боль моя,
Ты писала мне гениально,
А читала стихи страна.
И звались они неподсудно
Вместе с утреннею зарей,
Неужели и впрямь со мной
Спишь по осени беспробудно...
Как мне голос твой слышать трудно,
Одолеть бы его, бог мой...

***

А девочка сказала мне: «Пойдем».
Ну а куда — вдруг Дон-Кихот Ламанчский
То буду я, и всякая беда
Прилипнет, не помогут и команчи.
И Санчо Панса, грешный инвалид,
И что-то на душе моей саднит,
то веера, то пара рваных туфель,
то яств не счесть, то всякая туфта,
салат, давно отравленный, из трюфель.
Да, я изгой. Мне странен твой вопрос,
но нет на свете и милей и горше —
зарыться в дивный сад твоих волос,
заснуть и кануть, и ни грамма больше.

***

Ты сказала, что любишь гения,
Ну а мне послышалось — гея,
Я был сильно рассержен и запил от горя.
И пилась без меры всякая ерунда,
ты боялась, что я вдруг сойду с ума,
Ты боялась, что я повешусь на рее,

Только это сущая ерунда.
Я же не был, простите, матросом
еще никогда,
И не буду, пожалуй, совсем, но
сопьюсь внезапно,
Как эротоман спивается от своих фантазий.
Выберу самую странную из всех стран,
Выберу самую странную женщину
для забавы.
И умру в сингапурском борделе,
И ты будешь долго меня искать,
Чтобы в землю родимую закопать.
Ведь душа не должна оставаться в теле.
Ну а гений этот наверно был я,
И в тебе значит, буйствует кровь моя,
белокурая ты моя лотерея!

***

Этот славный кошмар:
он придуман, он создан не мной.
Пусть я пьян, как клошар.
Если пьян я, то пьян вашей лестью,
вашей лестницей,
очень похожей на план
в преисподнюю, где бы сгорели мы вместе.
Этот жгучий восторг,
от дыханья которого ждёшь
и рыдаешь в тревоге,
ведь всё уже здесь поразбито.
С «телефонной сюитой» свою
паутиночку ткёшь,
чтоб навеки остаться нетронутой, но
незабытой.
Я не знаю, где «вы», ну а где
по российскому «ты».
Обращение к «вам» иль к «тебе» —
объясненье так зыбко.
Не смотри на меня с райских кущ,
с неземной высоты.
Я с ума не сойду, хоть и слышу,
как мучают скрипку.
Как кастрируют стих, как
коверкают имя твоё,
над дебелым бельём твоя свежесть,
как море, разлита.
Пусть сгорает в оранжевых красках жнивьё.
Ты не думай об этом, слегка
утомлённая бытом.
Ну и всё-таки в снах обернусь
чернобурой лисой,
серым карликом злым напугаю
тебя до запястья.
Ты сама — белый ангел, взлетишь над
песчаной косой,
над сиреневым облаком, имя
которому — счастье.

* * *

Взяв залитый квасом бубен,
Я решил скорей по пьянке –
Пусть тебя целует Рубенс
Сквозь века, на полустанке.
Пусть тебя целует ветер,
В ноги бьётся ошалело.
В тыкве рыжей, не в карете
Ты своё лелеешь тело.
Рвёшься на свиданье с принцем,
Рыжий клоун он намедни.
У меня стрельнул он «Винстон»
На виду у всей деревни.
Ты бежала, хоть тихоней
Мне казалась поначалу,
А приснилась ночью — Сольвейг
С волосами как мочало.
Стало страшно. Ночь глухая,
Пропади она, просетуй.
Продавщица тётя Хая,
Дай мне водки, хоть вот этой.
Я опять напьюсь и с улиц
Побегу в поля пустые.
Пусть тебя целует Рубенс
Прямо в губы холостые.

Окаянный

Качаясь, гаснет свет под потолком,
немножко несговорчивый и вялый,
и мы сидим, безумные, тайком,
чтоб нас не обнаружил окаянный.
Какой-то с виду вовсе не живой,
Хрустит, шуршит, и все так без ответа.
Ты посмотри, хоть глаз один открой,
Ведь у него совсем лица-то нету.
Без трепета не можешь ты никак.
Совсем тебя, бедняжку, запугали.
Как хорошо, что нету тут зевак,
Они бы нам наверно, помешали.
Вот, как сказал, все стихло, и опять
Чудесный свет возник, как Аллилуйя.
А как хотелось в этот миг обнять
Твой поясок за миг до поцелуя.

***

Не разоряйте здешний сад, пусть
будет он таким,
худым немного, будто взгляд
с картины «Пилигрим».
А если он немного толст, уж это не беда.
Зато ложится он на холст художника Петра.
Пусть он фриволен — ничего,
его мы пристыдим,
его мы вымоем с утра,
причешем, проследим...

Захочет пить — нальем вина
и позовем друзей,
как жаль, что ты мне не жена
до самых страшных дней.
Ты не придешь, косынку смяв,
не выплачешь угар,
Не будешь, руки расплескав,
таить любовный жар,
Ты не напишешь в трех словах,
как жить тебе светло.
Но только обомлевший Бах крутил веретено.

Ксения Аксенова, Вологда

Любовь молчание

Льёт дождь. Стекают капли по карнизу,
И на асфальте застывают тени.
Смотрю в окно. Осенние капризы
Водой смывают контур сновидений.
Всё движется: мелькают люди, лица...
Я словно в забытьи, смотрю на город.
И музыка дождя не повторится,
Он потому мне каждым звуком дорог.
Стекают по стеклу устало капли,
Играют светом фар и светофоров.
И шум дождя, сорвавшийся внезапно,
Утонет в шуме тысячи моторов.
Во сне мне память подбирает рифмы,
Слагает их в стихи о том, что было.
И этот город кажется мне мифом,
Который я когда-то сочинила...

***

Я смотрю в вышину. Над моей головой
Бесконечность не знает границы:
Горизонта черта только — небу с землёй
Всё мешает в единое слиться.
И крылатые боги, что выше всего
Ценят небо, свободны, как ветер.
Мне и грустно и радостно лишь от того,
Что они всех счастливей на свете.
Я смотрю в вышину. Я завидую им.
Каждый вправе завидовать вольным.
Это просто весна и сиреневый дым,
И желание счастия, что ли...

***

Я рисую тебя на оконном стекле,
Чтобы утром с тобою проснуться.
И берёзы, кивая серёжками мне,
Вместе с нежной весной улыбнутся.
Я рисую тебя на прозрачном стекле,
На безоблачном небосклоне.
Этой ночью ты был в моём призрачном сне
И дождинки ловил в ладони.
Я рисую тебя дождевою водой,
Свежим ветром, дарящим ласки.
И во сне, и в мечтах ты все время со мной.
Я рисую тебя. Без краски.

***

В городе весеннего дождя.
Талая вода и звуков стая.
Вечер, словно лёгкая ладья,
Меж ветвей деревьев отдыхает.
Опустился сумрак на дома
Мягким тёмно-синим покрывалом.
Город от весны сошёл с ума,
Утопая в шуме небывалом.
Дождь прошёл, и кончилась гроза.
В птичьем хоре лейтмотивом — лето.
...Я гляжу в святые небеса
И благодарю Творца за это.

***

Я тебе, может быть, расскажу,
Что сегодня плохая погода,
Что по улицам топает дождь,
Грустно-грустно шурша по листве,
Что как будто хожу по ножу
В своих письмах тебе раз в полгода,
И о чувствах молчу — ну и что ж –
На линейной тетрадной канве.
Я пишу, что, увы, во дворе
Нынче ветрено. Слякоть и лужи.
И машины куда-то бегут,
Как обычно, ворча под окном...
И ни слова (как в старой игре),
Что ты нужен, ты мне очень нужен!
Только строчки меня берегут,
И себя я не выдам письмом!
Мы потом ещё встретимся, но
Видно, так уж указано свыше:
Будет ливень хлестать, а за ним
Прогремит над июлем гроза.
...Я тебе расскажу всё равно,
Под дождём или, может, под крышей...
А сейчас мы с тобою молчим,
Только смотрим друг другу в глаза.

***

Запоминаю этот взгляд,
Как будто в вечность провожаю.
Часы безжалостно спешат,
Своею суетой смущая.
Столпились люди, поезда,
И за спиной моей — вагоны.
В глазах твоих — ни нет, ни да,
Лишь отраженье небосклона.
Запоминаю небеса
Во взгляде и твою улыбку.

Мне что-то хочется сказать,
А я боюсь. Молчанье зыбко.
Но ты ушёл. И тишина.
Я помню, мир утратил звуки.
Твой взгляд запомнился до дна,
Что подарил ты до разлуки.

***

Выгляну на улицу — темным-темно.
То ли вечер, то ли ночь — не всё ль равно?
На печи горячей тихо дремлет кот.
Эх, живёт же Васька без забот-хлопот!
Валенки дырявые с заплатами,
Офицеры снятся да солдаты мне...
Замела метель дороги, замела.
Да по полю пляшет вволю, как юла.
Как земле под снегом до весны лежать,
Так и мне тебя, мой милый, долго ждать.
Вышиваю я берёзки с кленами,
А выходит — звёздочки с погонами.
Выгляну на улицу — темным-темно.
То ли вечер, то ли ночь — не всё ль равно?
Спеть про зиму песню захотелось вновь,
Только что-то снова вышло про любовь!

***

Моя печаль, моё воспоминание,
Моя любовь и свет в душе моей,
Зову тебя. Шепчу, как заклинание,
Молитву имени. О, память прежних дней!
Всего лишь три мгновения оставлено.
Но целой жизни не дала б взамен,
В которой столько строк поверх исправлено
Нещадною рукою перемен.
Ведь многое осталось недосказанным,
И многого не вычеркнуть, а жаль...
Зову тебя сквозь сон, и тает мир, как дым.
Приснись мне, сероглазая печаль!

***

Тишина как-то странно давяще
Опустила свой занавес серый.
И темно, будто ночь. Луна ещё
Светит так, что сдают нервы.
Полночь близится мерным тиканьем
На столетних часах измученных.
Да в углу домовой хихикает,
Убивая надежду на лучшее.
Осень в окна стучит, промокшая.
Лету тёплому — эпитафия.
Лишь Любовь не уходит в прошлое,
Смотрит ласково с фотографии.

***

Заволокло всё небо серой мглой,
И солнце — словно под замком невольник,
И нет нигде просвета над рекой.
Лишь только там, где купол колокольни
Касается небес своим крестом,
Стремясь наверх за журавлиной стаей,
Там яркий свет пробил туман лучом
И, облака беля собой, растаял.

***

Застыли стрелки на моих часах,
Устав разлуку по секундам мерить.
Висит луна в холодных небесах,
Одна. И мне так хочется ей верить,
Что расстоянье меж тобой и мной
В сравненьи с межпланетным расстояньем
Мало ничтожно, как и шар Земной
В сравнении с вселенским мирозданьем.
И над тобой в такой же синей мгле
Висит луна, и свет её беспечен.
Путь до тебя — он, всё же, по земле
И, всё же, не настолько бесконечен.

***

Мне кажется, всё это где-то было.
А может, нет. А может, не со мной...
И, так же тихо, осень уходила,
Прошелестев опавшею листвой.
Она горела, осыпалась, гасла
И плакала от северных ветров,
И вновь рождалась девственно-прекрасна
В огне горящих златом куполов.
Ещё была весна. Давно... В ней нежность
Давала без рассудка страсти ход.
Мне кажется, тебя люблю я вечность,
А мы знакомы — только третий год.

***

Ну вот, ты знаешь всё.
И я не меньше знаю.
Нам этот разговор
был нужен неспроста.
Ты бритвы остриё –
я шла босой по краю.
Теперь в душе нет мук,
там просто пустота.
Теперь я знаю всё.
Но силы нет расстаться,
И сердцу никогда
тебя не позабыть.
Ты счастье ли моё?
Иль горе? Может статься,
Я разлюблю, но вновь
смогу ль не полюбить?

Любовь! Гори огнём!
Куда тебя я дену?
Мне не унять тебя
в пылающей груди.
Или иди к нему,
сквозь расстояний стену,
Вдруг ты ему нужна.
Не мучь же, уходи...

Наталия Боева, Вологда

Какие незримые нити

***
какие незримые нити
меня к тебе привязали?
я знаю наверняка,
что мир плоский,
и на костре сжигаю книги Коперника —
ты веришь в эпоху Великих Открытий.
в твоих глазах неизвестные страны,
что где-то за краем земли,
и странный
ты выбрал рефрен:
Таити, таити... Таити? -
ах, да, я помню — Гоген.
Мне нравится только Дали...
и просыпаться как можно реже -
раз в год и лишь по весне.
и, знаешь, самые умные вещи
я говорю во сне,
хотя тебе кажется, что я брежу.

***
Июль — середина шизофрении,
И сонное солнце лениво ползет в зенит...
когда я подохну мой мозг передайте в НИИ
патопсихологии,
пусть все же посмотрят на то, как звенит
на ветру зеленый хрусталь тополиных
листьев,
скажите, пусть знают, — в жизни
иногда нету места логике.
А где-то,
расцветают красные
розы под снегом,
и раненой рыжей лисицей,
бредит побегом,
мечется сердце в капкане грудной клетки,
отгрызая лапы артерий,
и верит
в свободу.
Кто же
Такие мокрые ненастные
дни повесил сушиться на ветках?
Я больше не выдержу, Боже,
такого жестокого света!
Меня ли мерить обычными мерками?!
Двое ловят снежинки кленов –
я и звереныш, который в зеркале –
в разгар зимы моего лета...

***
давайте, перейдем на ты-
сячи песчинок в отсчете
време-н-и-мени, ни отчества-
ши шаги растворяются в одиночестве-
ка. давайте, перейдем на ты-
сячи белых клеток вперед
и станем ближе-
лезом условности выжжем:
я — это вы же,
у которого нет н-и-ме-ни-фамили-и-
ли вы-выше,
светлее, чище?
придет срок-рок поэта
давайте, к концу света,
перейдем на ты...

***
я заплутала в лабиринтах улиц,
повисла в сети телефонных проводов –
ты ускользаешь каждый раз,
но я не хмурюсь.
... а у бездомных, уличных котов
блестят жемчужины на дне,
в колодцах глаз...

я все ныряю взглядом в облака,
и кажется, что солнце ближе так,
оно подарит сон тяжелым векам
... такая же тоска
у брошенных собак:
по ласковым рукам
привычного до боли человека...

***
никогда не говори jamais,
это так по-французски,
это так не идет к волосам русым
и славянскому типу лица

иногда ищешь Перу -
на карте
по древней памяти,
по темной крови.

никогда не пей за здоровье
ничего кроме водки.

***
“Ah, mein liebe Augustin, Augustin,
Augustin...”

Динь-дили-дон, моя нежность,
положу тебя в шляпу, достану за уши
кролика.
Смежность
углов и комнат, я знаю, ты где-то рядом,
все будет поэтому так, как нам надо.
И принцессы давно уже замужем
за свинопасами и первыми встречными,
а я на китайских роликах
качусь по дороге к вечному
городу (туда ведет всякая,
если на то пошло).
На шляпе бубенчики звякают:
Динь-дили-дон, моя нежность,
все прошло,
все прошло,
все прошло.....

***
Дальше будут руки, полумрак и твое лицо.
Дальше — только дыхание
и тепло
(тепло дыхания
или дыханье тепла).
Я еще не уснула и не умерла.
Новорожденная слепая любовь,
пища как котенок, протиснется между нами.
И в форточке небо, как знамя –
на нем слишком много звезд,
холодных и пристальных глаз.
Небо смотрит на нас,
сиамских детишек, сросшихся снами.

***
я подхожу идеально
для бега по часовой и против
чуть меньше -
для составления графиков
и планов на ближайшую пятилетку
я стойкий оловянный калека
в поле не воин
(да и вообще воин ли?)
звание, которое мне присвоено
отставной козы младший
запаса солдат Джейн

***
я пишу на древнеарамейском
ледяными буквами молчанья
“ты будешь плыть по венам рук
по рукам рек
по рукавам моих рубах
и водной глади вышитых по вороту цветов”
я пишу на древнеарамейском
“отчего зимой так сохнет кожа
от того что ветер вырезает имена не слыханные ране
от того что ветер высекает ледяными буквами
— молчанье
замерзают руки словно реки
в рукавах как в белых берегах

***
лера болеет ветрянкой:
ее подхватило и носит по ветру.
она говорит, мама, — голова болит,
мама, еще болит глубоко где-то,
сама не понимаю что.
я верчусь между нею и мной
ветряная мельница.
лера спрашивает, почему так темно
это оттого, что я не зажигаю света,
радость моя, говорю, потерпи, скоро лето
от тебя и так уже немного осталось,
скоро совсем развеешься, развоплотишься
закрой глазки, что же тебе все не спится?
лера отвечает — начитала уже сто двадцать
овец
и одну долбанную эолову арфу,
я не могу больше, мама,
когда же начнется штиль?

***
тишина внутри
больше, чем тишина снаружи
больше, чем я
больнее всего
носить в себе тишину.
связки не способны на звук
тишина течет изо рта
льется из глаз.
а я знаю
тишина внутри меня
живая
и дышит,

и дышит
тобой.

***
а. к.

я трава трава
ветер согни меня
положи на лопатки
я была не права
так много меня

до того одинаковой
что можно менять
на других
как вкладыши жвачек
я лежу на земле
сквозь меня все трава трава
а в моей голове война
а в моей голове уравнение не уравнивается
в каждой точке графика
игрек равно икс квадрат
меня так много но я одна
как семь бед и один ответ
ветер ветер согни траву
сломай хребет

***

о чем? конечно, о любви,
о том, как женщина по средам
срезает розы
у себя внутри.
что с ними делать?
они цветут сквозь тело
так бесстыже, — прямо в руки:
- ну, забери меня, ну, забери!

срезает их и ставит в вазу,
как будто кто-то подарил.

эдип

береженого бог бережет
стереженого бог стережет
нерожденного бог не родит
внутри у меня эдип
ходит-бродит раны мои бередит
я ему — на хуй иди

а он — ты думаешь, я отца убил, потому что любил мать?
это роль ругательная, попрошу ее ко мне не применять.
у меня эта мать
в печенках сидит -
не достать
я инвалид
я теперь пиаф эдит
эдипопьеха и царь давид

не любо-не слушай
а петь не мешай
и лучше сама уходи.

отчетливо катя

ты думаешь, что он рыба,
потому что у него чешуя и жабры,
а оказывается он овен,
потому что по гороскопу.
это несовпадение озадачивает

и размышляешь:
вот этот мужчина, лежит на моей кровати,
должно быть думает, что лучше б остался у
кати,
насти,
нади,
еще кого-нибудь из нашей братии.
мысленно поправляю — сестричества,
впрочем, какая разница,
ведь, когда говорим «ленин» на горизонте маячит партия,
и если, в принципе, ты — наташа,
то при определенных условиях — отчетливо — катя

думаешь, вот останется, рожу ему дочь...
чтоб узнать, что всю жизнь он хотел сына
от своей бывшей, кажется, кристины,
ходил к ней исправно на блины, именины, крестины,
даже на девичник и дни рождения мужа,
а ты — просто неплохо готовишь ужин,
что тебе до этой кристины расти и стараться
даже после двухсот пластических операций.
ты суррогат, китайская подделка-дешевка.

думаешь: мне нравится этот мужчина,
вслух говоришь — да пошел ты!

ты должна быть как Фрида Кало:
сотни раз меня уколоть
звуком голоса своего
звоном его колоколов.
пить из колодцев,
пополам расколоться,
тогда, пролившись, твоя вода
наполнит ладони мои, словно два неглубоких пруда,
а ты так беспомощна, но горда,
ибо все, что есть у тебя,
досталось тебе без труда.
а если я выпью воду с ладоней до дна
от тебя на память не останется ничего,
кроме маленьких уколов
от звуков голоса твоего.

***

у вас снег, и у нас — снег
насколько хватает взгляда.
и больше никто из нас
как в детстве — его не ест.
у вас и у нас — снег.

без вкуса и запаха
его куда больше, чем надо,
он не щадит глаза.
ты что-то должен еще сказать,
в чем-то признаться мне.
но я забираюсь в постель:
у нас одинаковый снег,
и я не хочу новостей.
вообще никаких новостей.

Елена Гудошникова, Воронеж

В другую душу тайное окно

Осенняя медлительность гриба...
Он не спешит выглядывать наружу
Предвидя лужу на пути и стужу,
Он бережет тугую мякоть лба...
Подснежник, торопливый первоцвет,
Стремится вверх со скоростью ракеты,
Как будто миссия предвидеть лето
Его толкает в это бренный свет.
Весной иль осенью в блаженстве узнаванья
Иду по лесу робко, чуть дыша
То чувствуя и мысля не спеша,
А то летя к восторгу пониманья...

Ода опере

Когда роднятся музыка и слово
Торжественно и грозно, не спеша,
Величественной оперы основа
Приходит в мир, таинственно дыша.
И страстность затаенная Пуччини,
И Верди искрометные грехи
Души томленье вмиг разоблачили,
Возвысив простоватые стихи.
Взорвешь ли ночь восторгом поцелуя,
Стрелою ли пронзенный упадешь, -
Тебе, художник, музыка рисует,
Жизнь что в себе ты носишь, нежить ждешь.
Постылых будней отвергаая пошлость,
Крупицы чувств прессуя в монолит
Она все также нежно, мудро, просто
Великий дух любви в себе хранит.

Прими же оперу как принимают схиму,
Войди в нее, как входят в монастырь,
И голова горячая остынет,
И сердце свой прочтет тебе псалтирь -
Молитву вечной жизни, красок, света,
Гармонии блаженной унисон...
Сумей принять подарок скромный этот...
Молитву вечной жизни, красок, света
Со всем смирись. Ведь жизнь и вправду сон.

***

Проходит все. Так ты сказал, о Царь?
Но есть янтарь. Он был смолой.
Сосной, потом он стал золой.
И ни к чему урок мудрейший твой -
Все будет, как и было встарь.
Родится ветер, чтоб качать ковыль,
лелея тихую и томную печаль,
Перемежая сказку, небыль, быль,
Туманя глаз и застилая даль,
и все что там, вдали, должно родиться,
с душой ушедшей тихо породнится.
Преворачиваю календарь.
Вот даты смерти и рождений, Царь.
И право, ничего они не значат!
Лишь то что день был прожит, день был
начат,
И вечер наступил, и ночь, и утро.
Молитва, суета и камасутра,
Веселье, грусть, кино и домино...
Известно все, понятно все давно.
Но есть одно. Оно неповторимо -
В другую душу тайное окно.

***

...Осенний город страсти утолил,
Таких страстей не утолить природе.
Ни в поле, ни в лесу, ни в огороде
Дождь умиления тебя не оросил.
Идешь вперед или бредешь назад,
В своем движении невольный странник
Намажешь бутерброд, согреешь чайник,
Поймешь восход, благословишь закат.
Разнообразных мыслей кутерьму
Построишь опереточным канканом,
Где все синхронно, стройно, прямо,
Подвластно трезвому и четкому уму.
А город — он страстями не уколот,
Он пережил дожди и ранний холод...

Он пережил дожди и ранний холод,
Твой бедный ум, твой пленник, твой собрат.
Теперь он выше и сильней стократ,
Чем юношеский беспредметный голод.
Ему понятна красота и стать
Живой природы и живого чувства,
И жертвенность великая искусства
Ему дарит веселья благодать.
Еще он сможет написать тебя
Спокойным мужеством и тихим созерцаньем,
Благословясь, он приобщится к тайнам
Великого теченья бытия.
Преграды лед бестрепетно расколот.
И вот теперь он снова тих и молод.

И вот теперь он снова тих и молод –
Твой дух. Желанья праздные да лжи,
Предательства, измены пережив,
Татуировкй жизни ранен, колот.
Пора пришла итоги посчитать –
Что там у нас — печаль, тоска,обиды?
Далеких берегов пустые виды,
Или ближайшей речки благодать?
Где нужно жить и с кем теперь дружить, кого благословлять,а кто в опале.
Как жили мы доселе, кем мы стали,
И не устали в суете кружить?
Того ли дух вначале испросил –
Красив и полон юношеских сил?..

Сергей Донец, Вологда

До капли последней смолы

Кедровник, кедровник, кедровник,
Воспетый суровой зимой,
Ты был у метели любовник
С ее непомерной сумой.

Ты волчьи зализывал раны,
На ласку теплом отвечал,
Путь во поле выследив санный,
Дарил пешеходам причал.

Укутывал ветвью тугою
И радость, и горькую грусть.
Приветливо ладил с изгоем,
Примерив просмоленный брус.

Ты, зорние песни приметив,
Фальцетом не портил припев,
Зимою, весною и летом -
До осени арии пел.

Когда же случилось прощаться,
Ты грудью подставил стволы
Я ваш! — тихо вымолвил — Братцы!
До капли последней смолы...

***

Давиду Марковичу Гоцману посвящается...

Елка. Новый год. И свечи.
Старый год судьбой помечен.
Сверстан в строки
Чьим-то сроком,
Чьим-то голосом — в судьбу.
Дымом сизым сквозь трубу,
Кровью алою артерий,
Тихим счетом бухгалтерий...
Вышел крошка на пленэр
Как заправский кавалер.
А Ривьера — хвать за грудь:
«Ты меня не позабудь!
Я хоть сука, но в фаворе
И гуляю на просторе
Ем и пью на хрустале,
В январе и феврале.
Но наступит месяц март.
Воровской исчезнет фарт.
Приношение мимоз
Не заменит алых роз.
Молдаванку на Привозе,
Фимы бывшую занозу,
Не признает даже Гоцман -
одесситов бывший лоцман.
И накроет медным тазом
Век грядущий урок разом,
А с ворами заодно
Всех соседей за окном.
И всплакнет Утесов старый
Дерибассовским сараем.
Ришелье поднимет кисть,
И расскажет нам за жизнь.
Жизнь-копейку, жизнь-индейку.
Кареглазую корейку.
А цыганка даст совет:
«Лонжерона лучше нет».
А мы сами верим свято
В запах воблы, запах мяты.
Сами скажем вам за жизнь:
«Эй, чудак! Прими! Подвинься!»
«А кудой подвинься?»
«Тудой!»
Вот так жизнь!
Запах крови с резедой!»

Плач вдовы

Я по листьям осенним и жухлым
Прошагала десятков шесть лет.
В тихом доме былинном и утлом
Почернел наш старинный браслет.
Мы прощались с тобой на восходе.
Уходил ты, мой милый, в рассвет.
Коростель нам пропел в огороде
Про разлуку крамольную лет.
Сыч за горкою ухнул угрюмо,
Прогремела зараза-гроза.
Власть пробуркала в радио умно,
А из глаз покатилась слеза.
Повязала платок я багровый
И ребяток прижала к груди.
Ах соблазны! Ах годы-оковы!

Только, любый, меня не суди!
Как не сладко мне было на свете,
Знает горькая травка-полынь.
Хуже муки и лютее смерти
Ложа нашего зимняя стынь.

***

Ты ждешь...
Но рОсы все хмельней и суше.
Кукушка старая охрипла к холодам...
Прилипла иволга к гнезду кукушки,
А старый лось ударился в разгул.
К закату полетела паутина...
Паук насытился младых кровей.
И свист не радостный
Вдруг выдул соловей.
Волна-развратница
Разворотила берег,
Не дав медведям холку нагулять...
Подуло дымом с торфяных болот...
Прислал письмо мне одноглазый леший,
Но я с ответом затянул,
Хмельной изведав медовухи
И молодуху в избу пригласив...
А ты ждала, как та гречанка Пенелопа,
Косынкою обворожив печаль.
И все прощала, что бы не случилось,
С какой бы я к тебе изменой не пришел.
Ты все прощала.
И вязала тихо
Одежды нашим общим сыновьям...

***

Над Апокрифом Веры моей
Голубиная стая витает.
Много дней и ночей
Так и крУжит от ада до рая...

А с небес — воронью,
СоглядАтаям черных — на белом,
Как в Абсурде Альбера Камю,
Колыбельную соечка спела.

Вызвав знак грозовой,
Воспылали крестами зарницы:
Вдоль дороги мелькнув столбовой,
Счастье наше истаяло птицей.

Видно, цепью, отлитой в веках,
Мы с кручиною спаяны крепко,
В чьих-то будем валяться ногах
И тащить инфернальную репку...

На рассвет, Иордань и Кижи,
Беловодье, Илью и пророков
Все надежды у крайней межи.
Дай нам, Боже, усвоить уроки...

***

Молчит Лазо. Лишь горстка пепла
Над паровозною трубой.
Душа народная ослепла,
Когда вела гражданский бой.
Но это было лишь началом
Опустошения сердец.
Под Ангарой и над Уралом
Терновый свили мы венец.
Кого — к петле, кого — к присяге –
Один лишь шаг до полыньи...
И если судим за отвагу,
То и за честь, за доблесть — пли!
И за стремление к свободе,
За тягу в люди от сохи...
О нравы наши, злые годы!
О фильмы, книги и стихи!
Смешалось все в пустом гламуре:
Колчак, Верховный и палач,
Кровь на Дону и на Амуре,
Вороний гай и вдовий плач...

***

Недотрога, Недотрога
Под Венецией искала
гондольера.
Гондольер тот не простой...
Среди пошлых интерьеров
Был он мальчик с запятой,
Как рожденный под Читой,
И как будто бы крутой,
С небольшой гондолой, впрочем,
Был он плюшем оторочен...
Не просился на постой,
Но подглядывал в оконца
На первичные дела...
Ночь его с ума свела
До осушенного дОнца
До вельможного конца,
До Кащеева яйца,
Славы той овечки Долли,
Что без бОли закололи,
Обратив в калашный ряд -
Иллюзорный Китеж-град...
Ай да парень,
Ай да дож (doge)
Песнопевен и янтарен
Всех каманчей белкин Вождь..

***

Бежит за мною Желтый Лис –
Отец приличного семейства.
Он косолап, дороден, лыс,
И, в общем — парень компанейский.

Кричит какие-то слова –
Как — будто марш военный.
Но я то знаю: голова
У Лиса — модуль переменный.

Шуршат за мной две пары ног,
А кажется, что стадо.
Вестимо: парень с детства строг,
Ему погоня как награда.

Он знает, как и бить куда,
Как скрыть следы побоев.
Как человека в никуда
Отправить враз без боя.

Еще он любит поиграть
Пощекотать за пятки,
Один заменит лисью рать:
С него и взятки гладки.

Открылось мне: мой миг настал,
Момент библейской истины.
И как бы ни был я удал:
Мне жертвой быть во веки и присно.

Тогда рискнул я все добро
Сменять фискалу на свободу.
Отдать все злато — серебро,
Оставив хлеб да воду.

Легко купился Хитрый Лис:
Корысть тому причина.
Мораль: за златом не гонись,
Когда преследуешь мужчину.

***

Я выкурю вчерашний понедельник...
Потом за вторник, отдохнув, возьмусь.
А в среду, выйдя погулять за ельник,
И третьим днем недели подавлюсь...

Четверг мне чистый
Не прибавит дел...
Взойдет приятный и лучистый.
А я его, приятного, отпел...

Но к пятнице в кустах я отлежусь...
И стану тишину гонять на цирлах...
Суббота, милая, тебе я горячо клянусь:
По выходным не домогаться сирых.

А с воскресеньем у меня контракт:
Мы оба отдыхаем на неделе.
Но от поклонниц не избавлюсь, факт...
Жаль, понедельника все радости истлели.

РОЗА ВЕТРОВ

Я сердце разорвала на осколки...
Их восемь получилось у меня:
Осколок первый — северные елки,
второй — как отблеск жаркого огня...
Осколок третий — западные толки,
Как Толкиен, как гоблины, как волки
Как на крылах совиных три летучих дня,
Следы колец на срезе тонком пня.
Четвертый же осколок, тем родня,
Из Поднебесной на краю двуколки
Ко мне явился, время не ценя,
Отсвечивая трех драконов холки...
А пятый камешек бежал по перекату,
Нордического склада азиат,
Душа его была волной слегка примята,
Глаза его смотрели на закат.
Шестой осколок к солнечному месту
Направил бег параболой кривой...
Ждала ли жениха его невеста -
Доселе нам неведомо с тобой.
Седьмой осколок заметался сразу,
Рванув от запада на африканский юг.
Причиной ли тому дикобразы
Или саванны взволновали дух...
Восьмой осколок вышел в океан.
Как чайный клипер дерзок и красив
От тропиков до скандинавских стран,
От диких прерий до плакучих ив...

Игорь Захаров, Череповец

Метаморфозы летнего дождя

Упавший прямо под ноги цветок
На пестики с тычинками распался.
И дождь своими каплями в полпальца
Цветок в асфальт вутюжил, как каток.

Я не хотел, но все-таки промок
Под грузом капель минимум в полпальца.
Я б мог уйти, но я стоять остался,
Смотря на то, как прямо из-под ног

В одно касанье, как футбольный пас,
Промокшие светила разлетались.
Они могли бы быть размером с палец.
Они и будут, но не в этот раз.

Прохожие пинали, не щадя
Ни этих капель, ни других прохожих,
Похожую на мокрую рогожу
Метаморфозу летнего дождя.

Я, если мог бы, то забрал с собой
На память эту мокрую рогожу.
Я б выдернул ее из-под прохожих
И заменил дерюгою любой.

***

Когда судьбы моей осколки
сольются в строгое панно,
Когда прозрачность акварели
и тяжесть масла на холсте
Сравняются в пустой попытке
колеровать то, что должно
Быть черно-бело-эка-всяко,
и реквием по суете,
Взыграв, затихнет с током крови, кукушка
ляпнет лишний «ку»,
Как премию за жизнь, точнее,
за холщевину-самобрань,
За это право быть пришитым к ней днями,
как стежок к стежку,
Я, наконец, взгляну на эту
лоскутно-вычурную рвань,
Мне представлявшейся витражной
мозаикой, и, наконец,
Пойму, что добрый папа Карло забыл
сказать, что за холстом
Должно быть нечто вроде дверцы,
за коей некий сорванец,
Так на меня похожий в детстве, придворным
мог бы быть шутом
И принцем мог бы быть. Но это незнанье,
может быть, не раз
Давало силы жить обычной всего
собратства Буратин
Наивной жизнью равно в прошлом
и в будущем через сейчас...
Тогда откуда ж это чувство,
что в этой жизни я один?

***

Непонятное, глупое что-то
Ежедневно меняет наш мир,
Словно пошлые мечет остроты
И глумится безумный сатир.
Будто этими шутками тщится
Он нарушить привычный ход дней,
Оттого что всего лишь за тридцать
Стало женщине милой моей.
Но, влюбленная в запах «Шанели»,
Все же носит высокий каблук,
И пока соловьиные трели
Ей милей завывания вьюг.
По придуманной кем-то спирали
Мир стремится от стиля ампир
Измениться до пасторали
Под дешевый и грубый копир.
И сатир злобным глазом косится
И скрежещет зубами сильней,
Оттого что все дальше за тридцать
Год за годом любимой моей.
Но с флакончиком той же «Шанели»
Она полнит собою эфир,
И на туфельках черной прюнели
Покоряет безумный наш мир.
Все безудержней крутятся стрелки.
Чьи-то дети давно подросли.
И обиды давнишние мелки,
И не так уж страшны феврали.
Хоть года невеселым пунктиром
Обозначили свой ориентир,
Но давно уже понят, и с миром
Был отпущен безумный сатир.

А «Шанель» неотъемлемой частью
Компенсирует низкий каблук.
И в глазах ее светится счастье –
Подкупающий женственный трюк.

***

Совсем не так, как это быть должно,
Вошли Вы в мир стихов моих. Однако,
Еще не протянулся луч в окно
Тревожным эхом солнечного знака.
Летали призраки каких-то детских снов.
Азалии цвели в мирах далеких.
Неспешен был и ход моих часов –
Абстрактных и довольно одиноких.
Еще никто не знал, ни Вы, ни я,
Фантом грядущей встречи был прозрачен.
Рождался на задворках бытия
Единственный наш шанс. Он был охвачен
Могучей тишиной не наших снов.
О, час тревог, еще таких далеких!
Вошли Вы в мир рождавшихся стихов –
Абстрактных и довольно одиноких.

***

Как угадать, зачем нам сняться сны?
Что ищем мы в ночных провалах будней?
Быть может, обретенья тишины
В убежище, где проще и безлюдней.

В городе моем — вчера еще дождливом –
Наши сны казались продолженьем дня,
Хоть и суматошным, но вполне счастливым:
Твой и мой — по эту сторону дождя.
Утренний будильник. Кофе с кофеином.
И уже спешащий милый человек.
А сегодня столь привычную картину
Взял и запорошил первый белый снег.

В городе моем стояли, как константы,
Мокнущие в ливнях серые дома.
В сумраке квартирном старые куранты
Ждали безразлично, что придет зима.
Наши сны казались в освещеньи лунном,
Как хранящий счастье в доме оберег.
Отчего же так нежданно и бесшумно
Наши сны расстались, когда выпал снег?
Что наши сны? В полночной тишине
Живет самостоятельное нечто,
Хотя на нас похожее вполне,
Но более счастливое, конечно.

***
Петербургская осень когда-то
была ленинградской.
Да в названье ли дело в
угрюмый дождливый сезон?
Осень щедро малюет одною
лишь серою краской
И ветра в коридорах-проспектах
звучат в унисон.

Где в песок, где в гранит волны
бьются о Заячий остров,
Преломляя на гребнях
гримасы толпящихся туч,
Разрывающихся о щетину
обветренных ростров
И по ним оплывающих,
словно прозрачный сургуч.

Словно в пику безрадостным
старым и новым кварталам,
В красно-желто-зеленых
пейзажах стоит Петергоф;
Царскосельскими парками
ветер гуляет устало,
Зацепляясь за спицы
раскрытых и мокрых зонтов.

Ленинградская осень не стала,
увы, петербургской,
Хоть привычно швыряла
листву на поверхность Невы,
Не дано было стать ей со
временем более русской,
А пейзажи рожденные —
заживо были мертвы.

Зеленеет от злости и времени
Петр на Сенатской.
Город сам потерялся в такой
перекличке времен.
Петербургская осень когда-то
была ленинградской.
Да в названье ли дело в угрюмый
дождливый сезон?..

Мария Маркова, Кадуй-Вологда

Над ними снег цветущий

***
Нет никого вокруг. Такая тишь,
что время умирать, и ты — молчишь.
Растёт трава на языке обратно.
Под веком жар утраченного дня
и ловчий смотрит жадно на меня,
и думает о чём-то непонятном.

Я закрываю спящему глаза,
и сон его, как звонкая оса,
мне не даётся, жалуется, жалит.
Есть повод пить и плакать ни о чём,
и прижиматься маленьким плечом
к чужому телу в поисках печали.

Полынью пахнет и цветёт тимьян
из тёплых впадин, косточек и ран,
из темноты, из розовой землицы.
Внутри меня — подземная вода
песчаные смывает города
и руслом вены медленно струится.

Так время в нас томится и гудит,
и под ладонью в глубине груди
шевелится, незримое, живое.
Молчи, молчи, — и в этом что-то есть.
Слова теряют мёртвый скорбный вес
и шелестят листвой над головою.

***
Ничего, что у времени нет лица.
Есть вода, бегущая под землёй,
где в сосновых лодках лежат тельца
в тесноте прохладной и тьме льняной.

Там и место пусто и несть числа
червецам безглазым и голосам.
Смерть ведёт заблудшую, как посла
государства мёртвого, по лесам.

(Ты держи меня за руку, ты держи.
Ты шепчи мне на ухо ни о чём.
Пусть земля под ногами живых дрожит.
Горячо от слов твоих, горячо).

А душа заблудшая гребешком
тешит волос беленький и поёт.
Смерть умерших потчует молоком
и вином подземных холодных вод.

У кого ни спросишь, одна тропа
до реки. У берега — мгла густа.
Там касается ангел перстами лба
и целует ласковый бес в уста.

Так темно вокруг, не видать ни зги
(ты держи меня крепко, не отпускай).
Души строят из тонких тростинок скит,
роют норы в сыпучих речных песках,

чтобы там жилось, чтобы там спалось,
чтобы ангел над тесным мирком кружил,
чтобы бес ходил по домам, как гость.
(но держи меня крепко, держи, держи...)

***

По этому лесу, растущему из глубины
веков, из сусальной сказочной старины,
где ветви еловые тёмной присыпаны пудрой,
ночами блуждает в тумане сиреневом тать
и хочет у маленькой девочки куклу отнять.
У куклы льняные, белесые, мягкие кудри.
О, девочка милая, будешь ложиться
в кровать,
клади свою куколку рядом, её обнимать
руками так сладко, и снятся потом
в полудрёме
вязальные спицы и мамин воздушный подол,
под худенькой ножкой дощатый
начищенный пол
и варится кашица жёлтая, пшённая в доме.
Не бойся, никто не зайдёт сюда,
сон не спугнёт.
Медовые пчёлы летят из невидимых сот
и жалят в плечо, на плече зацветает
грушица.
Вот нежное деревце сада и детской беды.
От тонкой лучины по комнате тянется дым,
и сумрачный тать наклоняется к
речке напиться.
Ладони его так огромны, что
страшно смотреть.
В ладонь его можно, как в землю свою —
умереть,
зарыться лицом и остаться на долгую зиму.
Он пьёт то живую, то мёртвую воду реки,
и ходят к нему за последней травой старики,
и птица большая над ним зависает незримо,
теряя перо, как деревья теряют листву.
И сон его держит, как челн смоляной,
на плаву,
качает и шепчет о девочке с куклой румяной,
которая спит, повернувшись
к прохладной стене
и видит его же и лес шелестящий во сне,
где с неба спускается облако
тёплым туманом.

***

В пространстве обжигая
небесный каолин,
горит звезда нагая,
и день ведёт кругами
наш корабельный клин.
От холода сквозного,
от птичьих кратких строф
познабливает снова
и не хватает слов.

Мы медленно уходим
армадой на восток,
и с неба смотрит в воду
сияющий цветок,
и с неба тянет воду
горячечный цветок.

В бреду мы повторяем
молитвенно слова
о близкой кромке рая,
а ночь уже сгорает
на дальних островах.

Когда и кто заметит,
что в повседневной тьме
попутный резкий ветер
ведёт корабль к зиме,
что льдом прозрачным скован
и дом, и парк, и гул
мучительного слова,
прочитанного слова
на смутном берегу,
что, оставляя знаки
и выходя за дверь,
мы начинаем плакать
от страха и потерь,
что индевеет выше
полярная звезда,
и нам никто не пишет,
и нас никто не слышит,
никто и никогда.

И если присмотреться,
прищуриться на свет,
то в небе меркнет сердце,
больное наше сердце,
и новой карты нет.
Созвездия не свиты
в одну тугую нить,
и нам под пляску Витта
теперь на ощупь плыть,
и нам блуждать в ознобе,
протягивать иглу
сквозь белые сугробы
и голубую мглу.

***
Газовый фонарик, голубой рожок.
Почему ты плачешь целый день, дружок?..

Посмотри на улицу, улица — бела.
Скорлупа стеклянная, сонная пчела,
ангелы бумажные, заводной олень,
кукольная армия, розовая тень.
Посмотри, как крутится детская юла.
В ней вот-вот сломается тонкая игла.
Можно дать шарманщику медный пятачок.
Пусть играет музыка, скрипочка, сверчок.
А усатый сбитенщик на снегу стоит,
он сегодня плачущим выпивать велит.
Хватит, хватит плакать тут. Выходи во двор.
Там таскает яблоки с ёлки пьяный вор.
У него, разбойника, в рукаве луна.
У него, разбойника, дома есть жена.
Он ей ленты алые нынче принесёт,
а жена разбойнику стопочку нальёт.

Выходи на улицу, хватит плакать тут.
Снег пойдёт над городом. Фонари зажгут.

***
Меняется ветер,
и в доме гудит, как в полой груди.
Усну на рассвете.
Меня не буди. Меня не буди.

Есть много такого,
что связано вместе уже до конца.
Последнее слово
и первое слово быстрее свинца.

Дорога выводит
всегда на развилку, а дальше — решай.
В прозрачную воду
лицо опускает больная душа.

Так хочется плакать,
так хочется думать совсем не о том.
Горячие маки.
Холодное время с обугленным ртом.
Куда нас уносит,
куда нас уводит, куда мы умрём...
Я — в жёлтую осень,
я — в белую воду, я — в детский свой дом.

Я выйду на холод
босая, слепая, с молитвой своей.
Мой маленький голод,
мой страх неуёмный, меня — пожалей.

***
Пространство, за что ты,
меня огибая,
несёшь свои воды
до самого рая,

за что ты растёшь
из моей сердцевины,
как тёплая рожь
и мои именины?..

Чернична суббота
и берег так тонок.
Возьми меня кто-то
из синих пелёнок.

Я снова мала,
и в моей колыбели
мучнистая мгла
запечённой недели.

То заговор мой
на муку и реченье –
вернуться домой,
в вековое теченье.

Но пусто в груди
после долгой дороги
и страшно войти
в пироги и пороги.

Ведь короток час
человека иного.
Горел и погас.
Равнодушное слово

опять облекло
в оболочку из звука
любовь и тепло,
расстоянье и муку

...и вновь отстранило
меня от тепла
за то, что любила,
но поздно пришла.

***
Начать с утра с вина, смотреть в окно.
Там пелена и глинистое дно,
готические стрельчатые башни.
Там, отражаясь в синеве витрин,
по русским улочкам плывёт Майринк
на ощупь, раздвигая сумрак влажный
руками. Он всю ночь писал и пил,
по комнатке гостиничной бродил
и бредил о княжне, и звал Исиду.
Тяжёлый сонный куст садовых роз
мучительно из тьмы и света рос,
и цвёл, и жёг, и пропадал из виду.
Ах, Густав, Густав, скоро умирать,
смотреть в окно и розы обрывать,
о Праге думать и в России мёрзнуть.

Дай, поцелую, дай, скажу секрет,
что смерти нет и нас с тобою нет.
Есть только эти сумрачные розы,
есть эти слёзы, ангел у окна,
и алый шип последнего вина,
и город, что во сне благоухает,
как розовое масло, как эфир,
и в воздухе ворочается мир,
и бабочка летает над стихами.

***

Снилось: книгу открывала.
Свет сквозил из всех щелей.
Кто поправил одеяло
детской памяти моей?..

Сон пришёл — глубок и ровен.
Синий снег и санный путь.
Перекатывалось слово,
забывалось как-нибудь.
Из глухой и тёмной ночи
сосны рыжие росли.
Я — росла. Болела очень
где-то на краю земли,
в воздухе, густом и гулком,
в паутине льдистых рек,
где над спящим переулком
падал мелкий-мелкий снег.

С чайной ложечки поили.
Дух анисовый витал
облаком домашней пыли
над горою одеял.
И в луче всегда скользила
лодочка, плыла ко мне.
Бабушка меня носила
на руках своих во сне.
Дом кружился, всё звенело.
Поезд шёл, и пел хрусталь.
Детское смешное тело
уплывало в лодке в даль.
(Неуклюжие болезни,
белый жар и шёлк седин.
Звякни ложечкой железной
и прижми к своей груди.
Посиди со мной немного,
одеяло подоткни.
Под Угодником и Богом
шли неторопливо дни.
Я ли выросла и ты ли
вдруг состарилась совсем?..
Вроде бы всю жизнь прожили
в золотом своём овсе,
в яблоках и зверобое,
в чайных блюдечках, в снегу.
В сени вышла за тобою,
но коснуться не могу...).

Кто поправит одеяло,
лучшее из одеял?..
Снилось: книгу закрывала.
Свет потом всю жизнь сиял.

***

Есть в тишине и тайна, и порок.
Есть нежность неизбывная и нега.
Сегодня день твой бел и пуст от снега,
а ты — необычайно одинок.

А завтра всё изменится в момент.
Тебя обступят и дела, и люди,
и воздух вздрогнет от тоски и зуда
уже необратимых перемен.

Ах, сколько дел!.. И все — бегут, бегут.
Куда бегут? Чего они алкают?..
Вокруг зима прекрасная такая
из синевы, из детства, из простуд,

из мёда на ночь с тёплым молоком,
из шороха за окнами, из снега.
А эти — задыхаются от бега
и о побеге думают тайком.

Ведь можно просто спрятаться от всех,
тепло оберегая, с нежной мукой
смотреть, как мальчик целится из лука
и золотой качается орех

на ели. Столько поздней красоты,
и радости нечаянной, и грусти
лишь оттого, что так легко и пусто,
пока один — с самим собою — ты.

***

Время наполнит песками сосуд,
высохшей пепельной кровью.
Нас на руках зарывать понесут,
сонной травою накроют.
Там, за известной чертою, уже
ждут нас с хлебами и солью
наши слова, но в другом падеже,
наша предложная доля.

Там повторяется тот же виток
жизни, застигнутой нами.
Леты и Вологды мутный глоток.
Память полна именами.
Верочка с косами, осень, тоска,
жёлтые липы больницы.
Мёртвым другого не знать языка,
но возвращаться и сниться.

Мёртвым вариться в огромном котле
в пене на голое тело
и замечать, как за них на земле
быстро у нас отболело.

Так закрывай равнодушно глаза
на расстояния меру.
Просто по осени в травах оса
нежно ужалила Веру.

Лёгкая, неомрачённая тень
сходит в разлом по спирали.
Вспомнит ли кто-то потом в суете,
как нас с тобой называли?..

***

...и день пройдёт, и вечность пролетит,
и там, где мне не суждено остаться,
останутся стоять, свернув с пути,
мои родные мёртвые скитальцы.

Они поставят дом, посадят сад,
родят детей и заведут собаку,
и будут жить не на земле, а над –
под сладким ветром и прозрачным флагом.

Как там писали: нужно взять чернил
и долго плакать, февралю пеняя,
что тут затёр, а тут чуть-чуть пролил,
а тут совсем — случайная, сквозная,

и воздух входит, всхлипывая так,
что жалко сердца и сердцеубийцу.
Любимые кивают из бумаг
и опускают сморщенные лица.

Мне их никак теперь не дописать,
никак не перечислить поимённо.
Они ушли гулять в февральский сад –
лиловый, белый, розовый, зелёный.
Над ними снег цветущий, рассыпной.
Над ними тень стремительного века.
А я стою — с ладонью на сквозной –
и прикрываю каждого от снега.

***

Мне опять, опять не спится. Слов
бессвязных трескотня.
Вырвать чистую страницу
наступающего дня.
Писем тонкая полоска. Берег моря.
Край миров.
На рассвете сонный Бродский ходит
в белом пепле слов.
Там кузнечики мороза, снег и холод —
пустота.
Игловидная заноза — острый поцелуй у рта
замирает на мгновенье и — внутри
пчелой гудит.
Мне отказывает зренье и ещё болит в груди.
Сутки полетели с горки в хрупких
саночках резных.
Мне от слов бывает горько, как
от зимней белизны.
Вот бы взять их за запястье и прижаться
к ним щекой
в приступе слепого счастья,
вот бы мёртвым языком
выговорить их, калеча, но ещё сильней любя,
словно, правда, станет легче засыпать
здесь без тебя.

***

Всё так и должно быть,
всё так и идёт.
Сгорает в ознобе
мучительно год.
И хватит скитаться
под небом и — над.
Здесь можно остаться
и вырастить сад.
В звенящих высотах,
в прозрачных прудах —
воздушные соты,
твои города.
Вода обмирает
от света и дня.
Здесь слишком — от рая,
и мало — меня.
Преемственность речи,
должно быть, в крови.
Но если не лечит,
ты строчку прерви.
Ведь можно без звука
у слов на краю
в горячую руку
уткнуться твою.

***

В заснеженных кольцах Леты,
бегущей спиралью сна,
кончаются сигареты
и лишь на глоток — вина.
И твой собеседник строгий
с газетой идёт на дно.
Он тоже — всю жизнь в дороге.
Он тоже сосёт вино
из горлышка так степенно,
что воды над ним дрожат,
и белая шапка пены
вскипает. Смотри, душа,
туда, где в горах Урала
вздымает река хребет,

где трётся состав о шпалы,
где льётся зелёный свет.
Тебе говорят, скрываясь
по шею в воде, что тут
белеет дымок, как парус,
и уголь подземный жгут.
А там, где волна отхлынет,
и Лета уйдёт в пролом —
там камень небесно-синий,
там лодка с одним крылом.
И ветер звенит оболом,
и камень в гнезде сидит,
и твой собеседник голый,
укрывшись газетой, спит.

***

Город полон, город бел, город — гул.
Он проснулся — снежный рой — уже в снегу.

И крупинки схватывая
мраморной рукой,
он стоит на мостике
над своей рекой.

Пешеходы сонные. Голубая тля.
В сумраке овечьем. В маленьких яслях.
В улицах и спальнях. В письменном столе.

Яблочная шкурка
снега на земле.

Выдыхаешь облако. Лепишь наугад.
Карточные домики. Невесомый сад.
Пар идёт из прачечной, и труба дымит.

В яблоке прозрачном
гусеница спит.

ИЗ «ТРИОЛОГА»

Диалог Регины Соболевой (Вологда) и Ивана Несмирного (Лос-Анжелес) лег в основу новой необычной книги-переклички. Представляем фрагмент из нее

SOBOLEVA's is no Bold
Nesmirny — is Bold.

Студентка

Дом — институт — библиотека.
Дом — институт — библиотека.
Дом — институт — библиотека...
Петля.
Я?
Знаете, а я вовсе не нищая!
Живу, вот, питаюсь духовной пищей.
Нежно,
Прилежно
и белокуро
страсти свои запиваю детской микстурой.
«Дура!
Деньги считай,
не отходя от кассы!» -
рвёт краснощёкий лай
с образованием в девять классов.

«Извините, я что-то задумалась
о преступлениях всё, о наказаниях...
Извините... В мире так много знаний
неисправимых, как эта сутулость».

Тело...

«А что ему?! Вы, госпожа, ещё молоды!
Режьте гранит не серпом, так молотом!
Режьте!
Кромсайте!
Рвитесь!
Терзайте!
Стойте прямо, как нос Орбакайте!».

«Извините... Я не хотела.
Всю отдаю, всю себя на дело!
Мамочка так мечтала, милая...
Вот, поступила я...».

Дом — институт — библиотека.
Дом — институт — библиотека.
Дом — институт — библиотека.

Петля.

Моя комната

Книги стопами.
На полу.
На столах.
Распихать бы по полкам, да лень.
Какие-то сумки и обувь в углах.
А в лампочке — будто весь день.
Закрытая дверь.
Некрасиво.
Неправильно.
Открытые окна — с ветром за так.
На балконе безрамочный снимок Сталина.
Пушкин на стенке, размером с кулак.
Шкафное зеркало пучится книгами.
В отражениях я
поднимаю Золя...

Обмотаться б трактатами, будто веригами, —
Но надо своими. Чужими нельзя.
Под столами бумаги, какие-то записи,
Блокноты валяются то там, то тут.
В мире бумажном здесь нету краткости,
И бумагу тут никогда не жгут.

Христос и Гагарин

Вообразите:
летит Гагарин,
а на небе, заместо звёздочек,
сад,
и в саду волосатый парень
играет скрещёнными чёрточками.
«Ба! Иисус! Так незря ж мы верили!»-
шепчет скафандр, а тот ухмыляясь:
«Да, брат! А папке вы все до фени -
я здесь дежурю, за вами справляюсь!
Ух, надоело мне! Знал бы ты, Юра!
Вам бы потоп, да вода вся кончилась.
Адам у нас нытик, а Ева — дура,
хотя и печет отличные пончики.
Матушка мне говорит каждый вечер:
«Пли в них огнём да из райского дула!»
А я всё жалею: родился доверчивым
и в юности много читал Катулла.
Но раз уж ты здесь, передай моим деточкам,
пусть детки мои песни бросят кабацкие,
а то, как пить дать, подпалю им веточки,
и полетят мои деточки в котлы адские!»
Бледнеет Гагарин: и сам же грешен;
летит на Землю да прямо на радио -
кричит:
«Там Бог!!! Подпалит нас всех к лешему!
Товарищи! Мы на последней стадии!».
И шар голубой от стыда румянится:
вопят священники, генсеки хмурятся,
молчат поэты, трезвонят пьяницы,
а остальные бегут по улицам...

И завтра на самой окраине Рая
апостол читает вселенскую почту:
«ВЧЕРА ПО ВИНЕ ХРИСТА И ГАГАРИНА
ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ РАЗОРВАЛО
В КЛОЧЬЯ».

***

Глухонемые пьют втроем
И глухонемо разговаривают.
Что там? — там небо! — что с того? —
Оно на нас не падает!

Слепорожденные втроем
Пьют пиво и глядят-угадывают.
Послушай-ка, дружок, ты мне знаком! —
Ну, ты, кончай! Чего оно не падает?

А выше, там, над головой...
Там — небо...
И оно...
Не падает...

Крылья

Наступило великое время.
У людей появились крылья.
И взлетели люди на небо
И построили в небе кельи.
И построили в небе кельи
И зачали Богу молиться,
В синеве рисовать иконы
Семицветною акварелью.
На земле же остались двое
Неприкаянных и забытых,
И прижались они друг к другу,
И с тоскою глядели в небо,
И мечтали: «Наступит время,
И у нас появятся крылья,
И поднимемся мы на небо
В синеве рисовать иконы».

Вот, проходят века-столетья.
Люди мрачно по небу летают -
Перестали Богу молиться
И забыли родные кельи.
И забыли родные кельи,
Не чертят в синеве иконы
Семицветною акварелью...
Лишь с тоскою глядят на землю.
На земле же остались двое,
Неприкаянных и забытых,
И прижались они друг к другу,
И с тоскою глядят на небо,
И мечтают: «Наступит время,
И у нас появятся крылья,
И поднимемся мы на небо
В синеве рисовать иконы...».

Две точки

Там есть какая-то точка.
Внутри красного платочка.
Кольцом самого мягкого толка
Закреплена жестокая колкость.
И нить от такого во мне
До другого такого в тебе.
Дернусь резко,
отойду всего на три шага,

Боль дернет,
долгая, как лист бумаги.
Нам нельзя отрываться,
Так может статься.
Порвется платочек.
Кроме наших двух,
Нет больше точек.

Между петлёй и полом...

Между петлёй и полом
Он вдруг остановился
(Миг на краю у пирса)
В отчаяньи тяжёлом.
В одной руке — текила,
В другой руке — мышьяк.
Минута... мысль... могила...
Не вяжется никак...
Между петлёй и полом...
Сейчас бы в двери стук!
Сейчас бы телефоном
Да раззвонить вокруг!
Сейчас бы — хоть пожаром!
Сейчас бы — хоть войной!!! -
Туда, где он, хмельной,
Стоит, как под угаром,
Меж полом и петлёй...

Убийца

Свет блистал, извивался, струился...
Падал на пол, по капле стекал...
Лентой длинной в косе серебрился,
То сверкал, то опять затухал.
Иль качнет головой, разметав струи-вихри,
Иль закрутит в тугую петлю...
Свет то весело взвоет, то жалобно стихнет,
То, как солнце, будет резать вовсю.
Кровь течет по тускнеющим косам,
Липкий сок в неземных волосах.
Нет в них боле слепящего солнца.
Я зарезал. Как свет резал прах.

Невыносимое

Чечня...

На, покушай,
Мой Ванюша!
От еды не станет хуже.
Твой оскал январской стужи
мне не нужен.
Ешь! Ванюша!

Полежи, меня послушай!
Расскажу тебе, Ванюша,
я про то, как ты, живой,
ночи напролёт со мной
измерял родное небо:
сверху!
снизу!
справа!
слева!
Я летала...
А теперь
ворон бьётся в нашу дверь.
Мне твердят — тебя в могилу!
Я б их всех за то убила!!!
Разве знают, дураки?!
Накормлю и приласкаю,
зверобою дам и чаю,
прикоснусь твоей руки!..

Встань же, милый мой Ванюша!
Ты мне нужен!
Ты мне ну — жен!!!

Дверь

Моя железная верная дверь,
Дай мне прижаться к тебе.
Дай мое сердце прижать, этот зверь
Возжаждал ответ...
Ответ отворяет — его ремесло.
В вопросах ключи-отмычки...
Так-так, дверь моя, какое число
Высветит огонек со спички?
Пустой коридор, и нету окна
Для того, чтоб придать чистоту
Тому, что я собираюсь одна
Сделать. Пока ответ не найду...
За дверью орет мне что-то мой брат,
Его схватили для крови.
Человек там за дверью не рад, не богат —
А воет от страха и боли!
Прижаться и впиться в нелепую дверь,
Тяжелую вечную плаху.
Мое сердце — вконец озверевший зверь —
О дверь со всего размаху!!!

***

Она всегда приходит за троими.
Она возьмёт не меньше и не больше.
В апрельский день... в июльской лёгкой
схиме...
В ноябрьский дождь по слякоти дорожной
Она всегда приходит за троими.

Летит беда — ворота нараспашку!
Три новых сердца с плоти ветки тухлой
Срывает, стерва, и в одной рубашке
Бросает в ящик восковые куклы...

И вновь Троих упустим мы из виду.
Отцу и Сыну и Святому Духу
Незримо мы отслужим панихиду.
И вновь за ними явится Старуха…
…Она всегда приходит за троими.

Похороны

Летело в безрассветный ров,
Звенело отзвеневшей сталью…
И отливает берегом лоснящийся улов,
В который как-нибудь себя представлю.
Вот чешуя моя — мои скупые речи.
Вот плавники: и образы, и взгляды.
Вот жабры, вот глаза — опущенные плечи,
Но все это лишь игры и наряды…
И восхищаться нечем.

Забыть!

Говорите — забыть!
Рад бы,
Рад бы,
Сразу! Сейчас! На месте!
Есть у смертных прыть -
Клятвы,
Клятвы,
«Будем всегда и вместе!..».

Ушли…
В ил, шелестящий на дне,
В солнце, застрявшее в росах.
Ушли,
Оставив земному мне
кресты на погостах.

«Был» зацепилось
За «Буду»…
ЗАБУДУ!
Ушедшие! Вам обещаю!
Ил обращу я в прозрачную воду,
И солнце, из рос на прощание
Ярко мигнув,
Уплывёт на свободу…

Далеко-далёко колокол звенел.
Он сзывал к молитве
лучших из людей.
Услыхал лишь ветер,
Дождик лишь пришёл,
Тучки лишь склонились
Под священный бой.

Сестре

Я знаю, ты молишься, милая.
Страдания чистят и пестуют.
Святых уважают страдания,
Венки им даруют терновые.
Молись, надевая их с радостью!
Набухнут шипы в розы нежные,
И вылечат нас благовония
Душистым своим дыханием!..

Лишь только молись, моя милая!..

Регина Соболева

Любовное

в кармане куртки — ключи и жвачка,
а мимо — машины, прохожие, плееры…
сигареты куплю в ларьке… на пачке
чьи-то стихи наклеены

на остановке, завернутый в нашу газету,
валяется очень хороший повешенный —
достану из пачки уже горящую сигарету,
и стану бешеной

по курку на каждую пару глаз,
пистолет для каждого указательного —
я ненавижу, я обожаю вас
бессознательно

выну руку из теплого левого верхнего,
а в ней уже — парабеллум в ржавчине…
смазанный изнутри — выходи, приехали,
расплатись за меня… мои истрачены…

я нажму и выстрелю в каждого доброго,
каждого радостного и родного —
в ребенка и мать, в тебя и другого…
терпелось долго!

я по улице быстрым уверенным шагом,
по пуле на каждое светлое сердце…
умри, мой каждый любимый — надо…
жду довеса и вывоза терций

остановлюсь у того плачущего ребенка,
приложу к его виску пистолет, успокою —
раздастся выстрел… он вздохнет негромко,
и я закрою ему глаза рукою

ты и ты… каждый помечен мной
умри, мой каждый любимый встреченный
я ненавижу тебя! я обожаю! боль
больше не будет вечной

Идеальная любовь

Я тебя ненавижу. Я тебя не слышу.
И встаю на носочки под твоим окном.
Мне бы еще хотя бы немножко выше
И я бы видела все... абсолютно все.
Я тебя презираю. Я тебя убиваю.
Нож в руке. Вместе с колодой карт.
Просто я о тебе совсем ничего не знаю.
Пусть будет так. Учебник из наших парт.
А теперь отрицай, а теперь уходи.
В руки — гитару и Сартра и небосвод.
Черт его знает, что ТАМ у чумы впереди.
Мы же назад не смотрим, только вперед.
Ты меня убивай. Ты меня оставляй.
Всякий раз и подольше, подольше, прошу.
Ты обо мне ничего никогда не узнай.
И лучше пускай нас не будет вообще. Шум.

Ни слова о любви

Ни слова о любви.
Руки не протяну.
Так надо.
Все верно, правильно,
Прекрасно.
Так и надо.
А где-то,
Куда не пущу я даже
Друга:
«Ведь я же хорошая,
И ты же меня любишь!».

Ну, вот. Потянуло писать
О такой ерунде.
Дура.
Это будто цветы,
Что утонут в воде.
Дура.
А там в глубине,
От которой я прячусь
Бесславно:
«Ведь я же хорошая!
И ты же меня...». Тайна.

Мы кусали губами друг другу губы

Мы кусали губами друг другу губы.
Закрывали глазами друг другу лица.
У тебя не одни ли глаза, и принцип —
О том, что и город — такой же убийца.
Ты ведь помнишь, как первому снегу
в радость
Задували холодные новостройки,
Жалкие нищие, лучшие в мире койки
С дырявыми ржавыми сетками, стойкий
Запах распада — сладковатый такой,
Стыдливый, будто прячут слои и веки
То, что позже скрывают лица.
Одеваем доспехи.
Греки,
Римляне, коринфийцы,
Карфагеняне.
И на всех — один и тот же лекарь.
Век феодалов и новостроек.
Мы кусали губами друг другу губы.
Страсть и нежность одинаково длили вечер.
Только не было ни одной не-встречи,
Чтобы — думать.
Я был вечен!!!
В те краткие долгие встречи –
Я был вечен. Как этот лоскутный рай.
Глаза твои закрывали собою тайн,
Нараспашку нашептанных, печи.
В них сжигались и лиц и молчаний речи.
Я был вечен.

Вода-память

Вода — расплавленной ночи очи...
Над самым краем лужи склоняюсь.
Если убрать у зрачка порочный
Жадный блеск... но я не справляюсь.
Вода глубока и темна — дегтя вены
Нависли на небе над этой водой.
Гляжу. Вспоминаю. Какою порой
Я давилась водой. Вставка. Отмена.
Меня унесет с помощью капель.
Пятнадцать отсчитано с верхнего поля.
В колонках, как в ротах. Оценок табель.
Пишу. Удаляю. Тебя вспоминаю. Больно.
Память — вода. И я не забуду долго
Твою глубину и черной постели муть.
Только бы так... если б кому-нибудь...
Расплавленной ночи очи мои — долгом.

***
почему ты разговариваешь по ночам...

Полоснула по шее.
Лезвие выдернула из раны.
Края в стороны развела и — внутрь.
Пальчиком, рукой, всею головой.
Свернуты краны.
Будто б.

И вот собой, как водой, наполняет его.
По капле, а, может, густым потоком.
А он — непростой чуть-чуть и слегка
немой —
Стоит к ней, вроде как спиной или боком.

Расстанемся на минуту —
пытайся уйти из меня.
Это просто — надо лишь глазками вытечь.
А мне не плакать, не пить, мне плевать...
плевать...
Бери мои волосы в руку... ими меня высечь.

Как искру. Из меня мною самим. Ррра!
Разум. Радость. Радуга. Солнце. Рана.
Светом, тобою, как чьей-то рукою. Врач
Пытается успокоить. Мало. Да слишком еще
Рано.

Полоснула по сердцу.
Лезвие затупилось. Ломко.
Там и осталось. Вместе с моей рукой.
И вот теперь с этим ненастьем громко
Ты разговариваешь по ночам, родной.

Наверное

Прошепчи мне из прошлого самое настоящее.
Из далекой страны не пытайся кричать.
Не рубить нам с плеча, не забыть сгоряча
Ничего. Мы убитые или спящие.

Самое верное твое наверное. Чуть подожди.
И кусочками, что я рисую и пестую,
не дорожи.
Не собрать, как лицо, не спуститься до ржи,
Что над пропастью в страхе дрожит.

Самое верное твое наверное. Самое. Верное.
Просто руку мне протяни и из прошлого
прошепчи...
что?
наверное...

Шаг к морю

Море пахнет хвоей или арбузной коркой...
А может, тем самым арбузом пахнет моя рука.
Зачерпну я горстью горькой водицы с пенкой,
Да подивлюсь: ну, как же она несет облака?

А море накатит волны. Стану под брызги пены.
Да окажусь по горло в соли и небесах!
Вот почему уносит... Носит повсюду ленный,
Странный немного, страстный, мокрый, мой милый страх.

Я не могу не сделать шаг к чистоте и свету,
Пусть они мне готовят волны и воды взахлеб.
Просто я первым делом, только придя
на берег,
Слушаю, как предлагает море мне долгий брод.

Шепчет прекрасный голос: О, ты пройди и выйди!
Шаг, миллион таких же — и ты на верном пути!
Пахнет немножко солью,
Хвоей и горстью мидий...
Я из воды и неба стану обувь себе плести.

Светлана Синева, Вологда

В ладонях Божьих

Фрески стерлись,
пыль на полках,
паутина на стене...

Я зашла к тебе ребенком,
Маленьким, смешным и тонким,
Стройным мальчиком во сне...

Ты мне пел: «Моя Светлана,
Спи...» Шептал, вздыхал, горел...

Лепетала, усыпала...
Жаль, проснуться не посмел.

***
Не пиши писем,
Не смотри в окна,
Не жди перемен:
Ясен день — мыслью,
Свеж берез соком,
Детским глазом оценен.
И, наверное, соткан
Из лучистых материй.

***
Минуты, дни, века
бегут, летят и —
плачут...
Живые пальцы рук
беспомощны,
а значит,
Идет за годом год,
срывается
в бессмертье...
А я... Я пешеход
судьбы,
борьбы со смертью.

***
Смешно играть в любовь
или в разлуку,
Мне важен близкий взгляд и —
руки,
Надежда и предлог
для дня и продолженья...
Нет, не люблю любовь –
Только ее движенье.
Из сердца в сердце — зов
души, молитва света.
Прости меня и не
Спеши судить за это.

***
Не буду песней,
Не стану птицей...
Твоею бездной
Разверстой сниться
Не перестану
И не иссякну.
Живи безвестным,
Живи со всякой,
Что согласиться
Ложиться рядом.
А я на сердце
Печатью лягу,
Венком — на душу.

***
Вот надену валенки,
Да пойду гулять...
Валяное — к валяному,
По сеням искать
Сенное и сонное
Царство по утрам...
Видно пиво пенное
Не по тем усам
Потекло. По берегу,
Да не той реки.

Вышла, но не меряно
Дно тоски.

***
Бесполезно: переключаясь на личности,
Стирая ластиком с глаз очевидное,
Ты ищешь различия
в камнях
на берегу Аида.

***
Как живете вы и здравствуете,
Милые, родные люди?
Как встречаете закаты,
Где любуетесь восходом?
Много ль жизни, света, хлеба
В Ваших судьбах и жилище?
Не призренье, а прозренья...
Не суды, а путь и пища вам...

***
Вот и отпраздновала:
Ни вдоха, ни выдоха -
Сплошь в ничто
Превратившийся воздух.
И день ото дня
Гремит коромыслом
небо
Без отдыха...
отдыха...
отдыха
И — хлеба...

***
Панург — всей жаждой знать,
Любить и пить простые истины?
Игристо-искреннего напитка зло
Не утоляет: страсть
Без меры истинной
ведет на дно.

***
Когда Кассандра в горе закричала
О том, что скоро Бог накажет Трою,
Седые волны бились у причала,
Седая женщина у пристани молчала
И насмехались воины Эллады,
Кудрями черноглазых дев играя,
Своих наложниц.
И кляня помеху
В лице Кассандры к пиршеству и счастью,
Ликует Троя, к ночи ждет подарка.

***
Он рисовал у нее над плечами
судьбу,
как попало,
нечаянно.
Он записал ее жизнь и ночами
думал -
вот счастье.
Tabula rasa исчезла разом:
нет ни земли,
ни причала.

***
Таких видимо-невидимо —
ничем не отличился...
Стал черной
на солнце высохшей
печенью

Стал дымом,
из труб по-черному
выкурен,
Собакой бездомной,
грязью, как гелем,
выхоленной,
Щелчком — от холостого
выстрела
И машинным бензинным
выхлопом,
Пустотой,
из окон
смотрящей.
Совсем смертный,
Совсем пропащий.

***
Мы от земли к небу
Вздымаем круги Ада.
Спасибо, Данте,
Седьмой круг -
Больше не надо...

***
Моя жалость — каменная,
Не всякий выдержит.
Люблю памятью
И тем, что выжила.

***
Гости вечного
Пути млечного,
Бесконечно мы
Травим жизнь.
Даже сны весны —
На все ветра,
Продевая сквозь
Дыры чужбин.

***
Все темнее и тверже тьма
над твоей колыбелью.
Я представлю, что нету дна
у постели.

Я представлю, что под крылом
синей птицы
Мы парим и не можем никак
опуститься.

Я представлю, и пусть решат:
быль иль небыль,
Как в ладонях божьих душа
станет небом.

Мария Суворова, Вологда

Сердце на шесть континентов

Боль внутри. Существование на грани, сны –
Там где и я, и Вы обречены.
Там, где жизнь слишком близка к концу,
Каждый из нас подобен античному мудрецу.

Боль внутри. Пройдет или замрет? Ну что ты.
Молнией да не убьет. Такого не случится,
Не произойдет. Исчезнет что-то,
Кое-то придет. Душа однажды
снова вернется,
НО

Боль — внутри — судьбою повернет.
И не вернет — потерянное,
И мы, плакать обреченные,
друг друга найдем
в любом городе, в любой стране.

Везде мы встретим глаза, полные слез,
Скрытых порой под маской непринужденных поз.
Боль внутри. Существование на грани
Ко всему человечеству любви.
И

Поиск такой же обреченной души,
Счастье в поддержке её руки.
Боль внутри — однажды заполнив сердце –
Уже не уйдет. Может, лишь замрет...

***
Внутри меня — теперь пять сторон света:
Север, юг, запад, восток
и Вы.
Внутри меня — отражение земных континентов –

Вы — отдельная земля,
Самая любимая страна.
Все пути ведут туда, где пятая
сторона.
НО

Судьба, судьба...
Куда бы ни ступила — везде беда,
Куда бы ни пошла — всюду гроза.
А как же жить, если нет
СЕДЬМОГО КОНТИНЕНТА?

Если опять — все слова как пустые
Капли дождя.
Если душа
тяжела и беспокойна.

Если меня ни на юге, ни на севере
Не ждут.
Если запад-восток
Вечно спорят.
А Я
Беспомощна.
Пусть солнечная система безоблачна.
Внутри меня теперь пять сторон света,
Семь континентов.

***
Хочу с Вами поговорить.
Улыбайтесь, улыбайтесь...
Можете сказать:
«В другой раз. Я занят.»

Можете сделать «телефонный» вид -
«Алло! Президент?..»,
Можете — строгий «ис-под-очков»,
И улыбайтесь, улыбайтесь...

Мне так легче.
И обязательно попросите меня
Присесть.
А еще: «Чашечку чая?»

И прочие формальности,
Я их люблю.
Мне так проще.
И улыбайтесь, улыбайтесь,

Пока я не забуду,
Зачем пришла.
Пока не забуду,
Что хочу с Вами поговорить...

***
У меня сердце
на шесть континентов.
У меня больше, чем в Ваших мечтах
любви.

Только
мама
плачет
и мне страшно.

Зачем у меня сердце
на шесть континентов?
Зачем оно так огромно
и так болит?
Кому бы хоть часть его подарить?
Маме?

...

У меня больше, чем в Ваших мечтах
любви.
Знаете, только без Вас
на всех шести континентах дождь
моросит.
И мама
плачет.
Сердце стучит.

Просит: «Будьте людьми!»
Но
никто не слышит,
как дождь говорит.

Как говорит
всем.
Как говорит
всё.

Прислушайтесь.
Понимаете, как сложно
с сердцем на шесть континентов
в груди?!

***
Мама, это так больно –
Приходить домой и понимать, что
только войны
гражданские
Сравнимы с нашей любовью.

Мама, это так больно –
Быть счастливой с другими,
Пусть не с плохими,
Но не с тобою.

Мама, это так больно –
Сердце, движимое любовью,
Прогонять из себя прочь,
Делать его подневольным.

Мама, это так больно —
Приходить домой и понимать,
что только войны
гражданские
Сравнимы с нашей любовью.

***
Артефакты Вашей любви — стихи,
Коробка фантиков, открытки,
Цветы
В горшочках.
НО
Главное, конечно, это Вы
В первозданном виде —
homo sapiens.

А письма, сувениры, счета телефонные —
АРТЕФАКТЫ ВАШЕЙ ЛЮБВИ.
(А платить за телефон мне придется)
И ничего, что гитара — не Ваш инструмент,
А немецкий — не Ваш язык.
Главное, это Вы, Вы, Вы!
И

Стихи.
А в них — мы, мир и люди.
В них прошлое и будущее.
И самое главное — Вы.

***
Сергей Александрович,
знаете,
Вы мне нравитесь.
Не извиняйтесь.

Вы бы знали, с какой любовью
Я пишу эти строки в дневнике,
Чтоб навек сохранить историю,
Чтобы чувства продлились век.

Сергей Александрович,
Вы улыбаетесь
кому-то из знакомых,
А мне –

Остается смотреть
под ноги.
Уходить.
Не создавать помех.

Сергей Александрович,
Вы меняетесь.
Изо дня в день,
За часом час.

Мне бы силы иметь и терпение,
Чтобы
за Вами
поспеть.

Сергей Александрович,
Вы мне нравитесь.
Я люблю Вас.
Я люблю Вас любить.

***
Боюсь креститься рядом с вами.
Среди вас. Без вас.
Это вальс
в одиночку –
движение раз: боюсь задеть
боль
внутри вас.
А завтра шаг второй:
Боюсь любить
Вас.
Потерять
Вас — оступиться и забыть про третий раз.

Первый раз
Рву в себе
Судьбу,
Сжатую в час.

В секунду умещаю крик. Но мне дано
Непонимание
Вас. И не дано в одиночку танцевать
Вальс. Без вас.

***
Вы будто говорили в тишине,
А за окном покачивалось небо,
Когда коснулась Вас я в полусне
И за любовь промолвила «спасибо».

Нам будто поменяли имена,
Соединив конец пути с началом,
Вы будто говорили дотемна,
А я, примкнув несмело к Вам, молчала.

Во мне как будто погасал закат,
Меняя яркость пламени на пепел.
А голос Ваш звучал, сменяя такт
За тактом, колыбельной в лунном свете.

***
Ладони крестиком сложила. Так
Немного помолчав, промолвила:
«Любила Вас», но алый тот закат
Пугал чернеющим огнем. Игла

Пронзила сердце мне, в глазах у Вас
Как будто темная вода была
Не видела добра, и злы слова.
А реченька быстра, шумна, полна –

Звала, волной маня, но, скрыв чертей,
Со адова их дна подняв, а Вы –
Ладоней крест разняв, тот знак вестей
Печальных, вняли голосам любви.

И сжавшись губы в губы до утра,
Боролись с темными чертами сна...
Молясь иконам красного угла,
Стояла на коленях я одна.

***
Молчащая улица снегом засыпана, только
Не сразу поймут, что навечно
уснувший старик
Здесь жил. И раздастся однажды
отчаянный вопль, но
Прости, старик. Ты теперь старый
храм, четверик

Без крыши, без купола, всеми забыт,
кто любил и,
Кто был тебе дочерью, сыном родным —
не вини
Грехи не свои. Отпевали тебя, но ковылью
Увы, поросли все пути, что зимой не видны.

И молча иду, осторожно ступая по снегу,
Мне жалко тех каменных глыб,
что стоят у реки,
Не сразу поймут, что душа
лишь сильней век от века.
Прости же, старик. Ты теперь
старый храм, четверик.

Павел Тимофеев, Вологда

Вдохнуть этот свет...

***
За окошко не смотри:
там лишь снег, да фонари.
Там лишь ветра гулкий вой,
голых веток непокой.
Лучше досчитай до ста,
вспомни милые уста,
вспомни дикий летний хмель,
ярких бликов карусель,
колыханье легких штор.
Вспомни свой несносный вздор.
Улыбнись, закрыв глаза.
Время потекло назад.
Ты уже в объятьях сна.
А проснёшься — глядь — Весна!

***
Рассвет у лета на краю
Повеял холодком.
Мы будем вечно жить в раю,
Любимая, притом,

Мы будем фрукты есть, и сок
нам будет как вино.
Блаженство это иль порок,
Нам будет всё равно.
Мы будем жить во сне,
а спать мы будем поутру.
Любимая, поверь же мне,
иначе я совру!

***
Двери закрыты, задёрнуты шторы.
День умирает — печальная участь.
Тени в квартиру крадутся как воры
и у вещей похищают их сущность.

Там, в глубине, на дрейфующем ложе,
два обнажённых прекрасных созданья,
не шевелясь, ни о чём не тревожась,
мирно покоятся в сладкой нирване.

Нежная кожа, спокойные лица.
Жребий грядущий ещё неизвестен.
Самый безжалостный в мире убийца
скоро войдёт и увидит их вместе...

И ни одной не оставит улики.
С виду всё будет спокойно и мирно.
Эти же позы, тела и улыбки,
Та же квартира, средь прочих квартир, но

чуть уловимый запах распада
всюду проник и осел среди пыли,
стала видна обнажённая правда -
эти два тела уже подменили.

Утром они ощутят перемены,
но будут спать, как ни в чём не бывало.
Тёмный преступник исчезнет со сцены,
взяв с собой сумрак — своё покрывало.

В том, что случилось под тёмным покровом -
правда и вымысел наполовину.
Тени бледнеют и солнце готово
новому дню перегрызть пуповину.

***
Сумерки, тишь и веснеющий лес.
Ты, околдован, задержишься здесь,
Где и не лес, а скорее всего насажденье.
Здесь, где когорты древесных стволов
Тянутся в ряд, не жалея голов,
В небо глядят с укоризною и вожделеньем.

Сумерки, тишь, но гляди — у ствола
Тень раздвоилась, качнулась, пошла,
Следом вторая, а дальше уже друг за дружкой
Тени безмолвно заходят с боков,
Ты уже пятишься, ты не таков,
Чтобы попасться в нелепую эту ловушку.
К городу ближе, туда, где огни.
Там что друзья, что враги, но они
Всё же не тени, не донные, тёмные думы.
Хочешь забыться, отвлечься, изволь:
Женщины, телеэкран, алкоголь,
Или какая иная подачка Фортуны...

Вот потому то, мой друг, я и ты,
Словно инцеста бежим темноты,
Или боимся остаться одни в чистом поле,
Или в лесу, но один на один,
Чтобы без поз, без манер, без картин,
Полною грудью вдохнуть этот свет, эту тьму,
эту волю.

***

Дом, где живёт пёстрая птица,
Полон веселья, полон гостей.
Яркие краски, румяные лица.
Здесь не бывает дурных новостей.

Птица эффектно сверкнёт опереньем
И распушит роскошный свой хвост.
Птица затмит, пусть на мгновенье
Свет недоступных таинственных звёзд.

Дом, где живёт серая птица,
Вечно задумчив, вечно скрипит.
Как-то тревожно, как-то не спится.
Чай остывает, свечка коптит.

Птица клюёт вечности зёрна.
Голову набок склонит и замрёт.
Время неспешно, время покорно.
Жизнь сотен звёзд за один оборот.

Разные птицы, разные двери.
Разное время в разных домах.
Пёстрые перья, серые перья.
Скука весёлая, звёздная тьма.

Ночь прерывает сомненья и споры.
Я покидаю уютный свой дом.
Вдруг замечаю — мой тлеющий город
Чёрная птица накрыла крылом.

***

Застегнуть молнию,
Повернуть ключ,
Выйти прочь.
Первая часть исполнена.
Полчища туч
Разорваны в клочья.
Два квартала,
Третий подъезд,
Заплёванный лифт.
Ни много, ни мало.
Свинья не съест.
В небе застыл гриф.
Путь коридором.
Нужная дверь. Стоп.
Поворот на пятке.
Обходится дорого
Ударов сто
Пульс. Душа в осадке.
Открылась дверь,
Загробно скрипя.
Выстрел дом разбудил.
Вот теперь
Можно уйти в себя,
Хотя я, похоже, не выходил.

***

Лето песню свою спело, улетело.
Солнца стрелы не задели моё тело.
Я белею в полумраке, я болею.
Я к тебе бы улетел, да не умею.
Харю хмурю, чёрный чай цежу сквозь зубы.
Волком был бы, так завыл бы на луну бы.
Пусть не вороном, хотя бы воронёнком
Обернулся бы, рванул в твою сторонку.
Только нынче кашель, пот, температура,
Да луна в окошко пялится как дура.
Чайник, кажется, остыл, да ладно, бог с ним.
Мысли вздорные свои в один клубок свил
И сижу, с ума схожу, гляжу в окошко,
Чай в стакане без конца мешаю ложкой.
И бредёт в окне луна своей тропою.
Невдомёк луне, что болен я тобою.

***

Все, что было со мною, смешается
с тем, чего не было,
Обернувшись блаженством, усталость
прикроет глаза.
Несуразная жизнь в сотый раз
перепишется набело,
Распахнутся ворота, дорога поманит в леса.

Даже скрип колеса, отродясь не
едавшего маслица,
Прозвучит старой песенкой, полной не
узнанных слов,
Что прохладным, густым разнотравьем к
ногам моим ластятся,
И еловыми лапами прячут охапки грибов.

Возле глаз паутинка на ветке
ольхи закачается,
Взгляд с неё соскользнёт и сорвётся
в небес колею,
По древесным верхам, ветерком шелестя,
прогуляется
И листком упадёт на дорогу,
как раз где стою.

Обратившись лицом к облакам,
я всё слушаю — сонное
Стрекотанье травы вторит мерному
стуку колёс
От часов всего мира. Сознание неугомонное
Соотносит дыхание с пульсом и ростом волос.

Елена Попова, Вологда

Иероглифы света на веере времени

мягкая белая вата
укутала мою душу
совсем не больно уже
бездвижно внимать
рассвету

усталый
путник
совершив
неудачное
харакири
поверил
в Бога

листовальс
листотанго
над моей
головой
я иду по
проспекту
но увы не
с тобой
расплываются
лужи на
стеклах очков
фонари
расплываются...
в сердце
моем
листовальс
листотанго
у меня
в голове
листовальс
листотанго
не дают
умереть
падают пуговицы
на пыльный
асфальт
в бешеном ритме
секунд и минут
складываю их
в карманы пальто
дохнут и мёрзнут
они
в темноте

испуганно вспорхнула
бабочкой
покинув одичавшую
берлогу
лечу я в облаках
через границы снега
и сердце бьётся
нетактично в клетке
грудной ты жабой
стал в моём болоте
а боль лишь
оккупирует живое
лечу я в облаках
врываясь
в потоки ветра
чтобы очутиться
в горячих
солнечных
ладонях

не согревает
дом теплом
неласковы
твои слова
и только
слёзы по щекам
идти-брести
сквозь
снега
мглу

выбита
из колеи
сломаные
замки
растеряные
друзья
opus тела
я

иллюзия дождя
на завтрак
в электричке
дешёвые
сомненья
о выходках
твоих
но не переживай
убью тебя
я быстро
на ужин съем
как было
в картине
у Дали

я не вижу тебя
так долго...
и в телефоне
говорят:
«абонент
недоступен»
я рычу
от злости
я гавкаю
в пустоту
я говорю:
«всё в порядке»
но почему
я плачу?

одна...
наедине
с мыслями
о тебе
страдаю
восхищаюсь
возрождаюсь
из пепла

иероглифы
света
на веере
времени -
ночное
слайд-шоу

случайные встречи
на улицах Лета
собаки и люди
и ранние птицы
объятья твои
как мне хочется
нежно
у кромки воды
и солёные губы

ты — точки
на бумаге
я здесь
и я дышу
пока
феерия запахов
сводит
с ума -
собачий нюх

ангелы летят
от земли

к небу
а души -
к земле

тень моей
руки
закрывает
усмешку
солнца

леплю себя
сама ваяю
своё лицо
искусными
руками
боли

унижение
от близких
больнее
оплеухи
незнакомца

в ушах звенит
клавесин
предновогодье
суета сует
грустно очень

на девичьей шее
бусы берестяные
поют деревянным
звоном
шепчут тихонько
о мудрости
плачут слезами
древесными
облачиться
невесте в робу -
бусы перебирать

Иван Раменский, Вологда

По замерзшей реке, по нетленной земле

Я иду по дороге между двух серых стен,
Состоящих насквозь из сырого бетона.
Меня ветер качает, забирая в свой плен,
Под ногами лежат обрывки картона.

Мимо едут машины — в них тепло и уютно.
У меня только злость и голодный желудок.
Как же долго идти, направляясь в утро.
Где-то в небе летит стая ветреных уток.
Нависают деревья над моей головой,
Что растут где-то там —
в параллельном мире.
Я хотел бы остаться и быть вместе с тобой,
А сейчас я иду, как мишень в чьём-то тире.
Закроюсь шарфом: может, станет теплее,
Ведь не может согреть даже
баночный «Кулер».
Скоро дойду, ведь немного светлее
Стало в конце. Я, наверное, умер...

***

Эти жёлтые листья –
Компромат на осень.
Суд Линча осудит
Без всяких вопросов.

***

И пусть нам мало лет,
Мы много понимаем.
Людей, как книги, по глазам читаем,
Их тайны поглощаем на праздничный обед.
И пусть нам мало лет,
Несовершенны рифмы,
Зато так откровенны наши гимны,
Ни капли фальши в этих гимнах нет.
И пусть нам мало лет,
Прилюдно говоря,
Что наша жизнь пройдёт совсем зазря,
Все избегают разговоров тет-а-тет.
И пусть нам мало лет,
Мы НЕ максималисты.
Пускай до финиша, как белый листик,
чистой,
Пребудет наша жизнь, ведь кроме чувств, всё
бред.
Так дай же мне ответ,
О, Бог, на мой вопрос,
Иль скажешь, что ещё я не дорос?
Совсем неважно то, что мне так мало лет...

***

Снова чёрная туча закрыла всё небо,
Снова серая ласточка насмерть о землю,
Будто фаустпатрон среди мирного лета,
Будто чистой башкой в заскорузлую петлю.

И прерывистый крик среди грязных окраин
Разнесётся, как гром цеховых агрегатов.
Здесь никто не заметит, никто не оставит
Своих будничных дел и вонючих бараков.

***
Я люблю... Видеть, как люди смеются,
Звёзды на небе и ветер,
Капельку солнца на блюдце,
Дым, сигарет моих пепел.

Люблю...Спать, постигать глобальность,
Верить в хорошее завтра
И изменять реальность,
Читая волшебные мантры.

Люблю... Реверс и шум прибоя,
Кофе с утра и ливни,
Звуки гитарного боя,
Шепот в ночи: believe me...

Люблю...В полночь искать ответы,
Книги читать утрами,
В небо пускать ракеты,
Грусть развевать словами.

Люблю... Столько в обычном слове
Вечных, простых историй...
Я люблю...

***
Маленький мальчик, свернувшись клубочком, спал в самом тёмном углу моей комнаты. Откуда он взялся здесь и почему спит? Подошёл поближе. Лежит, повернувшись спиной, и двигает ногой во сне. Я крикнул: «Мальчик!». Ноль внимания. Следующее моё восклицание тоже не было воспринято. Тогда я тихо шепнул: «Проснись...». Мальчик вздрогнул, повернулся ко мне лицом, а на лице у него было написано большими буквами «СОВЕСТЬ». «Не, я спать хочу» — последовал ответ, и он снова заснул. А я вот проснулся.

***
Ты снова смотришь сквозь стекло
На снегом меченые крыши.
Этаж девятый — ты сидишь
На подоконнике, не слышишь.
Не слышишь ничего вокруг,
Вдруг всё сломалось, мир разрушен.
Ты поняла, что не нужна,
И никому никто не нужен.

Все чувства — ложь, а ложь есть смерть
И люди медленно сгорают.
Не верят, даже не хотят,
И потому любовь теряют.

Пока нет веры — нет любви,
Пусть ты её и отрицаешь.
Но может, надо поискать?
Как жаль, что ты меня не знаешь...

Нет сил, не сделать ничего –
Реинкарнация безделья.
А у кого-то передоз,
А где-то — жёсткое похмелье.

Уходит день, приходит ночь,
А ты совсем не замечаешь.
Ты куришь, уменьшая жизнь,
Но не о жизни ты мечтаешь.
Текут минуты и часы,
Но время вылечить не в силах.
Что-то засело в голове
И кажется, что всё уж было.

Были и слёзы, и вино,
И секс, и дружба, и утрата.
И рок, и в небо, и печаль,
И ложь, и сахарная вата.
Всё, что могла бы пожелать,
Что люди счастьем называют.
Но те, кто рядом был с тобой
Не любят, а в любовь играют.

Смешались мысли в голове,
Одна осталась сигарета.
Дрожат ресницы, слёзы, боль
И первый день немого лета...

***
Они покидали город,
Бросая наземь одежды.
Не голод их гнал, не холод,
А поиски новой надежды.
Они прогрызали стены,
Босые, в поисках рая.
Они теребили вены,
Вдрызг, на куски разрывая.
Они зарывали в колодцы
Мечты и обрывки писем.
Пьянило свободное солнце,
Стирая грани всех чисел.
Они вещмешки бросали
На грязь и холодные камни,
Огонь в небесах искали,
Слыша в ответ лишь молчанье.
Осталось немое тепло
И жёлтых листочков ворох.
Никто не заметил того,
Как все покинули город.

***
Замёрзшая кошка на ржавых перилах
Сидит и мяукает, жалобно, тихо...
Как будто бы слёзы на серенькой морде
Тоской мне знакомой душу наполнят.

Она одинока: как я, как деревья,
Как дождь проливной среди ясного неба.
До лета так долго: дожить, дотянуть бы,
Там вновь оживут продрогшие судьбы.
И высохнут слёзы на морде у кошки,
И станет чуть лучше, и станет чуть больше
Весёлого неба над головою,
Высоких деревьев, покрытых листвою
Сейчас же всё хуже: утратив надежду,
Уже никогда мы не станем, как прежде.
А я подойду к этой маленькой кошке
И почешу ей за ушком немножко.
Лучшее чувство — быть нужным кому-то,
Хоть на секунды, хоть на минуту.
Это толчок, пусть мимолётный,
К новым победам и новым полётам.
Но что за полёты маленькой Муське,
Когда на желудке так пусто, так грустно.
На руки возьму холодное тельце
И нежно прижму, прижму прямо к сердцу.
Домой принесу, молока дам немножко
И верность в глазах маленькой кошки
Скажет о многом... Ну что ж, оставайся
Нужны мы друг другу, а это — богатство.

***

По замёрзшей реке,
По нетленной земле
Я приду за тобой
И найду свой покой
У тебя на руках,
В твоих влажных глазах
И сухих волосах.
Ты узнаешь меня
По следам от огня
На блестящем снегу.
Я дошёл, я смогу
Стать частичкой тебя,
Ничего не тая,
Рассказать про себя.
Чем спасался, где был,
Как грустил и с кем пил,
Что забыл, потерял
И чего не объял
Заболевшим умом,
Что нашёл тот приём,
Разрушающий лом.
Знаю я, ты поймёшь,
Мою руку возьмёшь,
В сердце боль заглушив,
Вспомнишь старый мотив,
Что мы пели вдвоём
Жарким солнечным днём
Под нежданным дождём
Мы проснёмся с утра,
Позабыв про вчера.
Ты спасла меня вновь –
Ни при чём тут любовь,
Мы не верим в неё,
Просто нам хорошо
Быть вдвоём...

***

По мёртвым душам,
По морям и сушам
Побежала дорожка,
Словно чёрная кошка,
Словно белая ленточка,
Словно ранняя ласточка.

На кресты взобралась
Где-то оборвалась
Последними вёснами
Да облезлыми соснами,
Заросшими плошками,
Плесневелыми ложками.

В землю как в небо.
Убить своё кредо.
Проснуться с погонами
Да в башне патронами,
Познав вечность травами
И гнилыми церквями.

Невесёлыми песнями,
Словно жёлтыми листьями
Разбудить свою совесть,
Схавать старую новость.
Подавиться слёзками,
Удавиться блёсками.

По мёртвым душам,
По морям и сушам
Побежала дорожка,
Словно чёрная кошка,
Словно белая лента,
Свидетель момента.

Галина Умывакина, Воронеж

С горчайшей своей строкой

Из книги «Воронежские встречи»

Не всем же быть столичными провидцами,
не всем же на полсвета помнить.
Кому-то нужно видеть из провинции,
кому-то нужно слушать издали.
И нет в том ни заслуги, ни провинности,
а просто выпало тебе и мне,
как говорили прежде, — жить в провинции,
поскольку места много на земле.
Сегодня завтра ли — тут дело в принципе:
какие б ни случались времена —
все так же нами держится провинция,
как держится провинцией страна.

***

А. Слуцкому

Шепчи, выговаривай, пой, голоси,
кимвалом бряцай иль бренчи на струне,
покуда поземка метет по Руси,
и Божие звезды горят в вышине.

Пока колокольчик звенит под дугой,
и колокол грозный пророчит в ночи.
Не будет другой и не надо другой
ни речи, ни почвы, ни тьмы, ни свечи.

Аукайся, мыкайся, отклик лови,
ищи и обрящешь, покуда мы тут:
краюху надежды, щепотку любви,
напев колыбельный, погоста приют.

***

Фамилии русских поэтов,
их родственные имена,
широким развеяны ветром
в ту даль, что повсюду видна.
Как будто нашли продолженье
начала непрожитых строк -
вот в этих зеленых деревьях,
и в этой траве у дорог.
Как будто нет выше свободы,
чем тем, что нам право дает
стать духом нетленной природы,
стать словом и плотью ее.
Как будто остаться ей бедной,
когда б не хранила она
фамилии русских поэтов,
их родственные имена.

***

Из все это люди любовью
Бессмертной назовут
А. Ахматова

Мы слушать привыкли вполуха,
вполвздоха, вполсилы дышать.
Зачем же ты ходишь, старуха,
остывшие угли мешать?
Что бродишь по белому свету -
Иль вечный несладок покой?
С любовью своею бессмертной,
С горчайшей своею строкой.
Иль то, что сгорело в минувшем,
что здесь предавалось огню,
все мучит и жжет твою душу,
бессмертную душу твою?
Судьба октябрем прогорает,
и счастье вчерашнее жгут,
А голос незримый рыдает
по жизни, случившейся тут...

Из «Русского переплета»

Над той землей, где все мы родились,
над той землей, куда мы все вернемся,
томя и согревая нашу жизнь,
октябрьское спокойно светит солнце.
Над той землей, что наделила нас
судьбой и речью, памятью и кровом,
просторна даль, открытая для глаз,
и вечный день горит в обличье новом.
Осенние обнажены черты,
прозрачен воздух и свободен ветер
на той земле, где может быть и ты
открыт и ясен, волен и бессмертен.

***

Беспомощно и безоглядно
осенним простором дыши...
А что еще, собственно, надо
для смертной и вольной души?!
Пока мы на жизнь свою ропщем,
разгадки ее не поняв,—
светлеет соседняя роща
пронзительней день ото дня.
А можно и так: мы осилим
свой век человечий, пока
трепещет озябший осинник
и медленно стынет река.

А можно и вовсе иначе,
когда б средь трудов и тревог
растерянность детского плача
нас не заставала врасплох.
Как эти октябрьские дали,
их чистый томительный свет,–
ясней и больнее с годами
один немудреный ответ:
Средь речек, полей и осинок,
быть может, и стоило жить,
чтоб горечь внезапных слезинок
на детских щеках осушить.

***
Вольной долею гонимый,
вихрь кружиться охряной.
То ли жизнь несется мимо,
то ли счастье — стороной?
Свет октябрьский, нелукавый,
неподкупный, как ни глянь,–
сердца блажь, ума забавы
выжигает из меня.
На пиру осенней воли,
на ветру, куда ни глянь,–
столько мужества и боли,
столько страсти и огня!
Не сыскав в огне том брода,
К сердцу тянется рука...
Может, в том она — свобода,
Чтоб сгореть наверняка?!

Наталья Усанова, Вологда-Харовск

Взглядом гасила Луну

Вот земля. Но я не приближусь к ней.
Я всё время буду болтаться так.
Слишком много видно с воды огней,
Чтоб понять, который из них — маяк.

Поднимается пена, мой путь стеля,
И стучатся волны, как в двери, в борт.
В миллиарды свечек горит земля,
Как большой-большой юбилейный торт...

***
За деревней они
Поджидали день.
Тишина, и слово дано костру.
У того костра
Кроме двух людей
Шесть деревьев,
Шесть напряжённых струн.
Он за хворостом встал,
И задел одну.
Вся струна негромко
Отозвалась.
И — ещё струну.
И — ещё струну...
А костёр заслушался
И погас.

***
А хорошо, что горы
Не могут смотреть и думать.
Они бы свихнулись, видя
Как быстро люди стареют.

Сначала твердеет кожа.
Перестаёт быть гладкой.
Морщины напоминают
Каменные ущелья.

Затем мы молчим всё чаще,
Всё реже уходим с места.
И — наконец — снегами -
Волосы на макушке.
Я тоже теперь не вижу,
И тоже не размышляю.
И я не свихнусь, видя,
Как быстро люди стареют.

***
Бросил трубку. Частые гудки.
Вышел на балкон и долго слушал,
Как стучат чужие каблуки,
Забивая гвозди в чьи-то души.

В здании напротив — окон ряд.
Под защитой этих стеклоплёнок
Видит свой десятый сон подряд
Очень-очень маленький ребёнок.

Он проснётся, любящий людей,
Приоткроет шторы утром рано...
А на месте твёрдых площадей
Зреют земляничные поляны.

Их трава от ветра закипит,
Из росы на нас посмотрят лики...
Не убий.
Не укради.
Не наступи:
Ей же будет больно — землянике.

Мора

Она обходила свой лес ночами,
Взглядом гасила его луну.
Лес просыпался, её встречая,
И осторожно к ладоням льнул.

Гладила лес по зелёной шерсти,
Нежно трепала ему бока,
А на руке шевелился перстень.
Блики виднелись издалека.

Перстень казался окном горящим.
Путникам виделся в нём ночлег.
Путники бодро ныряли в чащу.
И оставались внутри навек.

***

Коготком железным
Всюду мне грозят:
«Ты куда, любезный?
Ай-ай-ай, нельзя!»

Попросился слёзно
С горя к праотцам.
Похоронен возле
Своего крыльца.

***

Размышляли о вечном во время жары,
О правах о своих, человечьих.
И жужжали во рту вместо слов комары,
Вылетая наружу при речи.

Приставляли мы взгляды к знакомым вискам,
И к замкам неоткрытых покоев,
Чтоб оставить свой след на зыбучих песках,
Добираясь по ним к водопою.

***

Последний человек — он обречён
На то, чтоб научиться рисовать.
Способности и чувства ни при чём,
Как ни при чём речушка и трава.
Впиваясь в гравий мякотью колен,
Оставшись навсегда с собой вдвоём,
Он будет обводить свою же тень
И называть по имени её.

***

Жили в сказке. Вдруг нате-ка вам — сюрприз:
Дуб познаний, словно трава, поник.
Берега кисельные расползлись,
И в пучине стали бурлить огни.

Вот тогда забегали мы, скользя,
По краям четырёх бесполезных сфер.
Мы уже решили: спастись нельзя...
Но пришёл откуда-то Гулливер.

Всё ему нипочём — он такой большой.
Настоящий, правильный человек.
Подхватил нас и дальше себе пошёл
Над кипением белых молочных рек.

Интересно, куда же он нас понёс?
Из волос его грубый шнур связав,
Осторожно влезаем на гору-нос,
И глядим, как в луны, наверх, в глаза.

Мы кричим ему в губы: «Куда идём?!»,
И на них шевелится свет зари.
А потом сквозь зарю — ураган и гром –
Великан по-своему говорит.

Я боюсь движений огромных губ.
Я могу упасть — а оно зачем?
Завести детей, да построить сруб,
Да отбить уголок на большом плече.

***

Есть в море берег самый дальний,
Там густо-кремовая пена,
А на верху горы зеркальной
Сидит прекрасная Елена.

Сидит прекрасная Елена,
И солнце, как большая кошка,
Свернулось на её коленях,
Уткнулось вглубь её ладошки.

«Елена-мать, — оно ей шепчет, -
Я не хочу к холодным людям.
Ты обними меня покрепче,
И я с тобой чуть-чуть побуду».

«Останься! Хватятся не скоро, -
Елена к солнцу наклонилась, -
Я век назад ушла на гору,
Так до сих пор не спохватились...»

***

Однажды ты вырастишь сына,
Построишь свой каменный дом
И даже посадишь осину
Для взятых тобой городов.
И вырастет дерево быстро,
По пояс в золе — не в земле
И будут на ветках не листья –
Монеты. По десять рублей.

Однажды ты вырастишь сына...

***

Вы зря меня узнали, господа.
Но если так... Я открываю лоб.
Я приходил младым певцом сюда,
А в этот раз я пахарь, хлебороб.

Тогда слагал я гимны облакам,
И вы просили: «Пой, не уезжай!»,
Но облачная нива далека,
Она не даст живому урожай.
Ах, это не беда и не вина,
Когда однажды петь перестаёшь.
Я чувствую теперь, что суть зерна
Лишь в том, что из него восходит рожь.

Подсолнуховое поле

Я тихо крался сквозь свод кустов.
Откинул ивы густую прядь,
Увидел поле. А там — желто.
Подсолнухи строем идут, как рать.
Всё ближе они. Горячеет зной.
Не жгите меня! Подождите! Нет!
Я поднял руки, я не с войной,
Поверьте: я свой, я такой же свет!

Елизавета Чегодаева, Вологда-Москва

Время молчать

* * *
Время говорить — и время молчать,
Разложив на коленях умы Вселенной.
В голове бурлит бесконечный чат,
Обсуждающий ударения и лексемы.

Время остаться — и время уйти
В разные стороны с разных вокзалов.
Двое суток и ещё ночь пути,
С верхних полок стянутые одеяла.

Время отвернуться — и время раскрыть глаза
Навстречу долгожданному поцелую,
Который докажет, что всё было не зря,
И всё (укус за губу) будет.

* * *
Загораживает свет, от дыма морщится,
курю пристально — это пыль из-под ног!
Наша осень давно закончилась,
наша зима подводит итог.
Станет рисунками карандашными
этот отчаянно яркий цвет.
Хочешь до смерти, ничего не спрашивая,
боясь всё же получить ответ.

* * *
А рай не нужен — его и так не миновать.
Мы ходим по стальным пружинам кроватей.
Свет погашен. Пустые лестницы спят.
На стенах деревья застыли, как солдаты.

Память колёсами катится по груди.
Нас расстреливают снам о нас, и покойтесь с миром.
Пой с разорванным горлом, не уходи —
Завтра мы все войдем в прямые эфиры.

Спеши, это последний мартовский бред,
Деревья на стенах давно уже посветлели.
Мы с тобой родимся когда-то, нас ещё нет –
Даже здесь, на этой узкой постели...

* * *
Испытание на долгосрочность
Уже зашкалило ближе к апрелю.
А я бы взращивала травы сочные,
Я бы из волос выбирала перья.

Это капли стойкие, капли мерные,
Но им недолго осталось капать.
Ведь я бы любила, как любят смертников
За три часа до ружейных залпов.

* * *
Ты, стреноженный собственным образом,
Напрочь придуманным от пояса и ниже –
Что ты думал, когда молодая поросль
К твоим ногам подбиралась всё ближе?

Они сбрасывают как одежду печали,
Судьба запрокидывает голову, смеётся,
Плату берёт за всё, не предупреждает –
Чего ты ждал, обмакивая волосы в солнце?..

...Что ты чувствовал, кода вошёл усталый ангел
В чёрной юбке и с сигаретой, зажатой в пальцах?
Ей завтра родителей встречать с вокзала
И ещё надо успеть прибраться.

* * *
Сяду и буду плакать, что не абитура,
Не июль, не август, валящий с ног духотой,
Что знаю тебя лучше, чем хотелось самой,
Что такой ливень, а у меня — температура!

У порога ещё скромно топчутся грозы,
Все взгляды твои и слова — одной мне.
Выйти на улицу, прильнуть к холодной земле,
Наутро встать уже с туберкулёзом.

Веришь ли? Тогда всё будет предельно ясно.
В наших банках давно скопился немыслимый счёт –
Вербное Воскресение, полнолуние, что ещё?..
Найди меня этой ночью, не отдавай нас напрасно.

* * *

У тебя молнии на концах ресниц,
Не пронзай меня, ещё пожалей.
За окном — слышишь? — бесчинство птиц,
И глядят в небо стволы тополей.

Мстительная моя, не разжимай губ,
Я слишком смел, я пришел наугад,
Но вдруг солнце скользнёт между труб,
И меня не сожжёт холодный разряд?..
Я сейчас распадусь в невесомый прах
Или буду заново возрожден.
У тебя гроза в светлых глазах –
Отведи её, пролейся дождем.

* * *

Это не более чем глоток старым мечтам,
Но им в отличие от других суждено
Сбыться, я захожу с письмом на почтамт.
Последние марки налеплены на стекло.

Как последний шаг до твоих ненасытных губ
Так корми их моими видишь они равны
Серый конверт выскальзывает из рук
Я ползу за ним на коленях до стены.

Я научу тебя так без дыхания с головой
Кто-то в итоге застынет в раме окна
Почтовый ящик как висельник и герой
Протягивает ко мне деревянные руки со дна.

Я отправляю письмо.

* * *

Хочешь медленно — ты получишь медленно.
Не я выбирала — выбрали за меня,
Всё было продуманно и преднамеренно:
Много ельника и много огня.

Не я выбирала из того, что посиживало
На холодную землю облокотясь,
Волосы прядями неостриженными
Из-под шапки ползли, змеясь.
Быстрые ответы, с собой не сладила,
Я успокаиваю наперёд
Дрожь руки, которая гладила
Ворот рубашки и то, что под.

Галина Щекина

Окликаю: «Ау»

Что догоняет меня за спиной?
Слышу, угрозы летят, настигая,
Резкие всхлипы и вздох неземной -
Стой, дорогая!

Да! Убегаю, глотая комок,
Рот пересох, ибо перецелован.
Солон прибой от макушки до ног
Сжал и ни слова.

Елочный звон, ледяной перелив!
Солнце вплывает в зеленые воды.
Так я входила в залив, утолив
Жажду свободы.

Сильных объятий, что хмеля — вина
Вечно желание, сколько б ни пили.
Вечная качка с волны и до дна
В бурю и в штили.

Хлестки удары — не может достать
Море возлюбленных и уходящих.
Плетью охватит и сникнет опять,
Будто бы плачет.

Бросит, как россыпью огненных бус,
Падая в воду, звенят и погаснут,
Нет, не догонишь, и я не вернусь -
Разве неясно?!

***

Рокотанье воды возмущают
взметнувшись фонтаны,
голубые шелка резать утренней белой ладье.
Сладко-томная музыка будто
куренье кальяна.
Украшения что ли забыто сверкают в воде?

Живописный татарин подразнит
опять ожерельем,
от морских окуней подкопченый
густой аромат.
Ветерком нанесет дух рапанов и пива,
и соли, и прели.
Расставляют шезлонги, и звякает
вдруг банкомат.

Сонно хлопанье тентов и музыки,
смех беспричинный.
Почему же один ты и взор твой
почти вороват?

Ты вернешься отсюда вполне
просоленным мужчиной,
никому не обязан, не стоит долги отдавать.

А в потемках акаций, где каждая
вроде согласна,
ты захлопнешь калитку и
молча откроешь вина.
В душном бархате ночи из трелей
сверчка будет ясно,
что балкон нараспашку, и
девушка там не одна.

***

Скажи, что ты думал о
женщине-умнице — той,
которая будет капризничать, мучить,
за тряпками в Польшу пошлет
и последним листом
опавшим — ложиться на землю научит?
О той, что из Польши никак
не могла отпустить -
распухшие губы тянула тебе на рассвете,
она задыхалась от слез — за детали прости -
оставшись одна без тебя, ну а ты не заметил...

Тебя утешала ли женщина — яркий цветок
в сияюще звездной и столь дорогой упаковке
иль яблоко это волшебное съев,
ощущая «не то» -
ты с нею простился поспешно
и даже неловко.

А дальше как в пропасти,
где очень просто пропасть -
все меньше душевного, больше вещей,
и усталость.
И дети, чья сладкая и беспощадная власть
все брать-уносить... а уже ничего не осталось.

Какая из них принесла тебе больше
того, что взяла? -
Ночами на тесном балконе паля сигарету,
о ком вспоминаешь — чего до сих пора
не покрыла зола:
о той, что вначале — а может быть,
и ни о той, ни об этой...

***

Налетев, стою и немой вопрос
перед кассою с ассигнацией -
потому что ты задираешь нос!
усмехаясь ассоциациям.
Наплевать на все тебе! Наперерез
реву джипов летишь по улице...
так и жизнь пронеслась, не с тобой, а без,
только ты не успел нахмуриться.

Через вихри снега мокрый как бес,
но счастливый, с пивом как свечкою,
ты опять в историю глупую влез,
но зачем доказывать вечное?
Россыпь капель талых на волосах
Обдает ресторанным бытом
Ты хмельной... но еже писах,
Все уж сказано и забыто.

***

В дождевом переулке, в городской суете
Благородно и гулко ниткой бус на кусте
День на ночь перенизан от восторга до тьмы
От окна до карниза, от весны до зимы,
От надежды до грусти, боже мой, не грусти,
Пусть тебя не отпустит неизвестность пути.
Далеко или кратко с пониманьем и без
Ты иди без оглядки на капризы небес.
Задождит за балконом и на белом листе,
И пускай нелегко, но послужи красоте.
Обертоны высоток и реки тихий шелк...
Звянул в сумочке сотовый и
сконфуженно смолк.
Мимо храмов и шпилей шпилькой
чиркни листву.
В черном, значит Одилия —
заколдуй... торжествуй...
Жизнь еще осияна, хоть не так и длинна.
Ну, а Муза заглянет, с нею выпей до дна.

***

Вот идешь по суровой и
грустной аллее стиха,
и стволами упавшими путь загорожен.
А природа стиха поневоле темна и тиха.
И понятно — становишься старше и строже.
Почему-то и бревен застыли тела
не на месте и в самой несвойственной позе.
Откатить бы, но кажется, ночь подошла.
Не найти лесника — он к костру
их наверно отвозит.
Окружали усадьбу старинную эти дрова,
над любовными парами кроны шумели.
Видишь, музыка слов снова ранит
и снова права,
только мы ни понять, ни своей
сочинить не сумели.
И такая тоска от заброшенной этой красы,
и такое до слез обожжет неуменье,
что проглотишь комок и ступней
не жалея босых
покидаешь стихи... и никто
тебя там не заменит.

***

Притворись, что пишешь, не зачеркивай -
вот чудесно разгорелась печь!
Хорошо бы в этой старой норке
на лежанке просто так прилечь.

Кирпичи слегка защиплют кожу,
как живые, щелкая теплом.
А за ними ты оттаешь тоже,
посветлеешь духом и челом.

Ты опомнишься такою легкою,
и ни хворей нету, ни обид,
только море шалое далекое
на груди косынку теребит.

И печет, печет неимоверное
солнце, чтобы детку полечить,
разогреть, как старые и верные
в деревенском доме кирпичи.

***

Строки со сбойными рваными ритмами —
чувствуешь бесится пульс
у человека в момент катастрофы? —
думает он — я еще, мол, вернусь!
Сяду за руль и поддам еще жару —
шепчет — только уже перемолот
как никогда до горячего месива —
боже, как он ослепительно молод!
Сколько уже пропустил
и, наверное, больше не включится
в самое лютое и грозовое,
самое быстрое вброд и в распутицу...
Нет, не понять: это сон или нервы
проводкой дрожат послетоково -
было же чудо! оно мимоходом летело,
и снова кругами да около...
Чем же теперь затушить,
прекратить это колкое пьяное жжение,
сильное и бесконечное
сердца и памяти злое пустое кружение?
Только глаза ее в сторону
вспыхнут счастливо и влажно -
мы, мол, увидимся снова ли? —
тут или там ?– да неважно.

***

По зеленой-зеленой траве
Разливались волос золотые ручьи.
Двести родинок — это внове! -
Но они не твои, и ничьи, и ничьи.

На каленый-каленый асфальт
Променяешь и шелест, и смех на лугу.
Запоет в переходе простуженный альт...
Мне б остаться... но нет, не могу, не могу.

Зашипят под дождем фонари,
Как упавшие луны в Неву.
Не убий, не кради, на мосту во хмелю не дури -
Как судьба позову я тебя, позову.

***

Губы, которые трогали плечи, виски -
цедят сквозь зубы.
Ты пропадешь от немой непонятной тоски -
так они грубы.
Руки, которые гладили и колдовать
не уставали,
руки, которые стол и балкон, и кровать -
лживы едва ли.

Песни, которые и колыбель и гроза -
птицы кричали.
Что же ты сразу тогда не сказал
главной печали?

Даром небес целование будет для нас,
лишь прикоснуться -
выпить любовь за один и единственный раз
и разминуться.

***

Ау тебе, роща из черного кружева,
Стоя у зеркала вод,
ау — одинокое юное мужество,
трусость наоборот.

Ау — а подруг запоздало смущение:
Сдрейфишь, слабачка? — Смотри.
Губу закусив — через рощу осеннюю,
зыбкие фонари.

Ау... Все кто любит, прошу без обмана,
каждая жилка дрожит.
Я кулачок зажимаю в кармане:
страшно, и хочется жить.

Ау, незабвенные! Видимо вески
страхов ночных кандалы,
и те, кто качает во тьме занавеской -
кем вы хотели прослыть?

Ау — в черном кружеве лунное марево,
свист нереальный в ночи.
И я ухожу, и глаза мои карие
солоны и горячи.

У: ПРОЗА

Анастасия Астафьева, Вологда

Змей будет жалить тебя в пяту

То было первое лето, проведенное нашей невеликой семьей — я да мама — в деревне. В гости к нам часто приезжала моя троюродная сестра.

Вместе с нами мама обходила все прежде знакомые местечки, где она таким же подростком играла, живя на летних каникулах у деда с бабкой. Тогда у стариков собирались внуки и внучки всех возрастов, которые пасли коз, месили ногами навоз на колхозной конюшне, купались вместе со свиньями в грязном пруду, бродили по перелескам... Теперь мама с тоской посматривала на давно проданный дом. Кто бы мог подумать, что через четверть века ее потянет вдруг в родные места! Все это она рассказывала нам с сестрой, водила в повзрослевший лес, искала и показывала нам старые тропы и дороги, видимо, стараясь через наши детские эмоции воскресить свои, давно смолкнувшие, потонувшие в прожитом.

Так забрели мы славным солнечным утром на старую дорогу, когда-то ухоженную и широкую, выводящую через лес к большаку. Теперь выезд был с другой стороны деревни, через поле. Там стояла ржавая железная остановка, и после проехавшей машины пыль густым облаком наносило с большака на дома и огороды.

Старая дорога вся заросла разнотравьем, высокими кустами и уже подпиравшими небеса деревьями.

Мы ели спелую крупную землянику, спрятавшуюся среди лесных цветов и духмяных трав, собирали букеты, а в сыром месте с изумлением увидели несколько скромных бледненьких цветочков ночной фиалки. Под жарким солнцем она не пахла так, как по маминым рассказам должна была. Белым, едва ли не прозрачным, на высокой светло-зеленой ножке соцветиям фиалки необходима была вечерняя роса, наползающие из-под елей сумерки приближающейся ночи. Только тогда она начнет источать великолепный сильный, но не приторный, не дурманящий запах. Тем более странным было, что ее ближайшая родня, такая же фиалка, только с фиолетовыми соцветиями, не пахла вовсе, ни днем, ни ночью.

Мы миновали сырую низину, вновь поднялись на лесной пригорок, маленькую опушку, заросшую тесно жмущимися друг к другу юными сосенками. Здесь было раздолье для маслят, которые мостами стелились под колкими, низко склоненными к земле ветками. Три пары наших рук быстро собрали в общую корзинку коричневые склизкие шляпки. Внезапно на опушку выскочил бурундук, наш радостный вопль так испугал бедного зверька, что он взметнулся на высокую ель, и больше, как ни таились, мы не увидели его.

Среди зарослей завиднелся просвет, и близкий лай собак подсказал нам, что старая дорога скоро закончится, и мы выйдем на зады деревни, где пасутся в загороде коровы и овцы.

Но внезапное живое препятствие заставило нас замереть. Сперва послышалось лишь тихое шипение, и мы не сразу, но разглядели в заросшей дорожной колее черную змею. Она свилась кольцом и лишь приподнимала острую голову с раздвоенным языком, едва заметно раскачиваясь в нашу сторону. Сестра вскрикнула и отшатнулась, отбежала подальше назад. Заметив движение, змея тут же зашипела громче и вытянулась вверх, стала раскачиваться заметнее. Мы оцепенели от первобытного страха.

Тут только я вспомнила, что при мне была гладкая длинная палка, с резной, мною раскрашенной ручкой. Я всегда ходила с ней в лес, мне казалось, что настоящий грибник обязан ходить с палкой, хотя, на самом деле, она создавала лишние неудобства: мешала срезать грибы.

Как только я вспомнила о ней, ко мне вернулись силы. Я растормошила маму и сказала, чтобы она отбросила змею с дороги палкой. Но только мы зашевелились, заговорили, замершая было змея, вновь агрессивно вытянула голову и даже чуть подползла в нашу сторону.

- Уходи! — закричала мама. — Что мы тебе сделали? Мы не трогали тебя! Уползай отсюда!

По ее голосу я с невольным удивлением поняла, что она очень перепугана. Наверное, всегда странно ребенку узнавать слабости родителей, открывать, что и у них бывают страхи, слезы, неудачи.

Видимо, страх подстегнул маму, и она со всей силы ударила по змее. Черное длинное тело извилось от боли и злобы, на мгновение оплело палку. Мама с криком отбросила змею вместе

с нею. Но змея тут же пружинисто встрепенулась и зашипела непримиримо. Мама отчаянно подхватила с земли брошенную палку и стала лупить по змее, выкрикивая:

- Вот тебе! Вот тебе!

Змея шипела, извивалась, выкручивалась. Удары часто не попадали по ней, лишь взрывали песок вокруг.

Мне казалось, что это длится уже час, а то и два. Сестра стояла в стороне, закрыв ладонями рот, сдерживая крик. Мамино лицо исказилось яростью, и это тоже было для меня открытием. Сыпались частые резкие удары, ее рука, сжимающая палку, уже уставала, слабела. Но черное тонкое тело, очень походящее на короткий шланг, уже не сопротивлялось, уже смялось, скомкалось, смешалось с песком и взрытыми пучками травы.

Все стихло. Мамина рука выпустила палку. Змея не шевелилась, но все же мы обошли стороной то место, где она оставалась.

Шли быстро и молча. Уже кончился лес, и коровы, гуляющие в загороде, любопытно смотрели на нас, пугливые овцы шарахнулись с блеянием.

Мне хотелось плакать. Наверное, маме и сестре тоже.

- Жалко... — едва слышно прошептала я. — Зачем мы ее убили?

- Да. Жалко, — сказала мама. — Но она же не пропускала нас.

- Но мы могли обойти ее, вернуться назад... — робко вставила сестра.

- Говорят, что если убьешь змею, с тебя снимается сорок грехов...

- А вдруг у нее детки там были, — всхлипнула я, — поэтому она так и защищала... гнездо свое-о-о!

Мы снова замолчали. Настроение у всех было испорчено окончательно.

Весь вечер мы переглядывались виновато, запоздало просили прощения у убитого нами живого существа. Пусть и у змеи, пусть и у гадюки...

Никто из нас больше никогда не ходил старой дорогой, хотя там росла крупная сладкая земляника, было много грибов. Палка, которой была забита змея, скоро потерялась.

Не знаю, снялось ли с нас хоть по одному греху, но стыд и отвращение даже сегодня охватывают меня при воспоминании о том случае. По-детски наивно хочется верить, что змея та ожила, уползла к своим детям, вырастила их. Они никогда не ужалили никого, только ловили ночами лягушек да мышей.

Смешно столько лет каяться в том, чем иные люди гордятся, специально забивают случайно встреченных пугливых змей, суеверно подсчитывая снявшиеся с них грехи.

Первородный страх. Первородная вражда.

Змей будет жалить тебя в пяту. Ты — бить его по голове.

Познание

Вот и говорите после этого о каких-то предчувствиях. Весь вечер и до глубокой ночи мы пьянствовали, резвились, прыгали под музыку до потолка... А в это время он там умирал!

Утром, сквозь похмелье, я услышала стук в дверь, неохотно поднялась, открыла. На пороге стояла Людка. Я мрачно взглянула на нее. Как-то так вышло, что весь курс рассорился с ней менее чем за три месяца сожительства, бойкотировал ее. И надо же тому было случиться, что только у нее в комнате было радио, и что именно она пришла 29 ноября 2001 года на порог моей комнаты, чтобы сказать:

- Сейчас по радио передали. У тебя отец умер.

После минутной паузы я ответила:

- Спасибо.

И закрыла дверь. Села на кровати. Встала. Дошла до комнаты Василисы. Настойчиво стучала, пока не донесся до меня ее хриплый голос:

- Сейчас. Подождите.

Дверь распахнулась.

- Папа умер.

Василиса непонимающе смотрела на меня.

- Сегодня утром.

Я вошла. Села на кровать. Василиса пометалась по комнате, потом выскочила из нее, бросив на ходу:

- Сиди тут. Полежи. Не уходи никуда.

Она побежала к Усману, нашему старосте курса, чтобы обсудить с ним то, о чем я на тот момент не знала.

Через полчаса во всех комнатах на нашем этаже была тишина и острое нервное бодрствование моих сокурсников. У меня же в голове складывались какие-то бытовые детали: чтобы лететь на похороны, надо добыть денег. Надо собрать какие-никакие вещи, постирать. А и лететь-то не в чем. У меня только одни светло-голубые джинсы и пара ярких джемперов.

В комнату Василисы снова постучали, снова вошла Людка:

- Людка, у тебя есть стиральный порошок?

- Пойдем. Дам.

В комнату вошли Василиса с Усманом. Оба ревностно взглянули на Людку. Усман молча сел рядом со мной, молча обнял, уткнулся мне в плечо.

- Асья-а, бедная Асья-а-а.

- Аська, — излишне бодро сказала Василиса, — там ребята собрались в коридоре.

Усман протянул мне пачку денег, состоящую из самых разнообразных купюр: мятых десяток, полтинников, сотен.

- Это ребята собрали для тебя.

- Вы с ума сошли! — совершенно искренне возмутилась я и вдруг взорвалась. — Зачем?! Я вас не просила?! Зачем это?!

- Подожди, Аська. Ты бы видела. Они все просто белели и доставали последнее из карманов. Ты не имеешь право это не взять. Никто, представляешь? Никто не отказался. Все просто молча давали.

- У ребят совсем нет денег, Асья-а-а, но они находили и давали-и, — вторил ей Усман, сдерживая слезы. — Может быть, ты не пойде-ешь сегодня на занятия?

- Пойду. Наоборот пойду. Мне так лучше...

Ребята и вправду все собрались на площадке около лифта, молча курили, смотрели на меня. Есенов даже побрился, и Василиса сказала ему:

- Сережка, ты, когда бритый, похож на жопу...

Он и вправду без бороды уже вовсе не походил на осетинского князя, вскружившего мне голову.

В аудитории ВЛК было уж как-то слишком напряженно тихо. Все смотрели на меня, следили за моей реакцией, кто открыто, кто исподтишка.

Подходили ко мне, произносили соболезнования. Я только говорила в ответ: «угу...».

Зашла наша юная командирша Оксана, что-то говорила ребятам по учебе, потом взглянула на меня и позвала к себе.

У нее в кабинете сидел Сорокин.

- Валерьянка нужна? — деловито спросила Оксана.

- Нет. Зачем?

Я была удивительно спокойна, слез не было вовсе. Только внутри что-то остановилось и монотонно тикало, будто пробуксовывая. Это время во мне остановилось.

- Ася. — подошел ко мне Сорокин, протянул листок бумаги. — Вот. Пиши заявление на материальную помощь. Сколько стоит билет?

- Не представляю. Года два назад, на поезде было что-то около тысячи...

- Какой поезд? О чем ты?

- Тогда тысячи три... с половиной.

- Напишешь заявление, зайди ко мне.

Сорокин вышел. Я спросила:

- Что писать?

- Ректору литературного института Есину...

Я постучалась в кабинет Сорокина, вошла.

- Садись.

Я села. Протянула заявление.

- Я знаю, что говорить что-то бесполезно, — заговорил Сорокин, глядя мне в глаза. — Да и стыдно.

- Значит, и не надо.

- Я просто хочу, чтобы ты знала. Теперь об этом можно. Я знаю всю твою историю. Знаю, кто ты. Теперь знает весь институт. Но я хочу, чтобы ты знала еще кое-что. Когда приемная комиссия рассматривала твои документы, все спрашивали меня: кто это. Я отвечал, что фамилия лишь совпадение. Так что ты учишься здесь потому, что действительно очень талантливый человек. А не потому, что дочь Астафьева.

Я подняла на него благодарный взгляд:

- Спасибо вам. Вы сняли с меня огромный вопрос, который меня терзал. Я все думала, позвонил папа или нет. Значит, нет.

- Нет. Ты учишься здесь, потому что достойна этого, может, как никто из твоих сокурсников... Держись.

Сорокин подписал заявление, отдал его мне.

Наверное, многие с курса ожидали от меня слез, истерик, падания в обморок. И им от этого было бы легче. Но я знала, что должна вести себя как-то по-особенному. Да и слез у меня действительно не было. Я даже радовалась этому. И надеялась, что вот так, по-мужски сильно смогу выдержать все, что предстояло мне дальше.

Уже когда я получила в кассе деньги в счет материальной помощи, Людка сообщила мне, что слышала по радио сообщение о том, что Лебедь специально выделил для всех желающих проститься самолет, все будет оплачено. Гостиницы готовы к приему людей.

- Я полечу с тобой! Я хочу проститься с великим писателем. От имени всего курса и института. От имени всех писателей! Кто-то должен это сделать!

Я ненавидяще и устало посмотрела на нее.

- Ждут тебя там... — прошипела подошедшая Василиса. — Аська, тебе будет там очень тяжело. Надо, чтобы кто-то был с тобой.

- Зачем? Это только мое. Оставьте меня хотя бы там одну...

- Ладно. Прости. Но ты же понимаешь, что мы все ежесекундно будем с тобой.

- Знаю. Зачем говорить об этом?

И все-таки я на всю жизнь запомню, как достойно вели себя ребята. Уже ближе к полуночи по телевизору показывали двухсерийный фильм памяти Астафьева. Я попросила принести в мою комнату телевизор, пригласила ребят, кто захочет придти.

Собрались все! Кто-то из парней пискнул что-то вроде: «Надо бы помянуть?» Но его так резко осадили. А я сказала: «Пока человек не в земле, никакой выпивки. Вот. Есть чай и рулеты. Пейте и смотрите фильм. Это будет лучшими поминками...»

Они, пятнадцать человек, сидели на моих двух кроватях, на полу, и никто не смел шелохнуться, размять затекшие ноги. Редко, кто-то робко тянулся за чашкой чая, я протягивала им кусочки рулета. Я знала, что они все безумно голодные и смертельно хотят спать. Фильм закончился в третьем часу ночи, но никто, никто не ушел!

Была еще ночь. Зимняя. Длинная. Но я спала, и спала спокойно, крепко. Потому что все уже случилось. Это от ожидания спать невозможно. А когда уже все случилось, и настают редкие минуты обостренного восприятия реальности, спать, оказывается, можно.

Утром я скидала на кровать вещи и сказала Василисе:

- Мне не в чем ехать.

- Надо срочно бежать на рынок.

- Когда? — вдруг истерично воскликнула я. — Мне через полтора часа надо быть на «Тверской»! Мы с Литвяковым договорились там встретиться!

- Успеем.

И мы понеслись на рынок. На рынок, до которого обычно доходили за полчаса, мы дошли, нет, не добежали, а дошли за десять минут. Было ужасно холодно и серо. Найти джинсы на меня огромную, толстую было невозможно. А еще мне вдруг показалось, что весь рынок завален ярким цветным тряпьем.

Мы обошли два, а то и три десятка палаток и я, уже в абсолютной истерике, орала Василисе:

- Тут нет ничего! Все!!! Я полечу, в чем есть!

- Аська! Прекрати истерить.

Продавцы с интересом поглядывали на нас.

- Вот! — воскликнула вдруг Василиса. — Это то, что тебе надо!

И, не дожидаясь продавца, сдернула с вешалки темно-синий свитер с высоким воротом.

- Он синий!

- Он темно-синий!

Я уже доставала деньги.

- Но джинсы мы точно уже не купим! — орала я, идущая метровыми шагами вдоль палаток впереди семенящей за мной Василисы.

- Послушайте! — остановилась она у самой крайне палатки. — Нам нужны джинсы. Вот на эту девушку. Они нам очень нужны.

- Не-ет, — смерил меня взглядом продавец. — На нее ничего нет.

- Ну вот! Я же тебе говорю! Умоляю тебя, пойдем отсюда!!!

- Они нам очень нужны! — заорала в свою очередь подруга.
- Кажется, у меня что-нибудь найдется, — выглянул из соседней палатки другой продавец.

Я разделась, стояла голыми ногами на ледяном полу, а они вдвоем надевали на меня темно-синие джинсы.

- Они мне длинны? Неужели ты не видишь?!
- Прекрати! Они тебе отлично!
- Ну что это такое? — трясла я болтающимися ниже пяток штанинами. — Ты издеваешься? Когда я буду их подшивать?!
- Вот так подогнешь, и все! — Василиса завернула длинные штанины на моих ногах и отняла у меня деньги, расплатилась с продавцом.

Я сдалась.

Когда мы были в моей комнате в общежитии, и сумка была уже собрана, времени до отъезда оставалось еще полно. Я обняла подругу:

- Спасибо, что вытерпела меня.
- Э-э, когда мы отца хоронили, я еще не так истерила. И меня еще не так откачивали. — И она протянула мне пачку носовых платков. — Вот. Специально купила. Пригодятся.
- Зачем?
- Лучше спасибо скажи.

Она проводила меня до метро, и стояла у турникета, пока я не скрылась в глубине, на ступеньке эскалатора.

Я вышла из метро на Тверскую. Литвяков с Борей уже ждали меня. Литвяков старался улыбаться и шутить, а в глазах его подло поблескивали слезинки. Они долго спорили, ехать ли нам в аэропорт на такси, но потом поняли, что из-за пробок это будет дольше. И решили ехать на метро. Литвяков сидел, вцепившись в свою сумку, и беспомощно поглядывал на окружающих. Борька стоял рядом со мной, осторожно гладил мою ладонь на поручне:

- Вот, Аська. Теперь ты совсем взрослая стала. Я повзрослел только, когда похоронил отца. Почему-то именно отца... И еще. Я знаю, что тебе это вовсе не нужно. Но никуда от этого не деться. Пойми, это не Михаил Сергеевич везет тебя на похороны, а ты его. Он как ребенок, ты же знаешь...

Мы оба взглянули в широко распахнутые растерянные глаза Литвякова, и я согласно кивнула.

- Держись...- тихо добавил Борька.

Он посадил нас в маршрутку. И мы остались вдвоем. Литвяков держался за мою руку, словно ребенок, боящийся потеряться. Мне это придавало сил...

В аэропорт мы приехали очень рано, и там я подумала, что зря так недостойно суетилась утром. Впрочем, какая разница. Мы встали где-то в сторонке, и я никак не понимала, почему мы никуда не идем.

- Дождемся Лаврова. Он с нами полетит.
- Какого Лаврова? — недовольно спросила я. — Того самого?!
- Да. Того самого. Я ему сказал, кто ты. Так что расслабься.
- Зачем вы ему-то сказали?!

Какое там расслабиться! Я знала Лаврова, как известнейшего актера, но актера, к коему я никогда не испытывала теплых симпатий, которые, бывало, возникали у меня к другим киноактерам. У меня в памяти отчего-то застряли его партийно-космические роли, мне он казался этаким баловнем судьбы, вычурным аристократом. И я с ужасом представила, что вот сейчас, во всей этой ситуации он начнет говорить громкие красивые слова, что будет море пафоса, гордой осанки, скорбных интервью. О нет! Оставьте меня одну!

Милый, бесценный мой, родной мой Кирилл Юрьевич! Если бы я в ту минуту знала, что вы сделаете для меня в те сутки! Если бы я знала вас!

Я мялась в ожидании этой напряженной встречи. И вот к нам подошел высокий (отчего-то все те сутки мне казалось, что он очень высокий!), по-старчески сухой, очень худой человек с таким знакомым лицом. Он поздоровался с Литвяковым и встал прямо напротив меня, очень близко, и совершенно прямым пронзительным взглядом посмотрел мне в глаза.

- Здравствуйте, — выдавила я и, стыдясь, старалась прятать взгляд.

А он все смотрел на меня, и я вдруг почувствовала, как с меня, словно чужая кожа, сползает что-то тяжелое и темное.

- Ну, здравствуй. Ася! — сказал он со светлой улыбкой. Сказал голосом человека, который все видит, все понимает...

И с этой минуты у меня появилось, впервые в жизни! рядом появилось настоящее мужское плечо, на которое можно было опереться в тяжелейшую минуту. С одного взгляда этот, совершенно чужой мне человек, сделался мне совершенно родным...

До регистрации рейса еще была уйма времени, и мы, уже втроем, пошли в кафе.

Завидев Лаврова, официанты засуетились, посадили нас за дальний отдельный столик. И это было нам очень кстати, подальше от любопытных глаз.

Официант принес скромный заказ, немного водки. Что-то говорил Лаврову о том, как все его любят и уважают, и Лавров с усталой благодарностью кивал ему, но когда попросил пепельницу, официант впал в ступор:

- Извините, но у нас не курят.

- Даже в виде исключения? — тихо и спокойно спросил Лавров.

- Извините. Мы не можем сделать исключение даже для вас.

- Ну как же так... — еще спокойнее посетовал тот.

Обескураженный официант ушел.

Мы старались не говорить о причине, соединившей нас. Мужики мои пили за здоровье. Я пить отказалась. Колупала ложечкой мороженое. Время шло очень медленно, разговоры были отрывочными, деловыми.

Я то и дело ловила на себе обжигающий серьезный взгляд Лаврова, от которого мне делалось одновременно и жутко, и тепло. Снова пришел официант. Принес книгу жалоб и заявлений и попросил оставить автографы.

Лавров хитро взглянул на меня и сказал, как отрезал:

- Ну, писатель, давай. Напиши им что-нибудь. А мы подпишемся.

Я похолодела. Написать какую-то банальщину, значило бы упасть в грязь лицом перед этим человеком, а ловкости мысли я от себя в тот момент не ожидала.

А деваться было некуда. Такой вот смешной мне выпал экзамен!

И все-таки я написала, целую страничку, вышло даже иронично. Что-то о том, как кафе аэропорта «Домодедово» посетили «представители Санкт-Петербургской культуры» и остались недовольны тем, что «им не дали выкурить трубку мира».

Литвяков прочитал и сказал свое вечное, бравурное:

- Достойно! Посмотрите как достойно!

Лавров прочел, улыбнулся и подписался.

Экзамен я выдержала.

Александр Иванович Лебедь сделал великое дело, выделив самолет. Но его подвели информационные агентства, которые слишком поздно сообщили об этом. И в огромном самолете нас летело человек десять.

Мы знакомились прямо в салоне. Здесь был какой-то художник с женой, писатель Крупин, трое нас, еще кто-то, не помню уже сейчас, кто, и две журналистки. Одна из которых смертельно раздражала меня, да, наверное, и других, все время.

Она не заткнулась ни на секунду! Лезла ко всем с вопросами, кто вы и откуда, кем вы приходились Астафьеву. Причитала. Роняла шубу. Скакала по салону. Подсаживалась ко всем по очереди. По-моему, она ежесекундно забывала, куда и зачем летит, вдруг вспоминала, спохватывалась, причитала и опять забывалась и шумела.

А когда она основательно уселась рядом с Лавровым, я готова была ее убить.

- Дорогие друзья! — воскликнул вдруг Литвяков. — Давайте не будем плакать! Мы еще успеем наплакаться! Будем пить за жизнь, ведь Виктор Петрович, как никто, любил ее. Эту жизнь!

А в глазах его все так же предательски сверкали слезы.

Принесли вино. Все пили. Общались, стараясь не думать о том, что будет через четыре часа, когда самолет приземлится.

Шумная журналистка все терзала Лаврова, кокетничала с ним, взвизгивала. Он иногда отвечал ей, но все чаще посматривал в иллюминатор.

Я не выдержала:

- Господи! Ну оставьте же вы человека в покое.

- А что такое? — обернулась она ко мне. — Мы хорошо беседуем!

Лавров не обернулся, не поддержал меня взглядом, и я решила, что зря сунулась.

Мы о чем-то разговаривали с Крупиным. Пили вино.

Вдруг художник стал передавать всем газеты, они быстро разошлись по рукам. Досталось что-то и мне. Я раскрыла газету, увидела траурные заголовки и только в этот миг я впервые за последние два дня заплакала. Впервые что-то внутри меня сжалось и физически заболело.

Но я знала, что уже завтра прикоснусь к его остывшей руке, приникну губами к холодному лбу, прошепчу ему все, что хотела прошептать. И мне станет легче. Я сделаю то, зачем летела...

В Красноярск мы прилетели в два часа ночи. Все были усталые и притихшие. Долго ждали машину. Потом ехали по спящему темному городу.

Я знала, что сзади, в тихом сумраке машины вместе со мной едут сын, внук и невестка Астафьева, прилетевшие из Вологды. Я и хотела, и не хотела, чтобы они меня узнавали.

Они тоже этого не хотели.

Гостиница. Душ. Кровать.

Утро...

Холодное и серое. Снежная крупа и пронизывающий ветер. Лед под сердцем.

Гроб стоял на втором этаже Красноярского краеведческого музея. Вереница людей была действительно бесконечна. Она брала свое начало в гигантской толпе жмущихся на площади людей и текла, текла по этажам музея, по лестнице, по траурному залу.

О, эта лестница. Эти ступеньки...

Я поднималась по ним и совершенно не осознавала в тот миг, что меня ждет.

Я несла под сердцем сжавшуюся пружину, которая, знала, вот сейчас, вот через несколько ступенек, еще через несколько шагов, должна будет распрямиться, вонзиться в сердце острой болью.

Еще шаг, еще один шаг, еще... и я подойду к нему, и обниму его тело, и буду шептать. шептать... И боль будет уходить с каждым произносимым онемевшими губами словом.

Последний шаг.

Гроб стоял посреди зала.

Пружина распрямилась.

Боль вонзилась в сердце.

Я же была уверена, что не заплачу!!!

Рыдания волнами прокатились внутри и хлынули наружу совершенно неостановимо. Я пыталась дышать, но захлебывалась ими.

Литвяков оттащил меня в соседний зал, где никого не было:

- Прекрати сейчас же! — говорил он сквозь собственные слезы. — Возьми себя в руки!

- Мне нужно туда... к нему...

- Нельзя!

- Но почему?!

- Прекрати! Ты привлекаешь слишком много внимания!

- Кому тут есть до меня дело?!

- Всем!.. Стой тут. К гробу тебя все равно не подпустят!

Я рыдала, спрятавшись в пыльный угол, среди какой-то старинной утвари и прялок.

Литвяков уходил и приходил.

- Мне нужно подойти к нему... Я не могу больше...

- Там Марья Семеновна, все родные! — шипел на меня ревущий Литвяков. — Как ты им объяснишь, кто ты?!

Я рыдала тише. Да. Да. Я никому ничего не смогу объяснить. Но разве я должна?!

Мне нужно было к нему, иначе, пружина, все сильнее врезавшаяся в сердце, просто разорвала бы его!

Папа!!!

Я рыдала все тише. Медленно вышла в зал. Снова увидела его в гробу: у него было такое мягкое, такое расслабленное лицо...

Папа. Господи, как ты устал!

И опять волны заходили в груди. И опять хлынули из глаз слезы. И опять Литвяков оттирал меня в соседний зал:

- Ты простишься с ним на кладбище. Слышишь? Там все будут прощаться. Там можно будет подойти. Чтобы тебя никто не заметил!

- Да. Да...

Я осиротела на этих похоронах, как никто!

Я искала глазами в толпе хоть какое-то знакомое, родное лицо. Хоть кого-то, к кому могла бы подойти за поддержкой. Не за стенаниями и жалобами, не за пустым сочувствием, а за твердым пожатием руки, за прямым взглядом строгих скорбных глаз! То и дело мне попадалась безумная журналистка. Она даже тут не заткнулась ни на секунду! Все суетилась, все лезла к кому-то...

Я была знакома только с двумя людьми в этом городе. Еще со времени поездки к отцу.

И вот я увидела одного из них! Я кинулась к нему. Он же возил меня тогда по Красноярску, водил по музеям, рассказывал о городе и об отце!

- Здравствуйте! — на одном выдохе.

Холодный взгляд мимо меня. Рядом с ним стоит Лебедь, мэр. Охрана настойчиво отстраняет меня от них.

Но он меня и не хотел узнавать. Смотрел холодно и почти ненавидяще.

Я была лишней!

И снова пыльный угол, прялка, решето, плетеные туеса... Мое место здесь. Я рыдала и гладила рукой глянцево вытертое колесо прялки.

Какой-то старик в веренице идущих мимо гроба людей плакал отчаянно и вдруг закричал:

- Господи!!! Да как же жить-то?! Господи!!! Как же жить-то, когда такие люди умирают!... Люди!!! Как же жить-то можно?!!!

- Он уже по третьему кругу идет, — услышала я со стороны охраны. — Надо бы его убрать.

Я вышла в зал.

Папа! Да как же они могут?!

Обмякшего старика подхватили и вывели из зала. Я их ненавидела.

Литвяков сунул мне в руки маленькую камеру:

- На вот. Отвлекись. Меня ставят в скорбный караул у гроба. Сними.

Я машинально взяла камеру. Снимала. Литвяков стоял у гроба, плакал.

Минута, две, три.

На его место встал Лавров.

Кирилл Юрьевич! Вы! Где вы были?! Почему вы оставили меня?!.. Да. Да... Вам же тяжело. Господи, как я могу лезть к ним ко всем! Здесь же у каждого свое горе. А я все лезу, лезу...

Но я помнила его взгляд в аэропорту, и мне становилось легче.

Лавров не плакал. И никого не видел вокруг. Лицо его было словно посмертная маска. И остановившийся взгляд был страшен. Там, в сокрытой глубоко внутри от чужих глаз душе, рушился мир, иссякала жизнь.

И это была совершенно неподдельная, достойная мужская скорбь. И сила духа.

И мне становилось легче от этой его силы.

Я уже знала, что я не одна...

Лавров медленно, чуть пошатываясь, отошел от гроба, пошел из зала. Высокий, прямой, с высоко поднятой головой.

Я тихой тенью скользнула за ним.

И больше уже не отходила от него. Старалась, как можно меньше попадаться ему на глаза, но всюду следовала за ним.

Его перехватили на выходе из музея репортеры.

Он говорил спокойно. Никакого пафоса. Самые простые человеческие слова. И все тот же взгляд внутрь себя. Он просто нес этот крест своей общественности, который ему не давали оставить даже здесь, сейчас. Он говорил, колкий снег сыпал ему в лицо, и я поражалась, что ни одна черточка на его лице не дрогнула, ни один мускул!

Отделавшись от репортеров, он вдруг сам подошел ко мне, молча встал рядом. И я была бесконечно благодарна ему за это молчание.

Мы долго стояли рядом на холодном ветру. Молчали. Пока его кто-то снова не увел в сторону. Он коротко скользнул по моему лицу чуть виноватым и очень усталым взглядом.

Родной мой человек!

Когда шли по овсянковской улице вслед за гробом, он специально отстал. Он никуда не лез. Не шел впереди толпы, где шли все сильные мира и города сего, хотя его место было там, среди них. Он старался смешаться с простыми людьми и очень не хотел, чтобы его узнавали.

Конечно же его узнавали, но никто, никто! из простых людей к нему не лез. Лезли только репортеры. И он все так же спокойно сносил свою миссию.

Я тихо шла рядом с ним. Рядом с ним я не смела плакать. Да и слезы ушли куда-то глубоко, затаились до времени.

У дома Астафьева процессия остановилась. В дом было разрешено зайти только самым-самым. Я уже и мечтать об этом не смела. Но Лавров отчего-то тоже не шел. Хотя его звали, звали настойчиво.

- Идите, Кирилл Юрьевич, — тихо сказала я ему.

Он молчал и не двигался.

- Ну, идите же! — почти взмолилась я. — Вам-то можно! — я осторожно подтолкнула его ладонью в спину, и он пошел.

Пусть хоть он зайдет в дома отца, за меня, за всех...

Гроб пронесли по дому, через огород, вынесли в ворота, и процессия двинулась к церкви.

Ветер все усиливался, тянуло стылой сыростью с Енисея, словно мелкой дробью сыпал в лицо снег.

Но я совсем не ощущала холода.

В церковь, где отпевали Астафьева, вошли только родные, и пролезли репортеры. Литвяков со своей камерой тоже просочился туда.

Толпа овсянковских жителей сгрудилась на крохотной площадке около церкви.

Люди плакали тихо и скорбно. Переговаривались и сдержанно курили мужики, не матерились. Маленькие жители села встревоженно тянули головы, пытаясь выглянуть из-за спин взрослых, увидеть творящееся действо. Перетаптываясь усталыми больными ногами, стояли терпеливые старухи, промокали концами платков глаза, слезящиеся то ли от ветра, то ли от общего горя, соединившего всех в единое целое на этой продуваемой ледяными порывами с Енисея улице.

Я встала на самом краю.

Отпевание было недолгим, но и тех тридцати минут на декабрьском ветру, под хлесткими, колкими крупинами снега, которые несло с реки, хватило, чтобы продрогнуть окончательно и начать мрачно сравнивать воздух этот с холодом могилы.

На промозглой декабрьской улице монотонно и невыносимо тоскливо бил колокол, один-единственный на деревянной невысокой колоколенке. Звук его пронзал до мозга, словно иглой, пробирая до дрожи, до костей, как ветер с Енисея, с реки, которая из-за построенной на ней ГЭС, не замерзает вот уже много-много зим...

И снова Лавров стоял с самого края.

Две женщины осторожно посматривали на него. Он конечно же совершенно продрог в своем кожаном плаще, в осенних ботинках на тонкой подошве.

И женщины жалостливо поглядывали на него.

- Что же вы на самом-то ветру, Кирилл Юрьевич? — тихо обратилась к нему одна из женщин. — Пальтишко у вас холодное. Растолкайте людей-то, в середку зайдите, туда, там теплее, вас прикроют. Ветер-то с Енисея, злой.

Лавров благодарно взглянул на женщину, но беспокоить людей не стал. Она перестала упрашивать его, а просто встала со спины, прикрыв собой от порывов ветра:

- Мы-то привычные... А вы простудитесь. Встаньте в середку...

На женщине этой было потертое драповое пальто, вязаная шапочка и сильно изношенные сапоги. Сама она вся до костей промерзла, прозябла, да только куда важнее было ей сейчас оберечь другого человека от страданий, облегчить их хоть на кроху, поддержать робко, сил своих, пусть немногих, придать. Лишь бы кому-то стало легче.

- Мы-то привычные... — шептала она застылыми губами.

И вдруг я увидела, как с крыльца церквушки почти скатился перепуганный, растерянный Литвяков. Он заметался перед толпой, все ища кого-то глазами. Мне вдруг показалось, что он выкрикивает мое имя. Но я решила, что ошибаюсь и не стала пробираться к нему.

Он еще пометался, покричал, повесил голову и медленно вернулся в церковь...

Подошли автобусы. Народ потек к ним. Но трех машин не хватило для всех желающих, и я, замешкавшись, едва не осталась. Увидела среди людей второго и последнего человека, к которому могла сейчас подойти за поддержкой. Это была директор овсянковской библиотеки. Я рванулась к ней:

- Здравствуйте...

Она посмотрела на меня невидяще.

- Вы меня не узнаете?

- Я сейчас никого не узнаю, — выдавила она и отошла от меня.

Лицо мое загорелось, словно от пощечины. Опять я лезу туда, куда меня не просят...

Я заскочила в закрывающиеся двери последнего автобуса, и меня посадили только потому, что я сунула кому-то под нос писательское удостоверение!

Я ехала на ступеньке и все успокаивала себя, что вот, сейчас, на кладбище я все-таки, наконец, подойду к отцу, наконец, смогу дотронуться до него. Наконец, мы останемся на секунду один на один.

Могилу со всех сторон обступили сильные мира сего. На самом краю стоял Лебедь, с ним еще кто-то. Охрана никого не подпускала. Старухи стояли поодаль и жаловались друг другу:

- Да как же это? Мы с ним всю жизнь прожили. Он для нас самый родной человек, и они нас не пускают проститься. Да как же это?...

Я все ждала, ждала, и в душе уже начинало подниматься какое-то необъяснимое смятение. Ну когда же?!

- Опускайте...

Слово это наотмашь резануло мой слух.

КАК? ОПУСКАЙТЕ?! СТОЙТЕ! НЕТ! Я ЖЕ С НИМ НЕ ПРОСТИЛАСЬ! Я ЖЕ НЕ ПОЦЕЛОВАЛА ЕГО ПРОЩАЛЬНО! Я ЖЕ НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛА ЕМУ!!! ПАПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я ринулась к могиле. И, увидев мое обезумевшее лицо, охрана вдруг расступилась. Лебедь отступил, поскользнулся на комьях земли.

Гроб уже был внизу.

Я хватала мерзлые комья земли и кидала их туда, вниз, хватала и кидала, хватала и кидала, повторяя в исступлении:

- Тебе, батя. Тебе, батя. Все, что могу. Тебе...

В какой-то миг я очнулась, так же резко развернулась. Снова отступил Лебедь. Снова расступилась охрана.

Я помчалась на другой конец кладбища. Слезы снова душили меня, лились сплошным потоком.

Я пробралась по глубокому снегу, опустилась на какую-то оградку. И плакала, плакала...

- Папочка! Миленький. Папочка! Если ты видишь, если ты знаешь, что я здесь, дай мне знак. Умоляю-у-у!!! Папочка. Дай мне знак. Умоляю-у-у...

И вдруг над самой моей головой резко застучал дятел. Я перестала дышать. Прошелестела сухая трава у моих ног. Дятел снова застрочил. Я подняла голову. Нашла его глазами. Это была желна — черный дятел.

По дороге от могилы в мою сторону шли пожилые муж с женой. Они дошли до меня. Я увидела у них в руках свечи. Их было двое, а свечей было три.

Они остановились около меня, посмотрели печально.

- Как плачет... — тихо сказала женщина, взглянула на мужа, взяла из его рук одну свечку и протянула мне. — На тебе, Ангела-хранителя...

Я благодарно приняла свечу, и внутри меня все утихло. Моментально высохли слезы.

- Спасибо, папочка, — прошептала я просветленно. — Я поняла...

Зажала свечу в руках и сидела так еще долго. Одна. В тишине деревенского зимнего кладбища.

После были большие официальные поминки. Много разных слов. Много водки. Много закуски.

Там, на поминках Литвяков покаялся передо мной. Он был уверен, что на кладбище тоже будет прощание, и когда в церкви решили гроб больше не открывать, действительно бросился искать меня. Действительно метался перед толпой. Действительно звал меня...

Что уж было теперь говорить. Осколок пружины застрял в моем сердце навечно...

И весь этот день мать моя, далеко в Вологде, ходила по городу в моей старой куртке. И она потом рассказала мне, что куртка эта словно бы стала для нее моей кожей. Она целый день ходила по городу в моей коже. И плакала...

Все было позади. Мы возвратились в гостиницу. Собрались в номере, где поселили Лаврова с Литвяковым. Там была удобная кухня, с большим столом.

К моему неудовольствию, за нами увязались обе журналистки. Но одна из них оказалась женщиной умной и спокойной. А вторая, наконец-то, к вечеру утомилась сама от себя и чуть притихла.

Приехал мэр города. Из буфета принесли каких-то разносолов.

И теперь это были тихие частные поминки.

Мы сидели за столом, говорили, Литвяков то и дело хватался за камеру. Ну да куда от него денешься? Режиссер он и на поминках режиссер. Бог с ним...

И снова я ловила на себе умный строгий взгляд Лаврова.

Наконец, он растолкал всех и сел рядом со мной. Взял меня за руку и все смотрел, смотрел на меня. И вдруг выдохнул:

- Господи, как ты на него похожа...

Присутствующие переглянулись.

- Да, да, — счастливо улыбаясь, сказал Литвяков. — Перед вами сидит дочь великого писателя.

- То-то я все смотрю прищур какой-то знакомый! — воскликнул мэр.

- И не просто дочь! — несло Литвякова. — Она пишет. И очень талантливо. И учится на Высших литературных курсах, где почти полвека назад учился отец!

Я укоризненно посмотрела на Литвякова и уже не знала, куда деваться от пристального внимания к себе.

Посыпались вопросы, фальшивые улыбки. Я что-то отвечала, как-то улыбалась.

И только Лавров сидел молча и все смотрел на меня. Потом стал что-то говорить мне, и мне было жаль, что эти слова слышит еще кто-то кроме меня. Потому что я знала, что они совершенно искренни, а перед всеми этими чужими людьми они выглядели театрально. И мне при-

ходилось смущенно улыбаться. И мне так хотелось остаться с ним один на один и рассказать все как есть на самом деле. Все, что со мной было. Говорить, говорить с ним об отце...

А он все повторял:

- Как ты на него похожа...

А остаться наедине нам не давали еще долго.

Первым уехал мэр.

Наконец, отчалили и журналистки.

Но бедные мужички мои уже были к тому времени изрядно пьяненькие.

Лавров как-то сразу смялся, сделался вдруг маленьким, страшно усталым и постаревшим.

Мы тихо, одними глазами улыбались друг другу через стол. Литвяков вязался к нему с совсем неуместными фестивальными проблемами. Ну что с ним поделаешь, директор кинофестиваля и на поминках оставался директором. Бог с ним... Кирилл Юрьевич согласно кивал ему и молчал. А мне все хотелось обнять его, прижаться к нему.

Но уже был третий час ночи, и я знала, что Лаврову вставать в шесть часов, лететь в Питер, где ему снова надо будет выпрямиться, поднять голову.

А пока он сидел рядом, смотрел слезящимися глазами и очень много, и очень красиво курил.

- Кирилл Юрьевич. Вам надо ложиться. Вы завтра не встанете.

- Встану. Мне так не хочется уходить...

- Мне вас жалко...

- Я еще немножко посижу. Совсем чуть-чуть...

В три часа я поднялась из-за стола:

- Кирилл Юрьевич, я вас умоляю, пойдемте, я вас уложу. Уж со мной-то вы пойдете? — кокетливо прищурилась я.

- С тобой пойду, — поднялся он. Качнулся.

Я подхватила его, приобняла и ощутила вдруг всю старческую хрупкость и легкость его тела. Всю его смертельную усталость. И подумала вдруг, что вот таким же старым был отец...

Лавров еще остановился в коридоре, смотрел на меня, вдруг осторожно провел сухой теплой ладонью по моей щеке.

Как я не хотела, чтобы он улетал завтра, ведь мы оставались еще на день. Он был мне так нужен в этот день. Но я видела, что он уже вовсе обессилен, и настойчиво провожала его отдыхать.

Я представляла, как он встанет рано утром, еще в ночной темноте, будет одеваться, кашлять, как поедет в пустой машине в аэропорт, как будет лететь в самолете, как сойдет с трапа уже совсем другим: подтянувшимся, с прямой спиной, с твердым взглядом спокойных, мудрых серых глаз.

А пока еще была ночь, и может быть, он даже плакал там, в темноте и одиночестве спальни...

На следующий день я хотела попросить Литвякова заказать машину, чтобы съездить на кладбище, но он сам догадался. Полтора часа нам пришлось ждать в машине, потому что у могилы были родные: жены, сын с невесткой, внуки...

Когда они уехали, я подошла к могиле. Почему-то, как мужчина, сняла с головы кепку. А слова не шли. Они перегорели вчера. И я маялась около светлого креста, который едва выглядывал из горы венков.

- Вот, папа... Я постараюсь... Ты только помогай мне, как сможешь. И прости мне все. Прости, если буду когда-то слабой... Ты только помогай мне...

Обняла крест. Постояла еще около. Набрала в пакетик земли с могилы и пошла, злясь на собственную сухость и бесчувствие.

Был еще целый день впереди. Я опустошила холодильник, в котором словно специально, да и на самом деле специально, было приготовлено много разнообразного спиртного, в небольших бутылочках. Я хотела и не могла опьянеть. Такого невероятного спокойствия и тишины в душе я не испытывала никогда. Это была пустота... Поздно вечером, почти ночью я звонила кому-то, кому хотела сказать, что все позади, что у меня все хорошо...

Выключила свет. Легла.

В окно спальни проникал свет уличных фонарей.

Внезапно они все разом погасли. Я встала, подошла к окну. На улице и во всей гостинице не было света. Мне стало как-то не по себе. Но я постаралась взять себя в руки. Легла. В свою любимую позу: на живот, руки под подушку. Мне было темно и жутко.

И вдруг в этой пустой гостинице, где я за два дня на своем этаже не встретила ни одной души, я отчетливо услышала смеющийся мужской голос. Так смеялся только отец.

- Господи... Аська, не сходи с ума. Спи...

Глаза я закрыла, когда на часах было без десяти два.

И вдруг, через закрытые глаза я увидела, как из сумрака комнаты в спальню очень медленно выходит крупный кот. Не огромный, но довольно большой. Смотрит на меня немигающим взглядом.

«Откуда в гостинице кот? А как он пробрался в мой номер?» — метались в мозгу мысли.

И вместе с мыслями по телу моему поползли ледяные мурашки. Я замерла, не спуская глаз с кота.

Этот замечательный котик подошел к моей кровати, вспрыгнул на нее, улегся на мои вытянутые ноги, и меня раздавила адская тяжесть, как если бы на меня положили плиту весом в тонну! Кот по-пластунски, страшно медленно, так медленна может быть только пытка! стал ползти выше, к моему сердцу, к моей голове. И он не мурлыкал, не издавал ни звук, он... дышал!!!

С каждым сантиметром его продвижения отнималось мое тело. Сначала я перестала чувствовать ноги, потом онемела поясница, потом вся спина. Я уже не слышала своего сердца. Я не могла шелохнуться. А холод все подползал к голове, и вот уже онемели руки плечи, и вот уже лед очень медленно стал проникать в мозг.

И я поняла, что если сейчас же не буду молиться, то все...

И я стала читать «Отче Наш». Я старалась кричать молитву, но вместо этого из моих губ вырывались нечленораздельные звуки онемевшего языка.

- Ое аа. Иэ еи а ееи. А яия Ия ое...

Кот остановился. Да уже и не было никакого кота. Был только лед и адская тяжесть, раздавившая меня, распявшая на этой кровати!

Но с первыми звуками молитвы лед этот откатил от мозга. Невероятным усилием бесчувственного тела я приподнялась, сбросила, нет, спихнула, стряхнула с себя тяжесть.

И около меня, в скомканном одеяле зашевелилось нечто, от чего нужно было сию же минуту избавиться. Но руки не действовали, и я дотянулась до этого шевелящегося одеяла зубами и укусила то, что шевелилось в нем со всей силой, на какую только была способна в тот момент.

О! Теперь я знаю, что такое бесовский вопль! Нечто извивалось и кричало, визжало в этом одеяле.

Одеяло упало на пол, и все стало тихо...

Я с огромным трудом села на кровати. Все мое тело было бесчувственно.

Фонари за окном горели, будто бы они и не гасли.

Я кое-как разработала руки, взяла с тумбочки часы. Было ровно два.

Не-ет. Это был не сон, не кошмар. Это были десять минут совершенно другой реальности и ужаса, которых я еще не знавала до этого.

Я зажала в руке крестик, прочла все те немногие молитвы, которые знала. Решила, что надо встать, умыться, выпить воды.

Я сползла на край кровати, спустила ноги на пол, но я не учла, что ноги мои мне не повинуются. Шагнула, в ту же секунду что-то метнулось внизу, и я, не удержавшись на одеревеневших ногах, стала падать, вывернув левую ступню почти наизнанку.

Не почувствовав боли, я допрыгала до ванны на правой ноге, при свете взглянула на ступню: она моментально вздулась в огромный темный шар.

Я намочила полотенце, обмотала им ступню. Допрыгала до кровати. Села и просидела так, держа в руке крестик, до утра.

У меня возникла мысль о том, что я, наверное, не смогу больше никогда спать. Но тут же, словно от кого-то, пришел ответ: нет, наоборот, теперь ты будешь спать совершенно спокойно. ЭТОГО уже не повторится. Я это что-то переборола, и оно уже не вернется ко мне.

Потом, позже, через сколько-то дней, я поняла, что здесь в этой спальне, в углу, в сумке, рядом, практически вместе, лежали горсть земли с могилы отца, горсть, пропитанная слезами, горем и смертью, и свечка, посланная им мне на кладбище.

Теперь, по прошествии времени, я совершенно точно знаю, что в ту ночь в гостинице ко мне приходила смерть. И что эта свеча, посланная отцом, как Ангел-хранитель, оберегла меня. В нужный миг напомнив, что спастись можно только молитвой!

Свечу ту я сожгла на девятый день.

Потом подумала, что, наверное, зря это сделала. Надо было оставить ее на всю жизнь. И опять от кого-то пришел ответ: нет, она выполнила свою миссию.

Я легко отделалась: ступня была вся черная от скопившейся и перекатывающейся под кожей крови, видимо я порвала сосуды, но хоть ногу не сломала. Да и вообще, о чем я. Я выжила. А ведь могла остаться там, на этой кровати...

Мой отец, всю жизнь помогавший людям, сумел спасти и меня, сумел даже после своей смерти...

Все, что я пережила в те дни в Красноярске, кардинально изменило меня. Я стала совсем взрослой, я стала носить в своей душе знание о чем-то таком, чего не дано познать всем.

Наверное, я теперь не боюсь смерти, во всяком случае, в каком-то приземленном ее понимании. Просто я теперь знаю, какая она — ледяная и невыносимо тяжелая...

Надежда Гомзикова, Вологда

Допишу историю

Сегодня я спешила домой как никогда раньше. С единственной целью впасть в депрессию. Это необходимо. Жизненно необходимо впасть в депрессию.

Иначе нельзя.

Балансировать на тонкой грани нормального состояния и депрессии больше невыносимо. Надо куда-то шагнуть. Равновесие теряется, и я падаю... в депрессию.

Вот теперь мне хорошо. Я в своей родной, привычной стихии, беспредельном депресняке. Сразу все стало на свои места. Противоречия и метания куда-то уползли.

Все хорошо.

Все будет хорошо. Пока не придет навязчивая, душащая мысль о самоубийстве.

Несмотря на склонность к этим мыслям, я совершенно не разбираюсь в видах самоубийств, и уж тем более в их моде.

Раньше я плыла от этой мысли в море депрессии. Выплывала. На этот раз я постараюсь переплыть через нее, чтоб она осталась позади, а не мелькала на горизонте, отсвечивая алыми парусами ложной мечты.

Идиотская фраза «Все будет хорошо» уже не работает. Я очень долго повторяла ее себе, как мантру. Но лучше не стало, и хорошо не было.

Сознание — в круге воли. За этим кругом бессознательное, другая реальность, параллельный мир. Этим мирам свойственно пересекаться.

Может оспорить аксиому о том, что параллельные все же пересекаются? Если в мире и правда главные — законы логики и математики, сделать это будет легко.

А может, разжать тиски воли и стереть грани напрочь? Тогда быть может, я напишу психологический роман, как некогда Сюзанна Кейсен.

Тогда может не стоит плыть из моря депрессии, а нырнуть глубже? Какой смысл пытаться выбраться из этого состояния, если я не могу выбраться совсем, и возвращаюсь туда снова и снова?

Заглянуть глубже это даже интересно, но страшно. Вдруг что-то оборвется? Нормальное сознание, а может моя жизнь?

Я схожу с ума? Или же это что-то другое?

***

Внутри, где-то в области ребер, лежит зверек, свернувшись калачиком. Собачка? Что-то крупноватая. Какой породы?

Это не собачка. Это волк, вернее — волчица.

Волчица! Не ори. Она спит. Спит. Недавно. Годика два-три, где-то так. Я ее усыпила. Для чего?

Чтоб сделать свою жизнь ярче и веселей. Желание жить быстрей и интересней. Это заставило меня усыпить волчицу.

И вот она спала. Тихо, мирно. Я в это время жила без нее. Круто! Жила иллюзией.

Далее произошло несколько событий. По исправно действующему закону подлости (ФЗ «О подлости»), все события произошли подряд, без промежутков. Если между событиями были интервалы, я не сидела бы и не писала это.

Пользуясь случаем, хочу спросить: кто принимал закон подлости? (ответы присылайте на @mail.ru)

Недавно волчица сонно пошевелилась. Лениво, томно перевернулась на другой бок и, свернувшись клубком, продолжила спать. Ничего страшного не произошло. Но она спит уже не так крепко, как раньше. Ее сон стал чуток. Малейшее колебание, и она проснется. Вскочит и ощетинится.

Почему ее боюсь и не хочу, чтоб она проснулась? Я боюсь не ее, а то, что она с собой несет. А несет она... Даже не знаю, как сказать.

Объясню доступно: если волчица проснется, я стану как она. Одинокая злая волчица, никого к себе не подпускающая, бегущая от людей, замкнутая в себе.

Еще буду на луну выть.

Волчица начала просыпаться. Может убить ее, пока не поздно. Крови будет много. Алой, как рубин, волчьей крови...

Нет. Жалко ее. Она такая родная.

Убить ее будет жестоко. Все ровно, что совершить самоубийство. Только в более изощренной форме. Ведь мне придется вырвать ее из своей груди. Своей...

Не хочу, чтоб она проснулась. Не хочу стать волчицей. Это больно, тяжело. Невыносимо.

Усыпить ее еще раз? Ха. Больше она на эти дешевые фокусы не купится.

Тогда стоит смириться с ее существованием и попытаться дрессировать волчицу, сделать ее ручной и безобидной. По крайней мере, для меня самой.

***

Вдали, где-то ближе к линии горизонта, неважно с какой стороны смотреть, — пустота. Которая иногда освещается нашими желаниями. Желаниями попасть в ту пустоту, хотя бы на минутку. Интересно, просто интересно, что скрывается в этой пустоте. Но ведь это пустота, значит там по определению должно быть пусто, там никого и ничего нет. Пустота — пусто. Никого.

Все равно — интересно. Пустота не пустая, она чем-то заполнена, по теории физики она чем-то должна быть заполнена. Чем? Это неизвестно. Самой пустоте на это глубоко наплевать. Ей без разницы. Потому, что она заполнена тем, чем мы хотим, чтобы она была заполнена. Каждый видит то, что ему хочется. Иногда конечно, что ему не хочется видеть. Пустоте все равно, а ты можешь отправить в эту пустоту свои страхи, свою боль и даже образы. Учти только одно, ты будешь их всегда видеть. Всегда. Твой взгляд устремлен в ту самую пустоту, против твоей воли. Чтобы ты ни говорил, как бы не отнекивался от пустоты, ты всегда будешь смотреть на нее, на линию соединения земли и неба.

Поэтому лучше заполнять пустоту тем, что тебе нравится. Согласись, гораздо приятней смотреть на положительные вещи, особенно, если смотреть на них придется всю жизнь.

Точка отсчета. Как на взрывном устройстве. Тик-тик-тик, а потом взрыв. Клубы дыма, клочья одежды и мяса, хлопья пепла. И запах горькой гари. В последнее время это — частое явление. Настолько частое, что уже никого не удивляет и особо не трогает. Прослушав сводку новостей, мы равнодушно вздыхаем, и возвращаемся к своим проблемам, не забывая поглядывать на линию горизонта.

Мой часовой механизм был запущен давно, отрегулирован и налажен. Взрыв, конечно должен был произойти, но не так рано. Произошел сбой. И рвануло раньше, чем было запланировано. Внутренний взрыв не такой страшный, как взрыв бомб, начиненных тротилом и железками. Кусков мяса и одежды не было, но пепел исправно кружил в воздухе. Это взлетел на воздух мост в пустоту, где был мой другой мир, в котором я пряталась от этого мира. Мне там было хорошо. Я не ощущала одиночество так остро. Мой мир — маленькая Вселенная, с своей жизнью, такой же как в этом мире, но там я живу по-другому, чувствую по-другому. Там я другая.

Здесь я боюсь быть такой, как в пустоте. Осознание того, что придется, когда-нибудь покидать пустоту, заставило запустить механизм. Он сработал слишком рано. Я не успела доделать там некоторые дела. Оставить все, как есть, нельзя.

Я стою над пропастью. Передо мной пустота, в которой остался мой мир. Мне необходимо вернуться туда. Построить новый мост и вернуться.

Шаг, два, три. Уже можно открыть глаза.

Я иду по хорошо знакомой улице, хорошо знакомого квартала, ставшего родным города. На улице людно, на меня никто не смотрит. Я подхожу к знакомому до боли дому, захожу в подъезд и поднимаюсь пешком на девятый этаж. Захожу в квартиру.

Меня уже ждут, давненько. Они сидят кто где, по всей комнате. Заполняя все пространство. Их шестеро, но кажется, что около двухсот. Они смотрят на меня с грустью и укором. Думают, что я специально их оставила, предала их.

- Привет, — улыбаюсь им самой дружелюбной улыбкой.

- Ты пришла, — отозвалась девушка, сидящая на подоконнике. — Зачем? Ты все бросила. И опять бросишь. Тебе скажут слово, и ты опять уйдешь. Уйдешь к ним.

- Не уйду! — решительно заявляю я. — Я должна остаться с вами и завершить начатое.

- Да уж, пожалуйста! — отвечает снова эта же девушка. — Но учти, если ты уйдешь снова, назад вернуться будет еще сложней. Ты не сможешь больше никогда вернуться сюда. Наша жизнь будет неопределенна, впрочем как и твоя. Или ты не заметила связи?

Она сердится на меня, я ее понимаю.

- Я допишу историю. Я не уйду от вас, пока не допишу последнее предложение.

Сергей Донец, Вологда

Уход патриарха

Трофим, как и положено столетнему патриарху, всех своих однолеток давно пережил. Названия многих предметов он забыл — как и фамилии близких. Интерес к происходящему у него пропал. Жизнь перестала радовать. Больное тело причиняло лишь одни хлопоты и потому уже не могло служить пристанищем для души, рвавшейся на волю.

Где-то в самых остатках некогда сильной плоти таилась у Трофима память о былом. Днем он ничего не помнил. К вечеру приходила смутная тревога и пожарною кишкою вползала в кровь, чтобы через сны воскресить умершее. Трофим знал, что мертвеца к жизни не вернуть, но не сопротивлялся, подставляя бессознательному свой костенеющий мозг.

То, что возникало в лабиринтах затухающих клеток, он не мог передать никому. Но не оттого, что опасался непонимания, смеха или неприязни. Нет. Он уже ничего не боялся. Просто не мог. Его мир и окружающая жизнь существовали параллельно и не смешивались. Трофим одною половиной жил в прошлом, а другою проник в вечность, при этом ни на какую взаимность не надеясь.

Просыпаясь, Трофим забывал сны. Начинал заниматься обычными делами, уходя все дальше и дальше от сладкой истомы сновидений.

Невестка Мария переодевала свекра во все чистое, кормила кашей и выводила в сад на скамеечку. — «Вам ничего не надо, папа?» — спрашивала она и уходила заниматься по хозяйству. Трофим не мог рассмотреть весь сад, но ближнюю яблоню с мелкими медоносными яблочками он угадывал и тянулся скрюченными подагрой руками к раскидистым веточкам близкого деревца, безнадежно пытаясь при этом уловить хоть какой-нибудь запах еще несорванных фруктов. Но это было бесполезным занятием, так как руки уже на полпути уставали и тяжело падали на острые коленки, зябнущие под шерстью широких старческих брюк. Трофим удивленно рассматривал пустые руки и нюхал пальцы.

Когда-то пальцы пахли дальними странствиями: Трофим две трети сознательной жизни отработал кондуктором, многое при этом испытав. Но теперь только сны остались, да болели в непогоду кости таза, раздавленного вагонными сцепками.

Надо сказать, что даже боль в возрасте Трофима ощущалась как-то отчужденно и со стороны, не привнося особого разнообразия в череду длинных и так похожих друг на друга дней его, по большому счету, одинокой жизни. Рефлекторно отвечая на боль, Трофим проявлял к ней полное равнодушие.

Наделенный от природы здоровьем, Трофим не лечился у докторов. Недуги одолевал сам. В его жизни было единственное исключение, когда в японскую войну под Мукденом Трофим угодил на госпитальную койку. Может, оттого болезни не жаловали его своим присутствием? А может, Трофим не жаловал болезни и не допускал их близко к себе — как знать?

Но так случилось, что Трофим жил долго, подбираясь годами к целому веку. А еще произошло так, что на исходе века организм старика стал намекать на скорый и близкий привал на дороге жизни, который для путника означал бы одно — «то самоё», переходящее в бесконечность. «То самоё» в мыслях старик определил личным местоимением «оно». Трофим знал, что «оно» — неизбежно. Знал про это еще в вонючих столыпинских теплушках на КВЖД, знал в салонных «пульманах» под Самарой, знал на Мазурских болотах и Сальских степях в разломные времена человеческого общежития.

Надо ли говорить, что за долгую жизнь старик успел, а времени было предостаточно, познакомиться с этим самым «оно» и повстречаться «нос к носу». Но раздумия по этому поводу стали одолевать Трофима только в годы «великих потрясений» под славные песни коммунаров про «бой кровавый, святой и правый», когда человеческая жизнь стала дешевле сухарика или пары цитат из мудреной брошюрки какого-то Коминтерна. Чего этот Коминтерн насочинял, Трофим не мог уяснить конкретно, но запах крови, исходивший от страниц, не ускользнул от

него. Да и было ли все это? Дни горькие, дни сладкие приходили и уходили. Вокруг в разное время обретались какие-то одинаковые люди, но и они ушли.

Сейчас, на пороге у выхода, вся жизнь стала казаться Трофиму сном. Может, сны стали походить на жизнь? Походить так, что и различать их стало трудно. Трофим особо и не старался этого делать. Зачем? К тому же и сил не было. Или были, но их стало жалко тратить...

Пока Трофим сидел у яблони, пару раз выглянула невестка. Разглядывая спящего старика, она только качала головой: «Спит ночами, спит днями — не к добру это».

Но старику не было никакого дела до невестки. Ему снился железнодорожный перегон между Ростовом и Батайском. Сначала все шло как обычно: паровозик, темно-зеленый от копоти, пофыркивая, тащил небольшой состав из пассажирских вагонов. За окнами от тихого ветерка покачивались пропахшие тиной и жирными сазанами камыши.

Со стороны было видно сияющие в солнечных лучах бронзовые таблички и цифры с буквами на боках красно-голубых вагонов. Поезд как поезд. Трофим видел тысячи таких поездов. Но что-то было не так. Стоило Трофиму задуматься, как сразу же менялась картинка сна. Предметы становились бесформенными, краски и звуки смазывались...

- Папа, папа! Да нельзя спать на закате! — невестка тормошила старика за плечо.

- А? Што? Ты о чем? — спрашивал еще неокончательно проснувшийся Трофим.

- Вы бы с внуком погуляли! У меня руки отрываются! — невестка повышала голос и уже не просительно, а требовательно продолжала: — Вам двигаться надо больше. Так и врач говорит.

- Кто говорит? — спрашивает Трофим, медленно выходя из сонного оцепенения. — Какой грач?

- Кто-кто — дед пихто! — отвечает начинающая сердиться невестка. — Вон, с Жоржиком за коровой на выгон сходите.

- С Жоржиком? Кто такой Жоржик? — опять удивленно спрашивает Трофим.

- Да внук же ваш, внучок, — уже тише говорит Мария, понимая, что бесполезно повышать голос. — Давайте я вам помогу.

Мария берет старика за руки и приподнимает со скамьи. Нетвердыми ногами старик делает несколько шагов и застывает на месте.

- А поезд? — спрашивает Трофим, обиженно улыбаясь.

- Какой поезд? — недоуменно вопросом на вопрос отвечает Мария. — Вы что, папа?

- Дочка, я опять видел энтот поезд. Он уехал? — спрашивает Трофим и делает попытку всхлипнуть.

- Уехал, уехал, и вы сейчас с Жоржиком уедете, — отвечает невестка.

- А мы куда уедем?

- Вы что, забыли, папа? У вас на Царицын поезд.

- На Царицын! На Царицын! На Царицын! — радостно говорит старик. — Вот видишь: ничего я не забыл!

Трофим с палкой в одной руке и с ладошкой Жоржика в другой зашагал в сторону выгона.

Осень стояла сухая. От зноя дороги пересохли и бархатной пылью наполняли чувяки Трофима и сандалики Жоржика. Внуку очень хотелось говорить. Шел пятый год его жизни, и он так нуждался в разговорной практике, что постоянно лез к деду с вопросами:

- Деда, а скоро я буду большой?

- Большой, большой Царицын, поболее Азова будет, — отвечал старик невпопад. Глухота мешала ему разобрать внуковы слова, и он отвечал, сообразуясь со своими мыслями.

- Царицын — это кто? Он страшный? — спрашивал Жоржик.

- Ага. Вокзал там крашеный. Вот, помню, в десятом годе сидел я в тамошнем буфете...

Старик принимался в сотый раз пересказывать историю, случившуюся с ним на царицынском вокзале.

Жоржик не понимал того, о чем говорит дед. Но старик продолжал говорить...

В те годы Трофим служил обер-кондуктором при поездах Северо-Кавказской железной дороги. Колесил вдоль и поперек российских просторов.

Царицынский буфет славился пирогами с вязигой и заливным из судака. Трофим при всякой возможности, следуя мимо города Царицына, не упускал случая полакомиться. Ему, как постоянному и непростому клиенту, стали отводить за колоннами буфета дальний, но удобный столик у окна.

Буфетчик, пожилой татарин по имени Омар, всегда радостно улыбался навстречу золотыми с красным отливом зубами, а Трофиму — вдвойне:

- Ай, бачка, зачэм забил, зачэм так рэдко ходышь?

- Гутаришь тоже мне, Омарка! Ить не хожу, а следую при исполнении, когда поездка. Какие новости, нехрищённый?

- Слюшай, какой-такой новост? Наша тихо-тихо сидыт.

- Знаю-знаю я ваше «тихо-тихо». Пока тихо, а давно ли босяки митинговать перестали?

- Обижаешь, Трошка! Какой-такой босяк? Моя чэстный негоцианта, — обиженно отвечает буфетчик и косит багровыми белками на мелькающие за окном фигуры. — У, шайтан-абрек. Знова бандытка бежал.

- Какой бандит? Ты о ком это, Омар? — спрашивает Трофим. Омар не отвечает, только подносит к перезрелым татарским губам указательный палец в большом инородческом перстне:

- Молчи, однако. Узнай — резит калган, бачка. Ты мал-мал кушай, однака, судачишка.

Трофим, пожав плечами, сел за свой дальний столик. Густо поперчил и покрыл толстым слоем горчицы заливное. Он даже пироги ел с горчицей и красным перцем. От водки отказался напрочь. Попросил каймак и сельтерской.

Трапеза подходила к завершению, когда к столику подкатился чем-то сильно взволнованный татарин.

- Беда, Трофымка, однако, — произнес Омар и плюхнулся на соседний с Трофимом стул.- Пропал, бачка, мой бедный голова! Совсэм пропал!

- Да ты, Омарка, успокойсь, — сказал Трофим и положил свою широкую ладонь на Омаркину руку. — Говори, што за беда такая?

Омар втянул в себя часть своего живота, горой притаившегося под красным шелком рубахи, наклонился к хвосту петрушки на сверкающей поверхности заливного и прошептал:

- Бандытка издэс.

- Ты шутки шутишь, Омар? — спросил Трофим и до хруста сжал руку татарина.

- Слюшай, какой щютка, какой щютка, шютка жок, шютка нету, — ответил обиженно Омар и при этом кивнул на перегородку, отделявшую буфет от кухни. — Она издэс, однако, сидыт мал-мал.

Тут Трофиму стало не до шуток. Он сплюнул часть вязиги под стол и крепко — по матери — выругался: этого еще ему не хватало! Так хорошо служба пошла. Неполные пятьдесят, а он уже обер-кондуктор дороги, домик в Батайске с садиком. Старшие хлопчики устроены. Татьяна, жинка, на сносях — еще ребятенка ждет. «Вот тебе пироги с вязигой, а вот тебе и заливное из судака!» — пробормотал Трофим и тыкнул Омара кулаком в бородатую щеку:

- Ну и чего? Я-то тут при чем?

- Друга-человэка, Трошка, бандытка надо спасай, а то она родына резит! — завопил Омар, и круглые слезы шарами посыпались из его бычьих глаз на скатерть, солонку, чайное серебро. Он плакал и загибал пальцы:

- Махмудка — рэзит, Венерка — рэзит, Джохарка — рэзит, Айгулка — рэзит, баба — рэзит, ата — рэзит, и Динку-дуру — тоже рэзит!

- Так чем же я помогу, башка твоя татарская? — спросил Трофим и приготовился к самому худшему.

- А твой, кондуктора, мал-мал работай, — произнес Омар и снизу, по-щенячьи, заглянул Трофиму в глаза. — Ты джигитка блям-блямчик прятай и вези Ростов инда Дон.

- Рехнулся, басурманин, на старости лет, да? — Трофим тяжелым взглядом вдавил буфетчика в стул. — Ежели узнают, то чуешь, шо со мною изделают?

Татарин уже ничего не говорил, а только выл. Тюбетейка Омаркина скатилась под стол и запуталась у Трофима в ногах. Трофим хотел было пнуть тюбетейку, но передумал. «Не надо горячиться, — сказал он сам себе. «Ищи выход. Можно и нужно было отказать татарину. Подняться и уйти. Пусть нехристь сам выкручивается. А ежели того споймают и он покажет на Омарку, а Омара видели с ним, Трофимом. Потянут и Трофима. Доказывай потом, что ты ни при каких интересах с этими детьми ослицы не замешан. Ляпнут-де, что сговор был, и он, Трофим, должен был «бандытку» доставить по адресу. Могёт так статься, — думал Трофим, — ищи тогда концы-начала».

При таких мыслях внутри у Трофима образовалась пустота, и вспомнились сопки Маньчжурии.

«Можно было поддаться на уговоры и провезти того в служебном купе до самого Ростова или, для пущей безопасности, высадить в Белой Калитве. Дать записочку к свояку и далее отправить пароходом. Выгорит дело — будет все шито-скрыто».

- «И никто не узнает, где могилка твоя», — вслух добавил Трофим и криво улыбнулся татарину.

- Могилька, слюшай, зачэм могилька? Жок! Да?- завопил, скребя толстыми пальцами брюшину, буфетчик. Но, различив подобие улыбки на лице у Трофима, сам натянуто осклабился.

После того, как сияющий татарин провел «бандытку» к поезду через запасные пути, тот сразу забился в угол купе, но Трофим рассмотрел ореховые, начинающие седеть волосы на крупной голове, рыжую бородку и усы. Кожа на лице была в оспинках, а кое-где и в мелких шрамах, под синевой которых угадывалась неспокойно пульсирующая кровь.

Попутчик все больше молчал, а когда говорил, то у него сквозь грамотную русскую речь проступал сильный кавказский акцент.

Трофим уже не помнил, что у него спрашивал рябой попутчик, что он попутчику отвечал. Не помнил, чем угощал попутчика, но взгляд того «бандытки», как именовал его Омар, невозможно было забыть. Даже при прощании желтые глаза кавказца были далеки от благодарности и смотрели не то, чтобы зло, но и не мягко, не задерживаясь на Трофиме.

- Буд здоровий, — только и сказал, уходя, рябой...

С тех пор прошло много лет. Сам не зная зачем, Трофим продолжал рассказывать Жоржику о своей жизни.

Жоржик не понимал деда и тоже о чем-то говорил, чего из-за глухоты не мог расслышать Трофим.

Так и шли они, старый и малый, держась за руки и говоря каждый о своем.

«Вот он, — думал Трофим о рябом, — волей случая и людей спасался, а для чего? Не для того ли, чтобы потом стать тем самым случаем в жизни многих поселян?».

У Трофима и сына, родившегося в том памятном году, жизнь могла стать короче и оборваться гораздо раньше. Это была уже новая история, а старик устал и надо было гнать домой дойную корову-кормилицу Майку.

Багровый закат перешел в легкие сумерки. Пахла болью памяти луговая полынь. Тянуло сыростью со стороны реки Казачки. На сапожной фабрике имени Анастаса Микояна жгли обрезки кожи и заступали в ночную смену.

Дорога с выгона домой шла мимо старого кладбища. Кресты попрятались в темноте, но белые гробнички со звездами вместо крестов можно еще было видеть между рядами пирамидальных тополей.

Упрямая скотина не хотела идти дорогой и все норовила свернуть за кладбищенскую ограду, где между могил и на самих могилах буйно рос клевер, так привлекавший Майку.

Трофим сердито звал корову по имени и рубил хворостинкой легкое покрывало вечерней прохлады.

Майка не слушалась и бежала пастись на старое кладбище.

- Деушка, деушка, я домой хочу, — хныкал уставший внук и тянул деда с кладбища на дорогу.

- Майка! Майка! — кричал слабым голосом дед, а у него выходило: «Ай-ка! Ай-ка!»

Трофим чувствовал, что и его тянет за коровой на кладбище.

Давным-давно прошло то время, когда старик недолюбливал мертвяков. Потом стал понимать, что покойники бывают разные. Поймав себя на такой мысли в первый раз, Трофим усмехнулся, сказав: «Это они для человеков разные, а для бога все едино, все равно — усопшие, как ни есть».

Пожировать среди могильных плит корове не дала невестка. Обеспокоившись поздним временем, она ринулась на поиски старого и малого. Полная луна, зависнув над степью, высветила дорогу. Зная, что Трофима окликать бесполезно, Мария, приблизившись к окраинам выгона, позвала сына:

- Жор-жик, Жор-жик!

Через минуту-другую послышался треск сучьев и шумное, нечеловеческое дыхание.

- Майка! Майка! Маечка моя! — Мария погладила раздувшийся атлас коровьих боков. — А ребята иде?

Майка, сверкнув блюдцами глаз, ринулась в глубину кладбища. Мария — за нею.

Трофим с Жоржиком на коленях сидел неподалеку от наполовину разрушенного памятника купцу первой гильдии господину Ушкуйникову А. И. и что-то рассказывал, гладя внука по голове.

- Папа, да вы с ума сошли! — закричала Мария. — Что вы здесь делаете? Пошли домой.

Как ни странно, но глухой старик все слова разобрал. Потому ответил точно и дерзко:

- А я дома! Ты что, не видишь?

Мария взяла Жоржика на руки. Зная упрямство старика, она растерялась. Хотела было заплакать, но передумала.

- Ну и сидите один. Мы домой пошли! Слышите вы меня?

Старик ничего не ответил и только ниже склонил голову.

Мария потерла глаза, но делать было нечего, и она погнала корову домой, прижав к себе забравшегося на руки Жоржика.

Ушедшая с коровой и сыном невестка не понимала, что Трофима уже нельзя было оставить одного, ибо тот давно был один.Трофима нельзя было удивить: он столько лет уже ничему не удивлялся — с того самого дня, о котором рассказал Жоржику. Трофим не мог говорить так, чтобы рядом совсем никого не было. Хоть один слушатель, да должен был быть.

«Вот и он, голубчик! — осенило Трофима, поднявшего глаза на купеческий памятник. — Я ему, господину Ушкуйникову, и расскажу»...

Между тем ночь обрушилась на городские окраины.

Запах гари со стороны обувной фабрики сменился ароматами ночной фиалки, сирени, полевых трав и бесконечности. Впрочем, сама бесконечность начиналась двумя метрами ниже — из-под земли. Трофим мог поклясться, что он чуял ее запахи, настоянные на просфорах, причастии и непрожитых днях.

Так устроен человек: ему всегда надо сравнивать что-то с чем-то, зачастую не осознавая зачем и для чего. С чем же еще можно было сравнить запахи бесконечности? Может, с запахом трубки того рябого пассажира? Нет. В Царицыне рябой не имел трубки и никому, кроме полиции, известен не был. Он и сам тогда ничего не знал о будущем. Но, может, догадывался своим звериным чутьем?...

Встреча вторая произошла в тридцать каком-то году. Трофим дослужился до дежурного по узловой станции СевКЖД РСФСР, а сынок, ровесник царицынской встречи, вырос и тоже работал на станции — путевым мастером.

В обычный жаркий июльский полдень ждали прохода литерного поезда.

Начальник станции Ведун, несмелый мужчина сорока лет и с одышкой, с утра загонял рабочих вдоль мазутного полотна дороги. Живот у Ведуна вспотел и жирным пятном означился сквозь белизну кителя с красно-синим орденом на стороне сердца. Двойной подбородок Ведуна ходил студнем и отчего-то больше всего вызывал жалость у Трофима. Скорее даже не жалость, а понимание полной беззащитности этого начальственного кабанчика перед судьбой в образе другого — более высокого начальства.

Трофиму казалось, что все ждут неминуемой смерти и потому переоделись во все белое и чистое. Поэтому из последних сил рвут пупок и глотки на подчиненных. Жертвенность Ведуна была почетна. Заклание живота возносило начальника по лестнице чинов, давая власть и пищу.

Жертвенность работяг нельзя было ни понять, ни оправдать. Зачем было десять раз ударять молотом по костылю, если можно было с первого раза засадить его в шпалу по самую головку,- рассуждал Трофим. — Так нет. С перрона не только сметали мусор, но и мели разноцветные плитки почти до дыр.

Бабенки надели все лучшее, подвели брови сурьмой, буряком губы повыкрашивали.

Чекист Кузькин со вчерашнего дня, что говорится, сбился с ног и все никак не мог понять: откуда всей станции стало известно про литерный. По его разумению, это была такая строгая государственная тайна, что и клопы с тараканами должны были передохнуть в кабинете при одном только звонке сверху.

Трофим посмеивался над бдительностью филеров — он по-старому называл потайные механизмы страны Советов: «Ушки на макушке, пистолетом — хвост!»

За неделю до литерного весь городок наводнился чужими людьми, одетыми в странные немятые пижамы, нелинялые гимнастерки и фуфайки не по сезону.

На ночь эти люди исчезали в палаточном лагере за выгоном; перед отбоем совершали вечернюю прогулку и на поверке молодыми голосами бодро отвечали: «Я!» пузатому старшине в хромачах, разрезанных по голеницу для удобства толстых старшиновых икр.

Трофим и все жители городка знали, что за выгон бегают пацаны с самогоном и семечками, девицы без самогона и семечек, но с другими — более важными для молодых парней делами.

Тем самым, литерный в жизни поселян стал редким, если не сказать больше, событием. Для Трофима литерный мог стать последним фактом биографии. Вот и не верь после этого вековым традициям, чакрам с мантрами и колхозному общепиту.

Два сообщения — о подходе литерного и ранении путевого мастера на перегоне — Трофим получил одновременно. Телефонисточка пыталась что-то добавить: «Дядя Трофим, дядя Троша!», но ее оборвали строгим: «Прекратить разговорчики!»

До литерного оставалось не более четверти часа, когда путевые обходчики в оранжевых жилетах внесли на руках раненого в медпункт.

«Вот бедняге не повезло, — подумал Трофим. — Угораздило в такое время!»

Трофим уже было собрался выйти на перрон, как в дежурку влетела фельдшерица.

- Тебе чего? — удивился он. — Некогда мне!

- Товарищ начальник! — голос у фельдшерицы задрожал, но она взяла себя в руки и решительно произнесла: — Товарищ дежурный, парня — в Ростов, понимаете вы, срочно!

- Ну и что? — еще больше удивился Трофим. — Говори быстро.

- Мастер... которого доставили... — девушка запнулась и наклонила голову.

- Говори, говори! — приказал Трофим и посмотрел на часы. — Пять минут осталось! Скорее!

- Дороги закрыты, а он помираеть.

- Вот оно что, — сообразил Трофим и погрозил пальцем. — Чего удумала, пигалица! — сказал Трофим и запнулся.

Из глаз фельдшерицы показались слезы. Она словно уменьшилась в размерах и стала похожа на богомольную старушку в страстную пятницу.

- Не рыдать у меня! — повелел Трофим и взял плачущую за плечи. — А ты-то что? Зачем училась — харчи проедала?

Подняв голову и отыскав в Трофимовых глазах теплоту, девушка, перейдя на домашний тон, спокойно сказала:

- Так случай особый, дядя Троша. Они литерный обеспечивали. Стрелку чинили, а тут осколок... Проникающее в череп, понимаете, ранение... через глазное дно. Что я смогу? — говорила фельдшерица и заламывала свои тоненькие, как прутики ивы, пальцы.

- Хм, вот так-так! — Трофим опять посмотрел на часы. Он понимал, что в эту минуту только от него зависит жизнь мастера.

В решающие моменты жизни Трофим становился твердокаменным, и не было такой силы, которая могла бы своротить его с выбранного пути. Такой момент наступил и требовал немедленных действий.

Трофим схватил телефонную трубку, нажал на рычаг аппарата и так гаркнул, что за стенкой у чекиста Кузькина козырек фуражки съехал на левое ухо.

- Диспетчер! Диспетчер! Бисова твоя душа, шо затаiвся? Цэ я — чуешь?

- Чую, чую, — отозвалось в трубке, слухаю, товарышу начальник.

- Литерному — красный на выходном!

- Як, як? Шо? — снова отозвалась трубка.

- Шо, шо! Оглох чи шо? — разозлился Трофим. — Повторяю: литерному I-бис дай красный на выходном симахворе! Чуешь, хлопэц? Сполняй!

- Чую, — неуверенно ответили в трубке. — Зараз зроблю.

Старая постройка вокзала приняла первые глухие толчки от подходящего с юга экспресса. У Трофима эти толчки совпали с ударами защемившего сердца. «Ведь и вправду на пензию надо», — подумал он и улыбнулся фельдшерице:

- Ну что, сорока-морока, добилась своего?

- Дядя Троша, дядя Троша, я... я вам не все сказала... там... — проговорила виновато девушка и запнулась.

- Милая, все! Бегу! Некогда! — Трофим мягко отстранил фельдшерицу и кинулся встречать литерный.

Снаружи — в чинном, парадном строю, вжимая животы и вытягивая шеи, во главе с пунцовощеким Ведуном выстроился весь партийный актив станции и городка.

Люди остекленели. Вокруг людей ходили непойманные, по недомыслию Кузькина, живые голуби и гадили на розовый булыжник первой платформы.

Нарастающий со стороны товарного склада гул втянулся в клокочущее нутро локомотива, как в тысячи легких, и вырвался мгновение спустя через гудок с шипящими клубами пара на волю, заполнив звуковыми волнами территорию станции и рабочие окраины.

- Во дает! — захлебнулся в восторге потерявший себя Кузькин.

Все стоящие по стойке «смирно» только зыркнули на него бездонными от ужаса глазами, но ничего не сказали: стоило ли тратить время на этого цыганистого вида придурка, когда рядом — сама история на строгих крыльях летит...

Каждый ласково взял под козырек.

Ведун, стараясь не упасть со страха, дал Кузькину поддержать себя. Но вместе со страхом у Ведуна росло печеночно-сосущее желание показаться на глаза Самому или пойти плотно-плотно перекусить в ресторанчике при вокзале.

Кузькин мечтал напиться и побыстрее окунуться в мутные волны разврата — в кои-то веки! — с первой встречной вражиной народа, застигнутой врасплох среди летнего великолепия южнорусской природы. Трофим по лицам этих прохиндеев читал мысли, не всегда приятные, но выпукло-образные.

Один он знал, что через минуту-другую Сормовский — усиленный завизжит тормозными колодками и припаркует литерный у потерявшего бодрость строя чиновников.

Знал, что сразу набежит целая дивизия кузькиных, которые станут хватать всех подряд и его, Трофима, заметут в первую очередь. Скорее всего, что в суматохе не захотят слушать никаких доводов и тогда прости — прощай сторона донская... Трофим поежился от холода. Попробовал всмотреться в темноту покрасневшими от напряжения глазами. Прислушался. Над кладбищем, удаляясь к звездам, тянулись какие-то едва уловимые глазом клинья.

«Померещилось-послышалось, — подумал старик. — Какие нынче гуси?»...

Трофим и сейчас помнил, как похожий на ожившего зверя локомотив пронесся мимо и стал дыбиться в клубах библейского пара. Все на перроне переглянулись, не в состоянии произнести ни слова. Может, до них забыли довести, что литерный идет с остановкой?

Поезд замер.

Замерли все...

На вокзале установилась такая тишина, что было слышно, как по мостовой цокают коготки наглых голубей, как в их сизых клювиках расщелкиваются янтарные зернышки пшеницы, рассыпанной здесь же пробежавшими товарняками с голодной Кубани в сытую столицу.

Ведун потерял лицо, а вернее — он никак не мог от неожиданности момента подобрать себе такое лицо, которое совместило бы в нем прежнюю самоуверенность перед подчиненными с глубоким подобострастием перед неожиданно свалившимся на его голову высоким начальством.

Вместо этого опытный Ведун запаниковал и в отчаянии уцепился потными лапищами за ворот Трофимовой гимнастерки. Обмякнув большим, но слабым телом, начальник то ли с испугу, то ли по другой какой причине заорал:

- Почему не доложил, Сысоев?

- Когда? — спокойно спросил Трофим трясущегося Ведуна и сбросил с ворота руки начальника.

- Что, что когда? Так ты знал? Падла! — с этими словами начальник станции пытался толкнуть грузного Трофима под колеса литерного. — Сука! Ну, говори, вражина!

Вместо ответа Трофим мотнул побагровевшим от напряжения крупным лбом в сторону двух санитаров, тащивших к поезду носилки с раненым мастером. Но что это? Даже почерневшие от крови полосы бинтов на голове не помешали Трофиму узнать в раненом сына Петьку. Тогда он отмахнулся от Ведуна и бросился к носилкам.

Дальше было то, что Трофим уже предвидел: набежали органы, стали хватать и никто ничего не спрашивал. Кузькины знали свою работу не хуже продавцов мороженого. Тем и гордились.

Но даже органы не могли всего знать. Разве они могли предположить, что — как раз в аккурат напротив Трофима — откроется дверь вагона и на землю сойдет главный пассажир литерного в знакомой по портретам фуражке и, несмотря на жару, в маршальской шинели с красными отворотами лацканов? Один, без охраны, торопливо подойдет к арестованному за вредительство и попытку террористического акта дежурному по станции и, сузив глаза, так ехидно и по-простому, со своим грузинским акцентом спросит:

- Как поживаешь, кацо?

Что тогда ответил Трофим рябому, перед которым даже солнце в этой стране теряло очертания и звезды казались простыми фонарями на грязной улице какого-нибудь Козлодоевска? Да важно ли это было, что ответил? Рябой спросил так, как будто они только вчера расстались в Белой Калитве и не было между двумя встречами стольких событий. Он задал еще какой-то вопрос. Трофим ответил.

Теперь органы не только не висели на Трофиме, но и отошли в сторону, отгородив место необычной встречи стеной гимнастерок, орденов и галифе.

Рябой по-прежнему был немногословен, но ему чего-то еще хотелось услыхать от Трофима, кроме истории с фельдшерицей и путевым мастером.

Трофим понимал, что рябой не чувствует себя обязанным. А он, Трофим? Какого черта, какую вину он должен испытывать перед этим человеком? Он и не испытывал. Что случилось бы с этим грузином, думал он, если бы тогда, в Царицыне, по-другому расположились звезды, и не попался бы рябому Омарка, а Омарке не подвернулся бы Трофим, а Трофим сдал бы «бандытку» ближайшему околоточному?

Если бы да кабы... Попался, подвернулся и не сдал, а теперь видит, что зря не сдал.

Нет, не было и не будет в рябом благодарности для людей. Все так же, как и много лет назад, глаза рябого просверливают собеседника и затягивают желтым омутом. Затягивают вместе со страхом, потными ладонями и документами, прошлым и будущим, не говоря о настоящем. Затягивая, опускают в пищевод, толкают в желудок, пе-ре-ва-ри-ва-ют и через систему кишок выталкивают наружу. Пропущенный и вытолкнутый уже не является человеком. Плоть обращалась в камень-булыжник, в репей, в пыль придорожную, в на-во-оз.

- Прошай, гэнацвалэ, — оборвал беседу рябой. — Ми квыты. Ступай твой Пэтка...

Много еще чего случилось в жизни у Трофима. Чем больше он жил, тем сильнее уставал. Помнил отца своего — Ивана: тот за месяц до смерти сказал, что пора расставаться, словно не умирать собрался, а на базар в соседнюю станицу.

Вспоминать расхотелось. Трофим рукавом френча провел по распухшему лицу, поежился от ночной свежести и сказал памятнику: «Скоро встретимся. Жди.»

Трофим даже не вздрогнул, когда памятник кивнул в ответ расколотым верхом гранитной плиты. Только окинул взглядом затухающий в ночи мир и услыхал давнишнее: «Ми квыты...»

Мария забеспокоилась: давно подоена Майка, уложен спать Жоржик, стол накрыт, а Петра все нет с работы. Она решила пойти справиться на станцию. Поправила одеяло на Жоржике, погасила керосиновую лампу, накинула шаль и ступила за порог. Во дворе залаял и громыхнул цепью Тобик. «Кого там несет ночью? — удивилась Мария и пошла отпирать ворота, в которые громко стучались. — На Петра бы не лаял.»

- Гражданка Сысоева? — спросили за воротами и осветили женщину фонариком.

- Сысоева, — подтвердила Мария и заслонилась ладонью от фонарного лучика.

Двое штатских, с военной строгостью в спинах, прошли во двор, поскрипывая сапогами. Один из них сильно пнул рычащего Тобика и матерно выругался. Не представляясь и ничего не объясняя, незваные гости взошли на крыльцо. Оглянулись.

- Кто еще дома, хозяйка? — спросил мужчина пополнее и пониже ростом.

- Никого, — ответила Мария, — сынишка спит.

- И где? — спросил полный, входя в дом. Поводил фонариком по сторонам.

Мария шла следом. Дурные предчувствия сбывались и лишали сил.

От шума проснулся Жоржик и вышел из спаленки на свет. Наткнувшись на чужих людей, он громко позвал мать и кинулся к ней в объятья.

- Обниматься потом! — сказал, разозлившись, полный. — Показывай, где документы?

- Какие? — начав приходить в себя, спросила Мария, — Вы кто такие будете? Что за дела?

- Звиняюсь, — полный присел на стул и вытащил из внутреннего кармана тужурки книжечку. — Старший оперуполномоченный Кузькин. Вопросы будут?

- С Петром что? — спросила Мария.

- С Петром? Что с Петром? Это я у тебя должен спросить, гражданка Сысоева! — закричал назвавшийся Кузькиным. — Письмо, письмо давай, зараза!

Жоржик заплакал. Тобик завыл.

У Марии ослабли ноги. Чуяла она, чуяла: добром не кончится вся эта чехарда с поездом, операцией в московской клинике и хлопотами Петра насчет инвалидности. Столько лет прошло, а в доме нет покоя.

Мария отпустила Жоржика.

- Лампу можно зажечь?

- Жги, но мотри у меня! — разрешил, смягчившись, полный.

От лампы по комнате забегали кривые тени, и Жоржик прижался к матери.

Мария подставила табурет, достала со шкафа картонную коробку из-под обуви.

- Дай сюды! — потребовал полный и вырвал коробку из рук женщины, рассыпав содержимое на стол. — Ты чего стоишь? — спросил он напарника. — Пошмонай в углах.

- Есть! — козырнул напарник и бульдозером врезался в пожитки Сысоевых.

Близилось утро. Легкая малиновая полоска стала пробиваться сквозь ставни и легла на ворохи бумаг, которые изучал полный.

- Ага, — сказал он, — вот и докУмент!

Мария из-за плеча опера узнала конверт с письмом из столицы, в котором сообщалось, что жалоба гражданина Сысоева П. Т. на предмет удовлетворения иска в МПС будет рассмотрена.

Полный спрятал конверт в планшетку на длинном ремешке и приказал Марии:

- Собирайся! Поедешь с нами.

- Куда? — Мария торопливо подхватила Жоржика на руки: — С мальчиком?

Полный не ответил. Что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу:

- А дедуся игде?

- На кладбище, — последовал ответ.
- Когда успел? Живым числится...

Мария объяснила. Кузькин, ругаясь, сказал, что, мол, у этих козлов и японских шпионов все не как у людей и дал команду подогнать эмку. Прежде чем сесть в машину, Мария зачерпнула из кадки воды Тобику, вдохнула запахи яблок со стороны сада и в мыслях пожалела оставшуюся без хозяйки Майку.

Рассвет наступил. Двойная верхушка кипариса в палисаднике окрасилась знойным золотом лениво восходящего солнца. Уже далеко отъехали, но все еще был слышен, как по покойнику, вой Тобика.

Могилу Ушкуйникова нашли сразу. На скамейке напротив обнаружили неподвижного Трофима.

Челюсть старика отвисла далеко вниз, глаза широко раскрылись на усохшие сучья акаций, а борода уперлась в небо. Кузькин вышел из машины и помочился на колесо, искренне возмутившись:

- Умники! Мрут без команды! Патриархи, мать твою!

Мария бросилась к телу старика, широко, как при астме, открывая рот:

- Я же говорила, папа, что писем не надо!

Высоко над кладбищем, держа курс в сторону, противоположную обеденной тени, появился гусиный косяк, унося душу Трофима на родину осиротевшего кипариса.

Светлана Дурягина, Чагода

Чеченец

Звонок в дверь, раздавшийся в два часа ночи, выдернул Марину Сергеевну из постели. На кнопку давили изо всех сил, и, обычно мелодичный звон теперь, в ночной тишине, грохотал, разрывая перепонки ушей. Марина Сергеевна побежала, теряя тапочки, в прихожую, приникла к глазку и тут же торопливо открыла дверь. Перед ней переминался с ноги на ногу зять Вадик с перекошенным белым лицом и беспокойно бегающими глазами. Увидев Марину Сергеевну, он возбуждённо заговорил, жестикулируя забинтованными руками:

- Мать, я всё-таки убил этого пацана. И койку его сжёг. Но он первый начал.

Он этих хачиков под кроватью прятал, а они другу моему Ромке голову отрезали. Я их всех замочил и больничку поджёг. Спрячь меня! Сейчас сюда менты приедут. Они меня уже ищут!

Вадик оттолкнул оторопевшую Марину Сергеевну и бросился в гостиную, попытался залезть под диван — не получилось — заметался по комнате. Марине Сергеевне лишь через несколько минут удалось усадить его в кресло. Она гладила зятя по голове, уговаривала бьющегося в истерике парня:

- Вадик, сынок, успокойся, тебе всё это привиделось.
- Мать, я его подушкой задушил, а медсестре голову разбил графином, когда она его спасать вздумала. Хачики из-под кровати вылезать не хотели, так я постель поджёг. Менты сейчас здесь будут, но я им так просто не дамся!
- Вадик, ну погоди, успокойся. Всё будет хорошо. Я тебя никому не отдам.

Марина Сергеевна прижала к груди голову зятя и словно младенца баюкала его. Ей удалось уговорить Вадика выпить успокоительное, и через полчаса он спал на диване, свернувшись калачиком.

Ещё один звонок заставил Марину Сергеевну вздрогнуть. Она заторопилась к двери. Это приехала дочь Оля. У неё было усталое лицо, заплаканные глаза. Поцеловав мать, она спросила:

- Вадик здесь?
- Да, Оленька. Что на этот раз?
- Мама, ты же знаешь, он на работе сильно обжёг кислотой руки. Его увезли в больницу. Там сосед по палате, видя, как он мучается от боли, предложил Вадику водки. Ну и началось: он разнёс палату, чуть не задушил парня и убежал через окно. Хорошо хоть первый этаж, а то к ожогу ещё и переломы бы добавились. Мне позвонили из больницы. Больничного ему теперь не видать. Обратно они его тоже не возьмут. Пару месяцев будем жить на мою зарплату. Лечение дорогое. Что делать, мам?
- Доченька, ты же знаешь, я всегда была против вашего брака. Оленька, уйди ты от него, пока не поздно, пока ребёнка от него не понесла. Ты подумай, кого ты родишь от этого чеченца!

- Мама, ну что ты говоришь?! Я же люблю его. Я два года его ждала. Разве Вадик виноват, что его родители, обычные учителя, не смогли сына от армии отмазать. Ты ведь знаешь: у тех, кто в Чечне служил, крышу сносит с банки пива. Вадик не пьёт. Ну, вот так получилось.

Марина Сергеевна тяжело вздохнула:

- Ох, Оленька, боюсь я за тебя, и Вадика мне жаль, но за твоих будущих детей мне ещё страшнее.

- Ладно, мам, пойдём спать. Вот увидишь: утром Вадик опять будет самым лучшим зятем на свете.

***

Утром Вадим появился на кухне, виновато пряча глаза. Тихо спросил хлопочущую у плиты Марину Сергеевну:

- Мама, я вчера что-то натворил?

- Да, уж, дорогой мой, проблем ты и себе и нам создал! Иди в спальню, Оля там, она тебе всё расскажет. Вадим повернулся и на цыпочках пошёл в другую комнату.

Жена спала, приоткрыв по-детски пухлые губы. Густые светлые волосы рассыпались по подушке, на тонком запястье свесившейся с кровати руки пульсировала просвечивающая сквозь нежную кожу голубая жилка. Под глазами темнели круги. «Плакала, наверное, из-за меня, дурака», — подумал Вадим и опустился у постели на колени. Ему очень хотелось поцеловать жену, но он боялся нарушить её сон и тихо стоял, лаская взглядом милое лицо.

Оля, словно почувствовав его присутствие, глубоко вздохнула и открыла глаза.

- Давно так стоишь? Иди сюда, — мягким со сна голосом сказала она и потянулась к нему. Вадим рванулся ей навстречу, сгрёб в охапку, не чувствуя боли в обожжённых руках, стал горячо целовать Олины губы, шею, грудь, бормоча между поцелуями:

- Прости меня, зайчонок, я, конечно, дурак! Думал: от водки станет легче. Прости! Я всё исправлю, если только никого не убил! Не убил?

- Ох, Вадик, и на этот раз обошлось. Но придушенного тобой парня еле откачали, медсестра отделалась испугом. Вадик, я не переживу, если ты натворишь что-то такое, за что тебя посадят в тюрьму.

Оля гладила широкие плечи мужа, его голову с короткими, по-армейски стриженными волосами. Вадим прилёг с ней рядом, крепко прижал жену к себе. Оля попросила:

- Дверь закрой, пожалуйста.

- Не бойся, зайчонок, твоя мать — интеллигентная женщина, она сюда не войдёт, зная, что мы вместе. Я так соскучился по тебе!

- Мы тоже соскучились, — сказала Оля и, таинственно улыбаясь, погладила себя по животу.

- Кто это мы? — спросил Вадим и дурашливо поцеловал жену в нос.

- Я и твой ребёнок.

Вадим подпрыгнул на постели:

- Что? У нас будет малыш? О, Господи, спасибо тебе!

Оля зажала ему ладошкой рот:

- Тише! Не вопи на весь дом. Я пока не хочу, чтобы это знал ещё кто-то, кроме нас с тобой.

Вадим, счастливо смеясь, горячо целовал жену, награждая её между поцелуями всеми ласковыми словами, какие он только знал:

- Солнышко ты моё, рыбка моя, милая моя девочка...

***

Оля была на седьмом месяце беременности, когда к ним в гости нагрянул бывший командир Вадима, с которым они полтора года служили в Чечне. Лейтенант был обязан ему жизнью. Вадим, сам раненый и контуженый, тащил на спине полумёртвого командира по горам почти двое суток, обливаясь кровью и время от времени теряя сознание. Увидев обезображенное ожогом лицо лейтенанта, Вадим до мельчайших подробностей вспомнил всё, что с ними тогда произошло.

Их взвод рано утром (до наступления жары) отправился на грузовике к новому месту дислокации. Вадим сидел на последней скамейке у заднего борта и наслаждался удивительной красотой раннего летнего утра в горах. Солдаты курили, переговаривались, а Вадим, подставляя лицо ласковым солнечным лучам, напрягал память, вспоминая строки из романа своего любимого писателя: «...амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин... Весело жить в такой земле! Воздух чист и

свеж, как поцелуй ребёнка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше?!» Вадим подумал: «Поручик Лермонтов написал эти строки почти 170 лет тому назад, а ведь, в сущности, ничего не изменилось, только военная форма да количество жертв с той и другой стороны». Он вздохнул и хотел уже попросить у товарища закурить, но в это время машина остановилась, и Вадим услышал, как командир, открыв дверцу кабины, разговаривает с кем-то. Ему отвечал женский голос, а вскоре к заднему борту подошла молодая беременная чеченка в тёмном, наполовину скрывающем её лицо платке. Она «голосовала» на обочине, и лейтенант приказал водителю остановиться и подвезти её, как она просила, до ближайшего аула. Ехать в кабине женщина отказалась. Солдаты откинули задний борт, помогли ей забраться в кузов, уступили место поближе к кабине, где меньше трясло. Машина двинулась дальше, и притихшие было ребята опять заговорили кто о чём.

Через несколько минут раздался сильнейший взрыв. Вадима выкинуло из кабины в придорожные кусты. Это спасло от переломов, но кусок металла догнал его, и от сильного удара в голову он на какое-то время потерял сознание. Когда Вадим очнулся, то увидел на дороге пылающую машину и несколько солдатских трупов возле неё. Превозмогая разрывающую голову боль и подступившую к горлу тошноту, он заторопился к горящей машине, дёрнул ручку дверцы со стороны, где сидел командир, увидел, что на нём горят волосы и одежда, услышал хриплое: «Шахидка, сука!» — и упал под тяжестью свалившегося на него лейтенанта. Вадим волоком оттащил потерявшего сознание командира подальше от машины, потушил на нём тлеющую одежду и хотел ещё раз вернуться, чтобы поискать живых, но в это время взорвался бензобак, и грузовик разлетелся на сотни огненных кусков.

Лейтенант сильно обгорел и, видимо, был в шоке от боли. Вадима мутило от запаха горелого мяса, которым несло от командира; солёный пот разъедал его ободранное лицо, тупо болела рана на затылке, ноги подгибались и плохо слушались его, но он упорно тащил на спине безжизненное тело своего командира и уже не замечал той волшебной красоты, которая совсем недавно очаровала его. Теперь уже чужие и враждебные горы окружали Вадима, ещё недавно ласковые лучи солнца нещадно палили его окровавленную голову, и только два слова, словно заклятие, стучали в висках в такт шагам: «пить-жить, пить-жить»...

Вадим не помнил, как их подобрали свои и отправили: его в медсанбат, а лейтенанта — в госпиталь и потом — в Москву, где след его затерялся. И вот теперь спасённый им командир, обезображенный ожогами, но живой, тискал Вадима в объятиях, хлопал по спине и растроганно басил:

- Здорово, спаситель, вот и свиделись!

- Здравствуйте, товарищ лейтенант, проходите! — светился улыбкой Вадим. - Оленька, иди сюда, я тебя со своим командиром познакомлю.

- Да ну, какой я тебе теперь «товарищ лейтенант»? И кончай «выкать». Просто Виктор, — лейтенант осторожно пожал руку вышедшей к ним Оле. - А чтоб ты окончательно понял, что мы с тобой теперь братья, надо по древнему обычаю выпить хорошего вина.

Лейтенант достал из рюкзака большую, оплетённую лозой бутылку:

- Вот чача, первый сорт! Наши ребята с Кавказа в госпиталь привезли. Я сохранил до встречи с тобой. Давай стаканы.

Оля выразительно посмотрела на мужа. Вадим слегка смутился:

- Командир, завязал я с этим делом.

У лейтенанта вытянулось лицо:

- Да ты что, Вадик? Я эту бутылку три месяца, как невесту, берёг, а ты выпить со мной не хочешь! Не по-мужски как-то получается, брат.

Оля, накрывая на стол, тихо попросила:

- Не надо, Вадик, ты же знаешь, чем всё это закончится.

Вадим посмотрел на огорчённое лицо командира и сказал:

- Ладно, Оленька, всё будет в порядке. Мы «по чуть-чуть». Ты не бойся.

Но «по чуть-чуть» не получилось: они вспомнили аховые ситуации, из которых чудом выбрались живыми там, в горах; вспомнили друзей-однополчан; помянули погибших, каждого в отдельности, потому что для них эти молодые ребята, по чужой воле ставшие пушечным мясом, навеки останутся девятнадцатилетними. И за каждого пили, словно стараясь залить до сих пор полыхающий в их душах пожар проклятой чеченской войны.

Оля ушла в спальню, легла, обвязав разболевшуюся голову смоченным в растворе уксуса платком. Часа в два ночи осоловевший лейтенант с трудом добрался до дивана, а Вадим заснул, положив голову на стол. И опять приснился ему кошмар, в котором боевики убивали его друга.

Вадим с Ромкой охраняли блокпост, когда на них напали. Бой был коротким. После разрыва брошенной им в ячейку гранаты Вадим очнулся, спустя минут двадцать. Он едва разлепил залитые кровью веки и в нескольких метрах от себя увидел группу боевиков, остервенело изби-

вающих окровавленного Ромку. У него что-то спрашивали, но он ничего не отвечал, только глухо вскрикивал после каждого удара. Вадим поискал глазами пулемёт, из которого они с Ромкой отстреливались от внезапно напавших на них моджахедов, и увидел его, развороченного взрывом, недалеко от себя. Автоматы, его и Ромкин, висели на плече одного из боевиков. Вадим заскрипел зубами от бессилия помочь другу и на мгновение, как ему показалось, закрыл глаза. Когда он открыл их снова, то увидел друга стоящим на коленях. Здоровенный бандит с ножом в руках шагнул к нему — и Ромкина голова с широко распахнутыми синими глазами покатилась к Вадиму, оставляя кровавый след на камнях. Вадим вцепился зубами себе в руку, чтобы заглушить крик ненависти и боли, и в очередной раз потерял сознание.

Оле не спалось. Она встала и потихоньку побрела на кухню, поглаживая руками живот. Малыш толкал её изнутри, беспокоился, не спал, как и она. Оля остановилась на пороге кухни, глядя на заснувшего в неудобной позе Вадика, увидела исказившееся во сне, мокрое от слёз лицо мужа, услышала, как он стонет и скрипит зубами. Волна жалости и любви к нему захлестнула ей сердце. Она шагнула к столу, положила на голову мужа ладонь. Вадима словно током ударило. Он вскочил, не понимая, где находится. Перед глазами всё ещё были бородатые морды хохочущих над истекающим кровью трупом Ромки боевиков. Взгляд его упёрся в лежащий на столе спецназовский нож, подарок лейтенанта. Вадим схватил его и, как учили, молниеносно нанёс два удара в фигуру с тёмной повязкой на лбу: снизу — в живот и выше — в сердце.

Иван Зародов, Чагода

Барабашка

Время сдвинулось к полудню. Выходили мы с женою из лесной чащи на широкую, светлую и бесконечную для привычного взгляда просеку. Знали, свернем с нее на дорогу, что будет справа, и к дому выйдем.

Пустым и потому неуютным показался нам нынешний июльский лес. Ни гриба тебе путнего, ни ягод зрелых. Виной всему погода: с мая месяца по начало июля не было настоящих дождей. Теперь вот зато поливает нещадно. И похолодало. Спасет ли это ягоды от засухи, отойдут ли они, нальются ли соком пользительным, зрелым? Сомнительно что-то.

Вот и несу я домой в полиэтиленовом мешочке стакана два-три стакана черники да лисичек с десяток. У жены в руках шикарный букет ромашек. Любит она их до самозабвения. Я, признаться, тоже. О ромашках я думаю иногда так: дарит солнце людям желтые капельки своего вечного янтаря в белоснежном оперении лепестков-крылышек. Качаются цветы под легким ветерком, а мне кажется, что они разговаривают со мной на своем, неслышном, языке, который не каждому под силу разгадать. И я рад, что Создатель наградил меня способностью понимать его.

Снова из очередной бессчетной тучи на наши головы проливается дождь. Ленивый, как по обязанности. Вслед за ним солнце спешит осветить собою и осушить все движимое и недвижимое под собой на земле. Но не радует оно душу. Не верится, что июль, что пора спелой морошки, земляники, пора, когда земля обычно, вдоволь напоенная живительной влагой, обласканная солнечным теплом, по утрам укутанная легким белесым туманцем, дарит жадному взгляду охотника радостный миг встречи с первым грибом-колосовиком! Оглядываюсь я вокруг себя, и кажется мне, что и не полдень вовсе, а вечернее, предзакатное, время. Что не успеем мы добраться до дома, как завалится солнце за темную кромку леса, по которому мы сейчас идем.

Иду я себе, думаю образно, а сам по сторонам привычным, ищущим взглядом шарю, вдруг что-нибудь отыщется для души интересное среди ветвей деревьев, среди пенья-коренья. Одаривает меня иногда лес своими подарками: то корешок-завитушку подсунет, то кап. Смотришь на него и не серую массу нароста на дереве вдруг увидишь, а лягушку, что приготовилась к очередному шажку-скачку, сучок, что торчит из замшелого пня пальцем Лешего. Много у меня такого добра скопилось. Висит, к примеру, в большой половине на ковре кап один. Когда я его, помню, нашел, первым желанием было: не брать. Но что-то удержало меня от этого. А дома на подоконник поставил, под свет заходящего, солнца и удивился: в бесформенной коричневой лепешке нашли себе приют две человеческие души. Одна, с лицом грека, другая — монаха-схимника. И теперь, когда приходят мысли о прошлом, вечном и будущем, посмотрю я на них и утверждаюсь в том, что ничто из деяний человеческих не исчезает из памяти земли бесследно. Все хранит она в недрах своих, истерзанная, бессчетное количество раз проклятая и воспетая заново. Рождает она души наши людские для продления этой вечной своей памяти по себе.

Стой! командую я вдруг жене. Смотри! Вон туда! И показываю ей рукой влево, где на песчаном пригорке, похожая на клюку старца-странника, растет сосенка. Необычно растет: с полуметровой высоты вершинка ее вдруг снова потянулась к земле, к материнскому ее теплу и ласке.

Вон он! Точно он! — И подставляю жену поперед себя, видишь, Барабашка наш головой крутит-вертит, нас с тобой высматривает!

Потом я торопливо лезу вверх по откосу, боясь, как бы луч солнца не свернул в сторону. Достигаю цели и накрываю изгиб сосенки ладонью. На некоторое мгновение замираю, а потом сжимаю пальцы и нутром ладони чувствую — не ошибся. Тут он! И когда окончательно в этом убеждаюсь, отнимаю ладонь, и на свет появляется золотистая головка с не ясным, словно сонным, ликом. Возрадовался я от этого еще пуще. Вокруг сосенки заприплясывал, жене показываю, расхваливаю, и убеждаю ее в том, что это как раз то, чего я так давно хотел — портрет нашего домашнего Барабашки. А сам в уме уже прикидываю, как глаза оживить, каким нос будет: длинным, как шило, острым или маленьким, мясистым. Делаю надрез по самому изгибу ствола сосенки и скрытая, потаенная душа деревяшки сращивается с моей.

С большим нетерпением добрался я до дома. И пока жена приводила себя в порядок, хлопотала с поздним обедом, сработал я Барабашку окончательно. И глаза выжег-вырезал, очертил бровями, ресницами пушистыми, нос-пятачок с дырочками вычернил. Задумал было, пару зубов в рот вставить. Прикинул и не стал этого делать, потому как веселость с лица тогда вмиг исчезала. Делалось оно серьезным, старческим. А Барабашка у нас, точно знаю, молодой и улыбчивый. Характером покладистый, добрый и понятливый. Дома нас часто и подолгу не бывает, и он терпеливо сносит свое одиночество. Не дебоширит, сохранит все до нас в целости и сохранности. Ценим мы его за это. Когда возвращаемся, подолгу беседуем с ним, говорим не очень громко, чтобы только слышал. Интересная тогда у нас с ним беседа получается, с невидимым.

А уж как он рад, когда на время приезжают сын и теща! Подходят они к шифоньеру, а он им тихонечко: «скрип-скрип» дверкой или полочкой своей. Голос подает, значит, здоровается. А как ответ получит, прошепчет что-то свое, как газетой прошелестит и успокоится.

И так нам всегда хотелось иметь хоть какое-то зримое представление нашего ангела-хранителя. А теперь вот повезло. Боюсь, правда, может, не совсем я разгадал характер Барабашки. Но все же спокойней мне стало, радостней на душе. Как праздник какой! Оттого, что еще одну душу добрую, потаенную от глаза людского до поры-времени свету Божьему явил, как сумел.

Ставлю перед сном фигурку Барабашки рядом с часами на свой рабочий стол в маленькой комнате, напутствую вслух: «В час добрый, дружок, на счастье!» Жена присоединяется ко мне, вторит: «На счастье!»

И я уже не сомневаюсь более: так оно и будет.

Наталья Каманова, Вологда

Венок для реки

Представь да лучше закрой глаза, — наш город, самые первые и смутные воспоминания из детства, когда новое оставляет такой необыкновенный, больной след, как рана. Деревянные домики, заборы, огромные деревья, лужи. Это, конечно, ранняя весна, или оттепель. И воздух — влажный, тяжелый, ты ведь знаешь! И — темно, темно кругом! Редкие фонари, их свет дрожит! Прохожие проплывают. Две собаки бегут мимо. Сверкающий асфальт струится под ногами. И, должно быть, вечер, и сумерки проливают магнетический вязкий синий свет, и мир вокруг дышит им, и я тоже жадно пью его. Посмотри, мне кажется, сегодня такой же вечер, как будто что-то ко мне вернулось. Набережная у Красного моста. Я иду рядом с папой, вижу город, как сказку, такую довольно загадочную и таинственную сказку, как древний лес, как музыкальную шкатулку, старую, с чудесными украшениями и сломанную, так что можно с ней и поиграть. А река — это просто поток живого волшебства... это моя старая Вологда, мир, наполнявший всю меня таким трепетом и любовью. Я вспомнила об этом именно сейчас, потому что все вернулось...

Первый поцелуй. Ты хочешь послушать, да? Хорошо. Опять Красный мост. Оказывается, многое с ним связано. Солнечный веселый зимний день. Почему веселый? Я тогда заметила, что для замерзающих людей на автобусной остановке и курящих студентов у Политеха он не был веселым, и некоторые смотрели на меня с завистью голодных собак. Почему? — Прекрасный Незнакомец. Мы рука в руке бежим по городу, снегу тогда выпало столько, слетаем

с моста. И вот — колыбель моего первого поцелуя. Что ты улыбаешься? Ничего у нас не вышло, прекрасный незнакомец так и остался для меня Прекрасным Незнакомцем, я даже имя его нарочно забыла. Ничего больше тебе не расскажу... тебе весело? Да, все была неподалеку от твоего дома.

Знаешь, в тот день нашей первой встречи, я пошла домой пешком, чтобы день продлился еще дольше. Я ни о чем не думала. Небо уже поблекло, сгущались тени. Столько чаек летало у моста, целая стая. Так низко. Я остановилась рассмотреть их. Смотрела долго, а потом медленно шла по берегу. Это ведь был август. И солнце на исходе дня отдавало миру такой немыслимо чистый медовый свет, что все эти домики, кусты, заборы в сетях уже засохшего вьюнка, пыльная дорога, казались какими-то совершенными творениями вселенной. Твои глаза, особенно когда ты улыбаешься, излучают такой же. Крапива, лопухи, отцветающие травы, как венок, украшали реку Вологду. И в этом свете водичка была драгоценной. Любовь моя, мы дождемся августа и как-нибудь пойдем гулять вечером по берегу. Я буду провожу тебя, а потом ты меня. Я люблю представлять себе этот вечер. И я уже не буду смотреть на другой, как часто бывает, когда иду одна, берег, будто там есть что-то таинственное, что недоступно. Я буду смотреть на тебя, моя нереальность здесь, так рядом... я люблю представлять, что...

Теперь ты понимаешь, что я люблю? Я тоже.

Больше всего — тебя...

***

Какой нормальный человек стал бы задумываться, что он любит в самом себе. И других забот у современного человека сейчас хватает; не XVIII век, не до подобных размышлений. Ну, если только угораздит оказаться на кушетке у психоаналитика или психиатра, или психолога, то и не в таком заставят (за определенную сумму) разбираться. Но все же.

Как я ни напрягала свой утомленный учебой и вообще жизнью этой мозг, никакого результата на запрос он не выдал. Получается, сейчас я ничего не люблю в себе? А что такого? Можно, конечно, предположить, что я очень скромная или слишком самокритичная. Думаю, нет (я думаю, еще задумываюсь — тоже неплохое качество). Что же делать, любишь — не любишь, а все равно живешь. Нельзя же от себя отказаться, поменять, так сказать, товар, как в магазине. Привыкаешь, даже что-то новое в себе можно неожиданно открыть — бонус. Все это звучит как-то слишком невесело, бесперспективно. Признаваться в этом, никому, конечно, нельзя. Я и не буду. Только по секрету. Могу целый список легко составить, что не люблю. Как будто со стороны посмотреть на себя. И страшно становиться?

Театральная пауза.

Нет, ничего подобного. Есть над чем работать, что пора в себе менять.

Только бы окончательно не стать роботом, машино-человеком, запрограммированным на выполнение определенных задач. Не относиться к себе как к проекту, должному быть суперуспешным.

Иллюзии юности и на счет себя самой, как карточный домик рухнули от нескольких дуновений реальности. И какое-то время я не хотела заглянуть внутрь себя. Не боялась, просто не испытывала совсем такой потребности. Но, когда время пришло это сделать, пустоты и хаоса там не было. На дне непостижимой глубины души, как на дне реки, я обнаружила что-то новое и прекрасное. Это независимость, её сила. Не знаю, много ли во мне её, но ростки имеются. Хотелось бы, чтобы они быстрее взошли и разрослись в полную силу.

Обожжена тобой

Я смотрю на этот огромный и чужой город из окна нашего тайного убежища. Город встречает рассвет. Но не просыпается, ибо всегда бодрствует. Он обращает к миру другое лицо, как древнее чудовище меняет свой ночной облик. Ты уже встал и перебираешь какие-то свои бумаги. Закуриваешь. Знаешь, как я не люблю запах табака. Ужасно злюсь, когда парень при мне курит. Сейчас я вдыхаю этот чудовищный дым жадно, с трепетом, как фимиам. Пьянею, голова кружится. Подхожу к тебе, обвиваю голыми руками сильные и широкие плечи. Целую долго и медленно. Шея, мочка уха. Губы. Я хотела бы отряхнуть предрассудки, мешающие нашим отношениям, так же легко, как ты сейчас стряхиваешь пепел. На твоем лице появляется торжественное и одновременно тревожное выражение. Не хочу ничего слышать, только твой голос. Ничего мне не поможет, и я ничего не хочу знать. Пусть жизнь идет своим путем. А я уже другая. Внутри я вся обожжена тобой. Мой голос, движения, всё изменилось. И я ощущаю

превращение как неизмеримое удовольствие. Эта другая новая женщина любит тебя, поддается твоей власти, но остается свободной.

— Уходи. Иди, куда город зовет тебя. А я буду ждать.

Меня зачаровывает странный ужас расставания. Ты владеешь собой в мире хаоса, а я парализована своей беззащитностью.

Прошло три дня. Впервые за много лет я захотела увидеть звезды. Светят ли они еще или давно погасли, раздосадованные моим безразличием и невниманием. Звездное небо также было полно своей неизмеримой печалью, тоской и глубиной.

Я распахиваю настежь окно и впускаю в свою черную комнату терпкий ледяной воздух ночи. Растягиваюсь на холодной кровати, мое тело вспоминает тепло и мягкость твоих ладоней. И я знаю, что ты думаешь обо мне, хочешь опять гладить мои волосы, смотреть в мои глаза, хитро подмигивать мне и получать поцелуи. Звонишь каждый день. Но я не отвечаю.

Занавеска мерно колыхается, потом вздрагивает и надувается как парус. Во мне растет любовь, как ребенок. Мне кажется, я немного ненавижу тебя. Ты прорастаешь в моем теле и в моей душе, что-то душишь во мне, убиваешь.

Хочу увидеть тебя завтра.

Наталья Киселева, Вологда

Выдумщик

В себе я люблю одно существо... его ошибочно раньше называли вдохновением. Нет, это ангелочек, это спасение мое... Он молчит, когда рядом люди, он пишет стихи моей рукой. Да-да, правда. Во мне-то нет ничего гениального! Сама я и двух строчек нормально сложить не могу!

Он очень правильный: не даст мне творить, когда на душе вина или настроение пустое...

Мой ангелочек — часть меня. Он выдумщик, экспериментатор, озорник: бывает, поднимет меня ночью с постели, чтобы записать пришедшие ему на ум строчки... а на утро я читаю и не помню, что написала их! Странно, правда?

Ангел выдавливает из моих глаз слезы, заставляет болеть душу при виде тех, кому плохо... хотя... он и есть моя душа... нет, скорее часть ее.

Вот самое дорогое, что есть во мне. Я его люблю, а он настолько слаб, что почти всегда молчит... Зато его крики в моей жизни — целые знаменательные события! О да! Как бы я жила без него? До чего бы опустилась? Чего бы не узнала? Спасибо ему.

Он же, знаете, рождает во мне смелость в самые опасные моменты жизни. Как же его не любить? Как же не любить того, кто оставлял меня пребывать на свете? — спасал.

Жаль, что он не имеет над моим «эго» большую власть и позволяет мне повсеместно ошибаться и путаться (как сейчас), но это уже сложно.

Любимая часть себя всегда должна быть положительной, светлой, а сущность человека — прямое следствие из этой части.

Понимаю, что это все романтика и «вата», но что делать, если оно во мне? Нежный, святой ангелочек... не погибай! Не делай меня черствее, озлобленней, корыстней... Живи во мне, иначе чего я стою?.. Доброе, нежное искреннее.

Пуська

Эта история началась, когда наша семья переехала из кипучего города на окраину, где за поселком начинается лес. Помню до сих пор, как я впервые увидела жизнь совсем другого мира. Интерес и тяга к природе оказались гораздо сильнее страха перед неизвестным, поэтому летом я часто спасалась от скуки, бродя по невидимым колючим тропкам.

Вскоре я пристрастилась изучать жизнь птиц, ящериц, ужей, кротов и др. Однажды я обнаружила совиное гнездо, разоренное хищными лесными муравьями; в нем лежали уже мертвые совятки, а на самом краю, еле живой от голода, сидел старший птенец. При виде меня, он сорвался вниз, и, на еще неокрепших крыльях, попытался от меня скрыться. Поймав наконец дикаря, я понесла его домой, где попыталась накормить сырой говядиной. Но птенец ни в какую не брал с моих рук еду: пришлось кормить его насильно, впихивая кусочки мяса в клюв. Добившись своего, я немного расслабилась, а он — возьми и прыгни мне в лицо! От боли я

зажмурила глаза и побежала в ванную комнату обрабатывать царапины, а когда, успокоившись, вернулась, увидела катающийся шипящий комок, состоящий из моего кота Семы и птенца.

Пуська (так я назвала совенка), покалечив нас с котом, сам чудом остался цел; конечно, Семка — не кот, а настоящий профан, иначе разодрал бы птицу в клочья, и моя история закончилась бы слишком быстро.

Прошла неделя. Последствия Пуськиных когтей практически исчезли с моего лица, да и сам он одомашнился, вот только остался за ним один грешок: слишком драл моих котов, охотясь по ночам. Когда мой экзотический друг подрос, я стала возить его с собой на дачу.

Бывало, едем мы с ним на велосипеде, а прохожие оглядываются вслед — не видели никогда такого! А каким счастьем это было для меня! Незабываемое чувство, когда ощущаешь на своем плече сильную совиную хватку; нет, это даже не боль, а что-то иное, не могу выразить, что...

Но, как говорится, все рано или поздно заканчивается. Однажды Пуська нас покинул — улетел, почувствовав зов природы. Конечно, разве это счастье уже взрослой птице жить в неволе?! На память от него мне осталась только пара фотографий и маленький, едва заметный шрамик на лице...

Болезнь

Да, это ненормально. Сама теряюсь в догадках, что со мной. Порой кажется, что смотрю на человека и вижу его насквозь.

Сегодня на лекции по литературе со мной случилось непонятное: я стала видеть около каждого человека светящийся «нимб» — у кого-то больше, у кого-то меньше. Мне стало страшно. Помигала глазами, но все осталось прежним.

Последнее время схожу с ума: смотрю собеседникам в глаза и угадываю их мысли. Мама ругается, что я отдалилась от семьи и никого не люблю... Увы, но ее горячие реплики не рождают во мне ничего. Пусто.

Люди перестали понимать мои стихи: одни видят в них желание умереть, другие — однообразность, а третьи — вообще глупое самолюбие.

Самое тяжелое в этот момент — что в душе с каждым часом копится все новая и новая тайная информация о людях, которую я просто невправе выдавать.

Однако это странное понимание помогает мне в общении. Но что толку от поверхностной болтовни?!

Чувствую, что остатки здравомыслия уходят из меня. Стараюсь больше молчать, чтобы не заметили.

Пожалуйста. Объясните мне, что со мной происходит?! Разве это нормально, что мои стихи сбываются в мельчайших деталях... В двенадцать лет написала я стихотворение о том, что я тону... И тем же летом в деревне точно бы утонула, если б меня не спас один человек. Потом нашла этот стих и поразилась совпадению...

Я уж не говорю о своевольном движении предметов в комнате и снах!

Увы, ничего вы мне не скажете нового! Слишком много думаю, чувствую, но мало открываюсь людям, и вообще половину придумала! Не так ли вы считаете? Но глаза-то говорят об обратном...

Какой я к черту поэт? Какой писатель? Я не заслуживаю подобного дара. Честное слово, у убийц больше любви в сердце, чем у меня! Я слепа к остальным, отдав всю душу по частичке теням из сна.

Андрей Наугольный, Вологда

Траншейная стопа

«Книга — прекрасная могила человеческого сердца».
Бабель

След в чужой рукописи. Я — редактор. Потерпевший — чудесный мастер психологической прозы Виталий Новоселов. О чем речь? О Дэшилле Хэммете. В одном слове — три ошибки. Я — безграмотный редактор? Нет, малоинформированный... Для справки: мастера детектив-

ного жанра в американских университетах изучаются в обязательном порядке. А у нас? Солженицын под вопросом?

Сознаюсь, читал данного автора вместо Конституционного права. И? И повезло. Знал три вопроса и — что удивительно! — и все они оказались в одном билете. Но... получил тройку, всего лишь... преподаватель был несгибаемым конституоналистом. Пришлось согласиться...

Зачем я пишу об армии!? — Спрашивают досужие умы... А чтобы не было таких статей, как нынче в номере «Премьера». Чтобы никто не наживался на солдатской трагедии. ЧП в Новосибирске... Думаю, Т. Сопина со мной согласится... Согласие — один из фетишей нового времени. Снизу — дедовщина, сверху — «не дадим опозорить родную часть», в итоге — еще одна изувеченная жизнь.

Умирая, Ахматова кричала: «Воздуху...».

Эту фразу я вспомнил, когда думал о Владимире Высоцком. О том, как он пел свою «Рвусь из сил и из всех сухожилий...». Прав Бондаренко, он тогда уже доходил, сил — действительно, оставалось мало... Его гитара звучала с надрывом, вид — мрачный... Смотрел на него, а перед глазами — подводная лодка — замечательная песня молодого Высоцкого «Спасите наши души!» — и другой актер, Леонид Быков крутит ручку, качая последние глотки воздуха... «Как молоды мы были, как искренне любили...

Защитное заземление. Интересные заметки Раневской о Твардовском.

Стоял у туалета, пьяный, но интеллигентный... хотел выпить чаю. А если бы стоял кто-нибудь другой, чтобы она сказала? В лучшем случае промолчала бы. А в худшем? В общем, все понятно...

Траншейная стопа — любимый термин «английского ленивца» сэра Уинстона. Что ж, очень неплохо... (Справочно: *стопа траншейная* — отморожение стоп в результате их длительного умеренного охлаждения; возникает при температуре воздуха около 0° и высокой влажности, главным образом, в военной обстановке).

Газовая война окончена? Из газетного заголовка. А была ли она? Вспоминаются слова Гете: «Все в едином, все должно выйти из единого и возвратиться в единое».

Счастлив, что Всеволод Андреевич выглядит хорошо и боится мокриц в туалете. Сказал, чтоб не боялся... По-моему, поверил.

Странное чувство охватывает меня, когда я пытаюсь понять: зачем написана эта книга — биография жизни и судьбы графа Алексея Николаевича Толстого? Ясно одно: граф писал и писал неплохо, а вот все остальное, что относится к литературной кухне или, вернее, около того — нужно ли мне все это знать? Не уверен... Какое резкое отличие от подобных книг из серии «ЖЗЛ», Например, от книги Юрия Селезнева «Достоевский».

В чем ошибка? Вероятно, в стремлении идти на поводу у мнения толпы. Даже, если это толпа Серебряного века, доверять ее вкусам не стоило... Люди были, как люди, серьезные и — весьма, талантливые литераторы, но после смерти Льва Николаевича Толстого, действительно, все покатилось, все скрепы оказались сорванными, об этом еще Чехов предупреждал и очень этого боялся... Смерть Толстого и крушение гуманизма в России — события одного порядка, тут уже анекдотом не отделаешься...

А дрязги между литераторами — обычное дело, мало кому интересное... Одно дело написать «Как создавался «Тихий Дон»» и совсем другое, как А. Н. Толстой поссорился с Эренбургом... Мировая чепуха, чеховское выражение... Вместо писателя — какой-то Ибикус. Писатель превратился в собственный персонаж... Сам этого хотел? Или... боялся идеологов от ЧК? Коминтерна?

А в кладовой — «Детство Никиты», «Хождение по мукам», «Аэлита», «Петр I», «Русский характер». Такое ощущение, что советскую литературу, читай, русскую литературу, И. В. Сталин понимал много лучше, чем современные литературоведы, которые пекут данные книжки, как блины.

Впрочем, о том, что у генералиссимуса был отменный вкус — известно давно, хотя бы на примере судьбы спектакля по повести М. Булгакова «Белая гвардия»... а блины лучше есть в «Вологодской избушке», желательно с «Вологодским маслом». Если уж с биографиями не выходит. У нас ведь как? Надои растут, а поголовье сокращается! В том числе и читателей... (Все в руках «Книжной палаты!»... Если о творчестве писателя — нечего написать, то нужен ли он? Варламов доказывает, что не нужен... Тогда зачем «ЖЗЛ»? Критерии отбора материала в серию, кстати, определил еще Горький? Человек достаточно искушенный в литературном

процессе: Гура «Как создавался...» — гамбургский счет литературоведения, показатель состоятельности вологодской школы, Селезнев — добросовестный и незабываемый исследователь, Михаил Бахтин — автор нового видения и, естественно, знаменитой «Полифонии...» Есть критерии, ворчу, потому что книга понравилась, да и возраст не тот, чтобы все хвалить... Вспоминаются завзятые ворчуны старой гвардии, например, Наум Коржавин, Фаина Раневская, Владислав Ходасевич... внушавший «желторотым поэтам отвращение, ужас и страх...». Ладно, поворчали и забыли.

...В книге о судьбе графа А. Н. Толстого Алексей Варламов избавился от своей же ошибки, допущенной им при написании биографии А. С. Грина, видимо, из-за любви к данному писателю... В жизнеописании Грина вместо биографии обильно цитируются его тексты, читать утомительно, потому что ловишь себя на мысли: а зачем? Может, лучше Грина перечитать? Здесь этого нет, больше реальной жизни, но, если честно, маловато литературоведения... Отсутствует аналитика. Неподготовленному читателю, безусловно, в пространстве данной книги живется легко, но — достаточно вспомнить радикальное горьковское «С кем вы, мастера культуры?», чтобы...

А, собственно, откуда уверенность, что А. Н. Толстой лишь талантливый беллетрист, я думаю, что в своем романе «Хождение по мукам» он попытался воссоздать эпос Революции. Попытку — Сталин и... читатели — признали удачной. И, в общем, по праву. Сталин ошибался не часто, жаль, ошибки бывали катастрофическими...

Остается утешаться мыслью, что время было такое и — читать биографию Рузвельта, написанную Чаковским. Замечательную повесть создал этот апологет режима, называется «Неоконченный портрет». Очень советую...

Можно бы еще и «Победу», но думаю, рановато.

Пастораль притчи во языцех или мировой кризис под сукном чиновничьих (читай, биллиардных столов! Естественно, не везде и не всегда. У меня Ися — сама готовый управленец) столов. Вчерашние трубадуры наших славных побед — неподкупные представители СМИ — потерянно бродят по остывшим мартенам, спрашивая у ветеранов: «А это не заразно?» Не знаю...

Известно одно: из столицы образцового региона, региона-донора мы становимся дотационной областью. «Мило, талантливо...» И все в одной лодке. Как-нибудь перетопчемся...

Интересно было узнать о том, что «траншейная стопа» сродни насморку фурштадского солдата, правда, существует значительная разница: в Англии — это служебный термин, забота о рядовых, а у нас — литературная аллюзия. Это грустно...

«...и изливается душа, как в сельской церкви темной.» А за окном — распахнула объятия душистая сирень, роза русской провинции... И аккуратная старушка, дочь священника, сельская учительница, вдова фронтовика, моего двоюродного деда — Антонина Васильевна читает мне свои стихи! Никому их не показывала. Читает. Почему мне? Я стихов категорически не любил? В тринадцать лет, как-то не приходило на ум... Больше некому было? Наверное... А теперь рад... доверию.

Себестоимость человека. Я, маленький, но уже читавший книги о битвах и ристалищах Александра Македонского, сам в своих детских играх разыгрывающий грандиозное сражение при Гавгамеллах, изучаю труд какого-то француза о боях и свершениях вологодских первопроходцев на Камчатке...

Тысяча приключений, ажиотаж. Один человек ранен, трагедия... Не понимаю, но очень нравится!

Не отсюда ли и традиция, «синдром» адмирала Воркова — за всю войну — на эсминце?! Всегда в авангарде — ни одного погибшего... Где тот, француз?!

Проблема реформаторов — у всех скверный характер. В народе — прозвище: «наглецы!» Особенно в России с ее патриархальными нравами, несмотря на времена... Можно не называть фамилии! В чем суть? Тебя не понимают, но времени объяснять нет. Поэтому... корпоративность плюс понимание и — тогда можно жить. Дружно. Все же, время — за ними. И ... кино будет. Кому нужны, те — кто ничего не может? Усредненность посредственности? Снова? Давайте, в данном случае — без скидок... Хотя и немного не по себе.

Определил цену собственной истории любви! Когда еще только начинали «ругаться» Ларисой Юрьевной, то хлебец «Домашний» стоил: 6 рублей, теперь — все уже позади? — 20 рублей. Вряд ли он стал за этот период лучше! Не любовная история, а «хлебное дело»... В отдельно взятой семье!

«Напиши мне отчет о проделанной работе?» — сказала мне воительница из шорт-листа премии... в общем, вы знаете какой! Думал, думал, а что может быть лучше готового материала, есть, правда, еще частности: диск «Утренние стихи», «Пленник реки» — сборник верлибров, подборка стихотворений в журнале «Свеча», публикация в газете «Маяк»... Наконец, эта вот литературная «розановка»... то ли настойка, то ли сорт какой вывел... Ладно, думаю, что Василий Васильевич хмыкнул бы одобрительно и отправил бы меня в Египет, на родину первых христиан, а если серьезно, то, вероятно, укорил бы меня за лень-матушку, пожурив, что я до сих пор еще не прочитал книгу Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик».

...подобные соображения возникли у меня после прочтения стихов Слуцкого: «...а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Тонули рыжие, а что сталось с гнедыми? Куда они делись? Об этом история умалчивает...

Пока не забыл... Бывают роли, способные навсегда оттолкнуть от тебя артиста?! Так, например, роль Леонардо ди Каприо в фильме о национальных гениях Франции... Вот, если бы французы сняли нечто подобное об Уолте Уитмене?! Кошмар! Наши добрее, если вспомнить статьи Корнея Ивановича Чуковского об Уайльде и Уитмене... хотя нынче многое изменилось: роль Безрукова в фильме об Есенине, изобразил национального поэта России идиотом? Ладно... критики сошлись во мнениях, что сериал был неудачным.

Забавно, на одном из своих портретов — Есенин! Молодой Есенин — как две капли воды, похож на мою мать, если бы не было подписи, я бы сказал, что это она... «Трава, в которой умирал Рембо...». Так испоганить образ поэта могли только американцы.

Прочел — одна за другой — две книги: «Приключения рукописи в эпоху разлома» Татьяны Сопиной и Александра Илличевского «Дом в Мещере». Что характерно, Илличевский — лауреат премии «Русский Букер», трижды финалист национальной премии «Большая книга»... книга, действительно, толстая — 357 стр. Сопина — журналист, книжка тоненькая — 51 страничка текста, но зато какого текста?! М. Н. Сопин писал, что он «обречен на сострадание». Без этого нет литературы... Нет и книги Илличевского, не дочитал страниц 50. Текст, как будто стерилизовали, не поймешь, какой национальности автор? Словно перевод с иностранного... Новые времена, большие книги и незаметные авторы. А Сопина написала... написала ли? книга-то о крестном пути...

Рассказ Виталия Ивановича Новоселова «Влюбленный кавказец!» — а если «Влюбленный житель Нечерноземья»? И то, и другое... мягко говоря, убого...

...С чего все-таки все начиналось?

Доклад в Доме пионеров о творчестве Батюшкова?

Стихотворения в школьном журнале?

Поход в редакцию газеты «Вологодский комсомолец»?

Участие в работе лито, которое возглавлял Виктор Коротаев?

Публикация в газете «Насон-город»?

Участие в работе лито, которое возглавляла Галина Щекина?

Победа в конкурсе, охватившем Северо-Запад, проводившийся в г. Костроме?

Конкурс имени Нины Искренко, замечательной поэтессы! Слушал вчера радио «Эхо Москвы», выступал Евгений Бунимович, депутат и поэт, милый, интеллигентный человек, человек из круга друзей Нины Искренко! Каждый раз радуюсь, когда слышу его голос. Всегда говорит по делу и в депутатах давно, значит, люди ему верят.

Публикация в «Литературной России», в газете «Досье-02»?

Публикация в газете «Красный Север»?

Да, чуть не забыл... победа в конкурсе и выход книги «ПМ». Анонс книги в газете «Русский Север».

До этого публикация в журнале «Путь к свету». Рассказ подарил своей учительнице по литературе Ольге Сергеевне Беловой. В подарок — через некоторое время — получил книгу об учителях школы № 2 с их статьями о проделанной работе, где было написано: «Есть даже один писатель — Наугольный».

Что еще? Журналы «Стрекоза» и «Свеча»?

Я думаю, все это началось с того времени, чудесного и незабываемого, когда я в первый раз прочел Книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера», захлебываясь от восхищения и священного ужаса, и не только — очень индейца Джо боялся... Да.

Оказываю помощь В. И. Новселову по переизданию и редактированию его романа в рассказах. Вещь — фундаментальная, как сама советская психиатрия. С чувством уважения и без всякого пафоса. Прошу учесть.

Человек — мера всех вещей.

Культура — это чувство меры.

Значит? Культура — это чувство человека. Чувства!? Такой вот позитивный силлогизм. Можете считать это софистикой эпохи возрождения качества. Везет мне на вчерашние газеты, нашел в родном подъезде «Литературку», Поляков нынче похудел, похудело и содержание, прямо на первой странице: образование под угрозой (Заходер одолел!), литература умерла, вымираем, братцы, и все... лет эдак через 50 — полный каюк. В нищей, малообразованной, непонятного вероисповедания стране.

Затосковал было я, но не надолго, рядом «маршировало» (от слова — марш) радио с названием из сферы безопасности, и знакомый голос выводил из хаоса поляковщины: «Нет повода не праздновать. Но в меру, в меру...». Запомнил...

Жизнь — это праздник, который всегда с нами.

Татьяна Ржанникова, Череповец

Сновидящая

Предусмотрительность снов была как нельзя кстати: вот уже много дней она проживала несколько жизней. Две из них были таковы: наяву — для Него, во сне — для Него же. Правда, во сне все было намного проще, хоть и сумбурнее.

В дремотных видениях ее Он почему-то изменялся внешне: всегда приходилось отгадывать Его то в раскидистом дереве непонятной породы, то в огромной косматой собаке, то — просто — в блике света или же едва слышимом, непонятно откуда доносящемся, голосе.

Но она узнавала его и принимала в любом облике.

Наяву Он тоже менялся, со временем приобретая новые жесты, привычки и свое к Ней отношение. И принимать эти перемены в реальной жизни ей было уже сложнее.

Она постепенно замыкалась в своем придуманном мирке, где все решения — на поверхности, и события могут развиваться так, как ты хочешь. А если уж очень страшно станет, то никогда не поздно крикнуть поглотившему тебя кошмару: «Исчезни! Не верю!», и он, шуршашим облаком выплыв из твоего окна, растворится в глухой ночи.

Сны она заранее не планировала, не запоминала, не отгадывала, — она ими жила.

Весь торопливый день ее с привычными, и потому до тошноты противными, делами и обязанностями был подчинен единой цели: поскорее забраться под теплое пуховое одеяло, свернуться как кошка клубком, обняв прохладную еще подушку, томно сомкнуть отяжелевшие веки, и ...

О, как благословенно это мгновение стремительного полета в безвоздушное пространство неги! Легко и бездумно струится сознание в воронку времени. И нет ни слов, ни боли, ни отчаянья — все остается в минувшем, там, позади, куда уже нет смысла возвращаться.

А впереди — сплошная импровизация и влекущее своей магией многоточие...

Так, в сновидениях, и осуществляла свой ход ее жизнь.

Так проходили месяцы, годы...

Пустое, в общем-то, существование.

В перерывах между этим нереальным, но лишь для нее — истинным движением жизни, она с удивлением замечала, что пришла неожиданно новая мода на одежды, фразы и жесты, что люди вокруг несказанно радуются бытовым обретениям, назначений которых она еще (или уже) не знала. Ее поражало то, что на улице, куда все-таки изредка она выходила, никто не смотрел ей вслед, как раньше. Никто не улыбался, не останавливал мечтательный взгляд; наоборот, почему-то (нарочно, что — ли?) наступали на ноги, толкали плечом, словно бы не замечали ее тощей фигуры.

Тем более странным казалось ей убийственно-гнетущее молчание ее старенького автоответчика, не замолкавшего ранее ни на минуту, кишащего прежде таким громадным количеством радостных, визгливых, томных, жалобных, сердитых, заискивающих, сухих и деловитых, доброжелательных и недоброжелательных голосов...

Каждый из них, помнила она, когда-то имел свое имя, лицо, пол, ну и отношение к ней самой, разумеется...

А теперь — было тихо.

Лишь обрывки чьих-то странных разговоров изредка заполняли душное пространство ее холостяцкой лачуги. Скорее всего, это были невидимые и потому, таинственные, соседи, а может быть, очередные персонажи ее сновидений. И тогда она терялась, не различая грани меж ирреальностью и явью...

Но детский рев за стенкой, постепенно перераставший в истерику, давал понять, что это — по-настоящему.

И тогда она, обезумев от такого смещения граней, хваталась за голову, царапала в кровь лицо, зажимала рот ладонями, чтоб не завыть от отчаянья, заголосить по-бабьи.

Это были безумные, и потому — безуспешные попытки разобраться в себе, а, следовательно, и в других; безнадежные поиски формул, с помощью которых она надеялась выстроить, доказать теоремы поступков, движений, ухающего внутри нее механизма, колотившегося с такой отчаянной силой, что гул и вибрация шли по всему телу.

Она пыталась проследить антологию чувств, событий и привязанностей. Но не могла.

Все, что происходило с ней в продолжительном сне, теперь уже казалось смешным, нелепым, бредовым, не подтверждающимся жизнью.

Засыпая, она вновь отметала реальность....

Одно только ужасало ее в момент пробуждения: куда же делся Он?

Он, терпеливый, заботливый, такой добрый, большой и надежный...

Он, говоривший, что в ее улыбке — загадка мира...

Он, тот самый, что трансформировался в ее снах в самых разных людей, но узнаваемый ею в любом обличии. Тот, который вечно ждал ее откровений.

Тот, кого она всегда спасала от беды и молвы в своих видениях. Тот...

И тогда...

Она пробудилась.

Пыталась разыскать его, прилагая все возможные и невозможные усилия.

Она выдергивала себя за волосы из болота этого одурения.

И уже не могла смотреть на вечно разобранную кровать. Вливала в себя литры крепкого, приторно-сладкого кофе. Ощутила, наконец, что у еды, оказывается, есть вкус. В общем, много чего еще поняла, прочувствовала заново. И, собравшись с мыслями и духом, вышла искать его по белу свету.

И до сих пор ходит. Кто знает, может быть, и найдет...

Вячеслав Харченко, Москва

Коктебельские истории

Колдун

Коктебельская набережная хороша вечером, когда проталкиваешься сквозь строй свечных огоньков, которые с заходом солнца зажигают торговцы на своих лоточках. В неясных тенях переливается разложенный на лавках товар, звенят развешанные тут и там колокольчики, колеблются кожаные веревочки и женские бусики. Представляешь себя участником средневекового карнавала и при ходьбе немного гримасничаешь и еле заметно подпрыгиваешь.

В центре коктебельской набережной находится фонтан, а вокруг него располагаются художники и фотографы, которые с наступлением темноты отодвигаются на второй план, потому что все внимание привлекают гадалки, хироманты, маги и колдуны. Они зазывают публику, хватая ее за руки и прорицая будущее. Делают они это активно, и только один колдун в байковой, вышитой геометрическими фигурами жилетке сидит отдельно и никого не трогает. Седой, бородатый и суровый, он смотрит мимо тебя и нисколько не зовет, а предупреждает, что именно он и есть самый лучший. Рядом с колдуном находится табличка «Петрович», а у других гадалок и магов таблички «госпожа Феодора» или «факир первой гильдии ибн Салам».

Я три раза пытался подойти к Петровичу, но всегда был в компании, а мне казалось, что идущие рядом осудят мой поступок, так как я человек с образованием и не должен верить в колдовство. Но однажды я специально сбежал ото всех и нашел Петровича занятым какой-то дамой в соломенной шляпе, однако ждать окончания сеанса не стал, в который раз поддавшись собственной стеснительности.

Потом когда я уезжал, Е. принесла мне визитную карточку Петровича, зная, как я хотел к нему попасть. Я поблагодарил Е. и спрятал карточку глубоко на дно дорожной сумки, чтобы в следующий приезд осуществить задуманное, узнать свое будущее и бросить курить.

Трава— мурава

По побережью в огромном венке из синеньких полевых цветочков ходит баба Анджела и, аккуратно переступая через отдыхающих, кричит: «Кому трава-мурава. Помогает потом, помогает сперва, мальчишки — снимайте штанишки, девчонки — распахивайте юбчонки». Так как в Коктебеле нравы свободные, многие спрашивают у бабы Анджелы чудесные снадобья для души и тела, и она, подолгу останавливаясь у каждого вопрошающего, рассказывает, что и как надо заваривать и пить, чтобы не утратить молодость и силу влечения.

Однажды Анджела исчезла с пляжа, а мы видели ее в телевизоре в передаче у модного московского ведущего, где она говорила о целебных свойствах горных карадагских трав и способности обычного человека продлить свою интимную жизнь как можно дольше. Баба Анджела была убедительна, зал ей рукоплескал, а ведущий отнесся по-доброму, несмотря на щекотливую тему.

Когда баба Анджела вернулась в Коктебель, ее торговля на пляже на время замерла: все ждали, как поведет себя новая телезвезда. Но характер Анджелы не изменился, и поэтому торговля восстановилась: два пучка утром по двадцать гривен и четыре пучка вечером по двадцать пять гривен.

Напарник Кобзона

Тарас вышагивает в белых холщовых штанах, закатанных до колена, и сандалиях на босу ногу по деревянному настилу, а мы еле за ним поспеваем. На Тарасе нет майки, черная прожаренная кожа искрится фиолетовыми разводами на солнце. На голове у Тараса шапочка с вертикальным вырезом, напоминающая тюбетейку.

Тарас жестикулирует и кричит:

— Да вы знаете, кто я такой? Да я здесь первый певец! Когда в кафе «Лира» приезжала Верка Сердючка, Тараса специально вызывали. Я вышел, запел — и весь зал замер. А когда «Песняры» в Керчи были, так исключительно за мной мерседес прислали. Машина ехала двести километров в час, чтобы успеть. И успела. Когда прилетел Иосиф Давыдович, он услышал, как я в кафе «Богема» пою, и после выступления вышел на сцену, обнял меня и сказал: «Вот он, мой напарник. Давай, Тарас, по стране вместе ездить, деньги зарабатывать».

— Ну, а ты чего? — спрашиваем мы.

— А я — ничего. Я ему говорю, что влюблен я, господин Кобзон, в Крым и никуда уехать не могу, так что езжайте в Москву без меня, но я, если позовете, могу в гости приехать, попеть вам коктебельский шансон.

Тарас садится на бетонный парапет набережной, болтает в воде ногами, пристально смотрит из-под руки прямо на пекущее полуденное солнце и поет коктебельский шансон.

Слон

Слон — это легенда белорусского андеграунда, рокер со стажем из Минска, который ежегодно приезжает в Коктебель, чтобы поиграть и попеть джаз в кафе «Лира».

Слон начинал при коммунистах в Минском педагогическом институте, где отказался учиться на русском языке, потому что по паспорту белорус. А так как учителей и учебников не было, он самостоятельно по где-то добытым книгам выучил белорусский язык и запел на нем.

Фурор был огромный, потому что уже сам по себе сыгранный джаз-рок должен был вызвать вулканическую реакцию у публики, исполненный же на белорусском, полузабытом и никому не нужном языке, он приобретал какое-то революционное и антисоветское звучание. Слон был с треском выгнан из института, и его жизнь покатилась по наклонной плоскости. Его исключили из комсомола, уволили с работы, и участь Слона была бы предрешена, если бы не перестройка, с началом которой у белорусскоговорящей группы образовались поклонники, альбомы и заграничные гастроли.

Пик славы группы Слона пришелся на начало девяностых, когда ее включили в концерт «Рок против апартеида» на Уэмбли, а сингл Слона «Батя, батя», спетый на белорусском, вошел в хит-парады крупнейших англоязычных радиостанций.

На родине его носили на руках и показывали по телевизору, пока не сменилась власть. После этого Слон вынужденно остался дома без больших площадок, а подвальные клубы не кормили. Тогда Слон решил ежегодно приезжать в Коктебель, чтобы заработать впрок.

Сегодня как раз его концерт в кафе «Лира». Он будет стоять, несмотря на жару с саксофоном, в кожаной куртке с заклепками и петь на белорусском языке про свою патриотическую позицию, а публика ему будет кричать, чтобы он исполнил про Галю или про Стеньку.

Кондратий и кислород

Художника Кондратия в Москве зажимают, а в Коктебеле — нет. Он приезжает поздним маем и живет до конца сентября, рисуя отдыхающих и проводя творческие акции.

Когда проводится творческая акция, весь поселок усеян плакатами с его физиономией, в которых разъясняется день и время проведения акции.

15 сентября Кондратий и его друг и соратник Пехлеваниди, взяв запас кислорода, залезли в холщовые зашитые мешки и прыгнули с пирса возле фонтана в глубину Черного моря. Потом подъехали приятели на мотоциклах «Урал» и стали их вытягивать баграми, но все время промахивались, и поэтому вызвали водолазов, которые за сто гривен нашли на дне Кондратия и Пехлеваниди.

Их достали под радостное улюлюканье публики, а я разрезал мешки, где сидели участники акции, сосущие кислород.

Чуть позже отогревшийся и порозовевший Кондратий говорил мне: «Вот видишь, Славик, как ко мне здесь тепло относятся. А в Москве бы уже давно вызвали милицию и сдали в кутузку, надавав по почкам».

Ослик

Ослик — это самое грустное и несчастное животное Коктебеля. Он стоит с таджиком на солнцепеке, возле столовой, и мучительно ждет, когда же кто-нибудь из отдыхающих решит на нем прокатиться. Иногда подходят дети и дергают его за хвост, а бывает женщины суют ему что-нибудь пожевать.

Ослика очень жалко — не знаю, почему. Вот обезьянку у фотографа почему-то не жалко или верблюда у игральных автоматов не жалко, а на ослика смотришь — слезы наворачиваются.

Когда я разбогатею и у меня будет куча денег, я обязательно выкуплю ослика у таджика и не стану его заставлять катать отдыхающих и старожилов за деньги. Он всегда будет получать порцию овса и ему не придется работать.

Спасение осликов — это гуманно.

Давняя любовная мечта

В Тарасе росту сто пятьдесят два сантиметра, а в Еве — два метра десять сантиметров. Ева волейболистка, она приехала в Коктебель с волейбольной командой Курской области на сборы перед Спартакиадой народов России.

Тренер Евы, старый хромой армянин, все время ходил вокруг девчонок и кричал матом, что они не так подают, не так ставят блок и все делают медленно, как коровы. Из-за этого девчонки запирались после тренировок в номерах пансионата и никуда не выходили. Ева говорила, что ей стыдно показывать людям, какие у нее длинные ноги и руки и какая большая ладонь, поэтому она на пляж вышла только один раз глубокой ночью, когда Тарас ловил на голый крючок без наживки крымскую ставриду.

У Тараса была давняя мечта — влюбиться в очень высокую девушку, и он сразу подлетел к Еве и очаровал ее, и Ева не вернулась в пансионат ни в эту ночь, ни в следующую, а вернулась только через неделю. Тренер-армянин исключил ее из команды, и Ева пошла к Тарасу.

Тарас посмотрел на Еву снизу вверх и сказал, что исполнилась его мечта о любви к высокой девушке, а Ева дала ему пощечину, так что Тарас отлетел на два метра, как волейбольный мячик.

Ева уехала в Курск, но после писем Тараса вернулась насовсем через два года.

Крымская ставрида

Крымская ставрида — это маленькая блестящая рыбка размером с палец, которая кидается на голый крючок в период лова, если чуть-чуть подергивать леску рукой.

Когда ставрида ловится, все коктебельское побережье усеяно лодками и баркасами старожилов, которые, красные и обветренные, выходят с ведрами в море, чтобы надолго пополнить свои рыбные запасы.

Кораблики стоят и качаются на волне, а в это время пассажиры с лесками вытаскивают прожорливую рыбку и складывают ее в ведра, чтобы потом закоптить или засолить. Крымская ставрида — это очень вкусная рыбка.

Никогда не верьте старожилам, которые берутся отвезти вас за деньги на рыбалку не в период лова ставриды. Ваши удочки будут бездействовать, на них не клюнет ни одна рыба, ну разве что бычок, и вы зря потратите время и деньги.

Смерть

В Коктебеле не песок, а галька. Поэтому частные пляжи закатывают бетоном метра на четыре, чтобы сразу прыгать в глубину, минуя мелкие и средние камни, разбросанные по дну. Из-за этого в Коктебеле нельзя входить в море постепенно, а приходится сразу прыгать с головой — оказываешься на двухметровой глубине, только руками и ногами успевай колотить, а если плохо плаваешь, то сразу тони.

Я плохо плаваю, но вместе с Н. полез в волну купаться, и меня понесло на торчащую со дна скалу. Но я гордый: бью изо всех сил по воде, молчу и постепенно приближаюсь к своей смерти. Вспомнил я маму, вспомнил я папу и братьев, но в последний момент закричал что было мочи: «Тону!» Н. подплыл ко мне и сказал: «Берись за бока и вытягивай по поверхности тело, только не суетись, а то оба потонем», — и мы выплыли на берег.

Потом, в спокойное море, я доходил до этой скалы. В месте предполагаемого утопления было метр семьдесят, а у меня рост метр семьдесят шесть на цыпочках, но я все равно Н. благодарен, потому что он никому эту историю не рассказывает.

Выступление в керченской библиотеке

Когда приезжаешь поэтом в Коктебель из Москвы, тебя обязательно посылают читать стихи в Керченскую библиотеку. Наверное, потому что такая традиция или места как-то связаны. В Керчь надо ехать по асфальтовой дороге на автобусе два с половиной часа. Там всех критиков и стихотворцев ведут в столовую покормить, проводят по казематам Керченской крепости, где чувствуешь себя солдатом Крымской войны, хотя крепость позже создавалась.

На выступление в библиотеку уже все приходят сытые и только не спеша пьют кофе и чай и жуют печеньки на креслах и стульчиках. Вообще, есть в библиотеке стыдно. Мучают мысли о трудностях периферийной культуры, а тут еще и ты со своим желудком. Перед выступлением приходят корреспонденты и берут интервью на украинском языке, и все московские мэтры толстых журналов молчат, а говорят какие-то другие, но позже начинаются чтения, где все меняется.

Кто-то громко и эпатажно славословит, кто-то рассказывает о делах, а я заикаюсь, когда представляю наш поэтический журнал, и потом К. в курилке больно хлещет меня по щекам, потому что я не справился с заданием редакции и все испортил.

После чтений московских поэтов выступают зрители. Они оказываются тоже поэтами и читают свои стихи, а мы слушаем, хлопаем друг другу и радуемся встрече с высоким.

Ночью едем в Коктебель и спим в автобусе.

Котята

Все коктебельские кошки — дикие, но они ходят по домикам отдыхающих и ищут какого-нибудь корма. Если вы будете им давать корм регулярно, то они за время отдыха привыкнут к вам и даже станут позволять себя гладить, например, по утрам, когда лакают ваше молоко.

По ночам коктебельские кошки бегают по бетонным пляжам и высоким межпляжным перегородкам, срываются с четырехметровой высоты вниз и падают со всей дури. Тогда раздается визг и шипение. Упавшая кошка немного лежит на бетоне, а потом, очухавшись, бежит дальше.

Когда видишь коктебельских кошек, особенно котят, понимаешь, что скоро закончится сезон, разъедутся отдыхающие, и вся эта полудомашняя живность останется без еды. Животные потянутся с пляжей к центру поселка, просясь в дома старожилов, но у них и так живут свои кошки, а куда девать новых — непонятно.

Из-за этого Е. начинала свой утренний монолог с того, что за шкирку несла ко мне котенка от местной приблудной красавицы и говорила, зная, что у меня в Москве питомцев в квартире нет, какой он чудный, какой он хороший и какой он ласковый. Котенок, прозванный за большие уши Локатором, урчал на моих руках и терся мордочкой о щеку.

Е. это проделывала каждое утро, и в конце концов, я сдался и запаковал перед отъездом радостное животное в кожаную дорожную сумку в качестве подарка жене.

Похороните меня рядом с Волошиным

Максимилиан Волошин умер в 1932 году и по собственному желанию похоронен на вершине холма Кучук-Енишар, откуда открывается великолепный вид на окрестности Коктебеля.

Если забираться на холм с писателями и поэтами, то долго идешь и думаешь, когда же наконец доберешься, а потом подходишь, запыхавшийся, смотришь на могильную плиту в лучах заката и думаешь: «До чего же хорошо!»

Когда мы так стояли плечом к плечу с К. и смотрели на окрестности, то он поглядел на меня пронзительно и сказал: «Хочу быть похоронен рядом с Волошиным». И как-то даже вздрогнул.

Хотя, если честно, я его понимаю. Чего еще надо поэту — ветер, море, солнце и вечность.

Губанов

Последним перед отъездом коктебельским вечером к нам пришел московский бармен Сема и принес бутылку местного «Алиготе». Мы сидели с Н. и Е. и смотрели на закат, а Сема рассказывал про цены на колбасу и сало на рынке «Крымский кооператор». Когда Сема ушел, мы пошли прощаться с соседями. Н. зачитал им «Полину» Губанова. Соседи возмутились и сказали, что ранний Губанов — это полное фуфло, а вот поздний Губанов — это сила, и привели пару цитат, на что мы с Н. затопали ногами и тоже продекламировали по памяти пару-тройку строк. Так мы и цитировали друг другу часов пять, а утром оказалось, что у Н. разбиты очки, а у меня побаливает плечо.

Е. вывинтила мне ухо, думая, что я, как обычно, во всем виноват, но Н. утверждал, что это было не так. Сидя на верхней полке в купе, он возносил руки вверх, громогласно твердил о моей чистоте и близоруко подносил железнодорожные билеты к самому носу.

В поезде

Когда на станции «Владиславовка» мы сели в поезд Керчь — Москва, Н. на мобильный телефон позвонила Лиля Федоровна Ж. и сообщила, что хотела бы приобрести пятьсот журналов «Современная поэзия» за бюджетные деньги для региональных библиотек.

Услышав это, Н. зарычал, как медведь, и бросился мне на шею, а Е. порылась в своем рюкзаке и достала бутылку коктебельского «Алиготе», чтобы отметить небывалый успех на ниве издания поэтических текстов наших соотечественников.

Мы открыли бутылку и наполнили бокалы, но в районе Джанкоя в наше купе постучали и вошли два суровых работника железнодорожной милиции, чтобы проверить наше поведение под воздействием алкоголя, ибо распитие спиртных напитков на украинских дорогах запрещено.

Изъяв документы у Е. (гражданки Беларуси) и покопавшись в паспорте Н. (выросшего в подмосковном городе Дзержинске), они перешли к моему паспорту под нескончаемый щебет Е. о наших героических усилиях в области поэтического самопожертвования.

В конце концов маленький с оттопыренными ушами, ткнув пальцем в строку паспорта с моей фамилией, произнес:

— Ваша фамилия Харченко?

— Да, — ответил я и заискивающе задергался.

— Вы родились в поселке Холмском Краматорского района Харьковской области в 1971 году?

— Да — я еще больше скукожился и закивал.

— Пойдем, Петро. Цэ наши гарны хлопци, — сообщил маленький с оттопыренными ушами своему напарнику и хлопнул меня по плечу.

Впервые в жизни я получил преимущества от того, что являюсь русским украинского происхождения, забывшим язык, но сохранившим фамилию!

Елизавета Чегодаева, Москва-Вологда

Подо льдом

Я вчера всю ночь таскала рыбу из проруби. Рыбу — робу — рабу... Нет, не раба, и никогда, никогда...

Я всю ночь напролёт — и что же это были за странные рыбы! Одна носила имя Эдуарда, другая — Юли... Тебя не помню, ты за прозрачной гранью, за коркой льда. Руку протянуть, узкая полоска между нами — тыкаешься в это ледяное железо — и не пробить, не пробить... Но ты-то под водой, тебе там прекрасно дышится, а я выброшена из проруби. Прочь, прочь...

Я так далеко на льду, мне не найти полыньи, я не доберусь сама. Веди меня, черти полосы на синеве льда, будь со мной...

Я рыбу таскала, только зачем я с собой ничего не взяла?

Увязать рыбу в платок — в платок из прошлой жизни. И одну за другой ронять её в снег — один угол платка обязательно распустится... Мой путь устилать будут плоские тела рыб... Ты найдёшь меня по ним, может быть, даже догонишь...

Только две дороги — мне скользнуть к тебе под лёд или тебе вынырнуть на искрящийся снег — ко мне, в мои обмороженные уж руки...

Нам ли выбирать?

Под снежинками

Кольцо запутывается в твоих волосах. Мне его купили, благословляя на «новую жизнь», а ты в «новую жизнь» не вписываешься, нет, нет... И что я тогда здесь делаю — рядом с тобой, на мосту, на перекрёстке всех ветров?

Прямо перед нами — запад, там ты живёшь, туда поезда всё идут и идут, скользят тёмными змеями между огнями домов и фабрик. А позади — восток, где деревня наша. Поезда туда не дойдут — потому и не тянется в ту сторону ни одной цепочки вагонов, даже грузовых... На север и смотреть нечего — ничего там нет, ни памяти, ни домов, ждущих нас. Нас с тобой — вместе. А по отдельности, пожалуй, и найдутся. Но что нам до них — здесь, сейчас?

Здесь, сейчас... Ладони твои поверх тёмной куртки, надёжно кутающей меня от январских холодов не первый и даже не второй год. Глаза близко, и в них всё, чего не было прежде, и на губах снег танцует и не тает — не успевает, я его собираю своими губами. По снежинке собираю, и за миг до того, как она растворится, чувствую все грани её, все острые углы, все запутанные узоры...

Серым шарфом играет ветер. Он длинный, шарф, и вьётся вокруг нас, и связывает, и развязать не хочет. И не надо. Будь с нами, будь вокруг нас, храни нас. Не навсегда — на одну ночь.

Ты думаешь, она наша, эта ночь, от зимних звёзд до уличных фонарей, от грохота колёс до моего еле слышного шепота.

А я чуть-чуть поверну голову — и на табло московского вокзала опять вспыхнут цифры 20.20, и две тени сольются в одну на забрызганном искусственным светом перроне... 2007 год закончился в Москве, вечером 30 декабря, и только мы об этом знаем — я, уехавшая в полузадохшемся от человеческих эмоций поезде, он, оставшийся в предпраздничной столице...

Но я никого не обману. Я не поверну головы, я буду смотреть в твои глаза, я рук не опущу, и ни слова не вычеркну из всего, что было сказано.

Может, когда-нибудь и придумают приборы, чтобы снимать информацию с губ. Но их нет — а снежинки есть, и всё летят и летят в лицо — и им нельзя дать растаять, никак нельзя...

Сквозь лес

Когда третьего из нас забрали в дурку, мы поняли, что всё слишком серьёзно.

Их кольцо становилось всё уже, мы чувствовали, как его железные бока вот-вот сомкнутся и расплющат нас окончательно.

И однажды ночью мы ушли.

Был зимний лес. Под ногами светились ледяные дороги, вокруг безмолвно вырастали чёрные деревья. Тишина пробиралась вовнутрь, пускала корни. Казалось, весь лес был виден как на ладони — кругом лишь голые стволы да талый снег.

Мы шли вперёд ровной шеренгой. Не держась за руки, не глядя по сторонам. Позади скрипели мёрзлые поляны, с глухим стуком падали с неба звёзды... Мы шли, мы не оборачивались.

Сухо горели глаза.

Мы и теперь идём через тот чёрный зимний лес.

Театр одного актёра

Она лежит на кровати, закрыв глаза. Дремота, тянущая на дно дремота, двое суток без сна опускаются на покрывало рядом с ней, прогибают матрасную сетку. Ей кажется, что она плывёт в лодке, а, может, лежит на полке в вагоне поезда...

Стройный гул голосов доносится откуда-то со стороны. Он не мешает, редкие взрывы смеха — как всплески волн, как свистки ночного экспресса. Даже если поднять утомлённые веки, никого не увидишь — всех загораживает его спина. Его свитер обнимает её плечи — значит, всё хорошо.

Рука под щекой онемела, кольцо, должно быть, уже оставило отпечатки на нежной коже... Она хочет открыть глаза и улечься поудобнее, но вдруг слышит, как произносят её имя. Мгновение — и с лица стёрты все эмоции, остался лишь глубокий покой, немного усталости и грусть, никогда не покидающая его черт вот уже девятнадцать лет...

- ...А она спит давно.
- Что, уже спит?
- Ага, младенческим сном...
- Давайте её вместе с матрасом вынесем?
- Да пусть спит, когда всех выгонять будете, тогда и разбудим.
- Мне кажется, она нас слышит.
- Не, если бы она слышала, она бы меня уже убила.

Забавно различать по голосам людей, которых привыкла узнавать по лицам... Забавно, когда они открывают тебе на многое глаза, считая, что эти серо-зелёные огни запечатаны наглухо... Кстати, сейчас о них и идет разговор.

- А она много выпила?
- Да ты что, она не пила.
- Никто не пил.
- А мне показалось — пьянющая... У неё глаза были...
- Они у неё всё время такие...

И его голос, ставящий точку в этом обсуждении:

- Она просто устала, она прошлой ночью почти не спала.

Благодарность, тепло... Но они срываются с хвостика небрежно нарисованной им запятой:

- ...А вообще у неё после полуночи всегда такие глаза... И плохая координация движений!

Ни одного жеста, ни вздоха, ни ресница не дрогнет, это всё игра, театр, проверка на выдержку, терпение, стойкость, умение себя обуздывать...

Позже она поймёт, что в его жизни точки отсутствуют как таковые. И ни обижаться, ни прощать нельзя, потому как не за что...

Но сейчас это просто пощёчина, которую он дал ей в присутствии людей, четверо из которых не любят её, потому что лишь голоса худенького мальчика с копной непослушных волос она не услышала, лишь он не принимал участия во всеобщем ритуальном сбрасывании масок...

И всё же сегодня она победила их всех — своих злоязычных недругов, своего молчаливого друга, свою трудную любовь. Победила без единого слова, запертая в полной неподвижности своего притворного сна...

Они сами вручили ей эту роль и даже не подозревают, как блестяще она её сыграла.

Впрочем, и предназначен это спектакль не для них. Сегодня здесь царит лишь одна актриса, и игра её посвящена одному-единственному зрителю. Почему бы и нет.

Неразрывно

Ночь перед языкознанием на исходе, лестница посветлела. Я курю у окна и думаю о доме, о двух неделях без сигарет. Слеза скатывается по щеке наискось от правого глаза. Должно быть, это от дыма — по иным причинам я не плакала уже полгода. Я позволяю этой случайной капельке добежать до родинки над губой и лишь потом рассеянно провожу ладонью по прохладной коже. Рука не ощущает влаги. Совсем. Я снова и снова прикасаюсь к щеке. Слезы нет, как не было.

Может, её и впрямь не было? И, может, все эти месяцы мои слёзы также мгновенно высыхали — а я просто не успевала замечать их?

...Может, это твоя слеза?

Ты плакал сейчас? Скажи честно.

Впрочем, я и так знаю ответ.

Одна-единственная, скупая, упрямо желающая быть капля — мы связаны до такой степени, что она отпечаталась на моей коже.

Но не этого ли я хотела?

Значит, ты тоже чувствуешь мои слёзы.

Если в глазах вдруг станет солоно по непонятной причине,
если между тобой и миром рухнет столп морской воды,
если в горле забьёт крылышками мотылёк,
знай:
это — я.

Одна из ночей

Мы сидели на столе и курили. Языкознание лежало рядом, но мы категорически не хотели его раскрывать. А экзамен скрёбся в стекло, притворяясь снежинками.

А всё получилось так — я вышла на лестницу и защёлкала зажигалкой. Сигареты — непременный спутник этой сессии. Мои домашние туфли клацали очень громко, и Катя сразу узнала меня.

- Лизка! — закричала она откуда-то, — иди сюда!

- Ты где? — спросила я.

- Я тут, — коротко и ясно ответила Катя.

Я обошла все лестницы рядом, но никого не обнаружила.

- Ты что, в лифте? — осведомилась я.

- Я сижу на столе! На третьем этаже!

Я всё поняла и спустилась. Кто-то умный поставил стол посредине лестничной площадки. Кто-то ещё более умный однажды ночью впервые сел на него — учить что-то к экзамену.

Вообще, на той сессии мы все по ночам сосредотачивались в курилке. Это оказалось удобно — можно было получить разнообразную информацию о хеттах, русских царях, латинских склонениях и ятях с ерями.

Стол тоже был удобен. Когда я спустилась, то обнаружила Катю, восседающую посреди бумаг, учебников и пачек сигарет. Сбоку скромно примостилась кружка с кофе.

Кофе — тоже непременный спутник.

Я подошла и села на стол. К пачкам «Camel» прибавилась моя «Pall Mall». А больше у меня, собственно, ничего не имелось.

А дальше и было всё это — разговоры, смех, из-за которого нас в пятом часу выгнал с лестницы охранник, несколько часов, наполненных чем угодно, но не учёбой.

В закромах стола нашёлся ещё и творожный сырок. Катя разглядывала упаковку и говорила:

- Ты знаешь, что мы едим? Мы едим славянку!

Я давилась сырком и переспрашивала:

- Кого?

- Славянку. И не просто славянку, а славянку плюс!

Я отбирала у неё упаковку и заявляла:

- А славянка плюс — знаешь, что это? Это маленькое чудо в творожной глазури!

Тогда приходил Катин черёд давиться её половиной сырка.

Нам приходили на ум разные слова, мы вертели их в руках, как кубик-рубик, и они представали нам совершенно отдельными от образов, которые были призваны обозначать — то есть, совсем оголёнными. И тогда они теряли всякий смысл.

- Дося — это ж надо такое придумать!

Потом к нам спускалась однокурсница Зина с пятого этажа. Она подходила к столу и говорила:

- Я поняла, что такое дериват! Это пятый мат!

И мы начинали сосредоточенно подсчитывать матерные слова в русском языке.

А потом из-за спины Зины появлялся большой белый плакат, на котором чётко было выведено тушью: «Деспотия. Тирания. Тоталитаризм». Мы долго смотрели на него, а потом прикрепляли к стене над столом. Приклеивали уголки скотчем, а потом призадумывались, как убрать ули-

чительную подпись внизу — Зина имела обыкновение подписывать все свои творения. И ставить номер комнаты. Мы воочию представляли, как начальник общежития разъярённо поднимается на пятый этаж, в указанную комнату... И тогда я щелкала зажигалкой, и огонь медленно начинал уничтожать правый нижний угол плотного листа. Это был священный огонь в стене, и горел он только для нас, но никто не пришёл и не сказал нам, как мы должны быть счастливы.

Зато приходила ещё одна однокурсница — выжатая зубрёжкой до капли, уставившаяся воспалённым глазами в раскрытый учебник. Она тяжело прибредала к нам и садилась на стол, потеснив меня. Мы по инерции продолжали говорить, а она молчала, занавесившись от нас тёмными спутанными кудрями. А разговор шёл, и порой скатывался к нечитаному, непройденному языкознанию:

- Морфа — это что-то страшное!

- Это как Морра из «Муми-троллей», — замечала я.

- Да, она пришла, села, и всем стало холодно, — соглашалась Катя.

И все мы, не сговариваясь, оглядывались на мрачную однокурсницу.

Потом она уходила, и наши слова опять распускали лепестки, раскрывались до конца. Потом уходила и Зина. Последнее, что я помню о ней — это её признание:

- Сейчас у меня по голове едет поезд... И я ничего не могу учить.

А мы оставались спорить про то, какой учебник лучше, Головина или Алефиренко, и обёртка от несчастной «славянки плюс» падала на Алефиренко, мы листали страницы, и ничего, ровным счётом ничего не понимали. Я писала быстрые стихи на клочке бумаги, и мы говорили о тех, кого любим, а они спали в первой от входа комнате и ничего, ровным счётом ничего не знали.

Я помню ещё, как Катя сказала, что лизосома — это органоид в клетке, который занимается самоуничтожением. Я была поражена, честно говоря, по глупой причине. Просто в школе, когда дурь ещё не вылетела из головы, все часто дразнили меня на биологии при изучении этих самых лизосом. Глупо, конечно... Но что-то в этом было. Оглядывая стол, я понимала, что ничем иным, как уничтожением себя, это назвать нельзя — три пачки на двоих — и это за какие-то несколько часов!..

Но ни тогда, ни теперь я не жалею о тех ночах, когда мы сжигали себя на кончиках наших сигарет.

Послесловие:

Когда я дала этот рассказ моей подруге, она прочла и нахмурилась — она не поняла, что же я хотела в нём сказать.

Я не знаю. Я могла бы оформить всё это как связное повествование, разбить на диалоги и украсить вставками и зарисовками... Возможно, тогда его было бы легче читать и воспринимать.

Но мне хотелось дать ту, именно ту ночь. Сессия была долгой, и немало часов мы просидели на том столе с Катей. Много было общих тем, которые мы развивали каждый раз — проблемы с деканатом, проблемы учебные, проблемы личные.

Но всё, о чём я писала здесь — эти неожиданные фразы, бредовые мысли, смех над как будто несмешным (ну и что, что славянка плюс?) — всё это принадлежало той ночи, и мне хотелось сохранить эти осколки, эти бусинки, которые никогда больше не повторятся.

В клубе

С полудня меня мучила ужасная боль в животе, так что мне пришлось уйти с последней пары. Остаток дня я провела в постели, даже пропустила мамины звонки — так мне было худо. Боль выбрасывала из меня любую обыденность. Все мысли о чем-то другом, непричастном к этому чудовищу, угнездившемуся во мне, замирали на середине, даже толком не оформившись.

Но, самое удивительно, к вечеру я более-менее оправилась, и мы с Юлей пошли в ОГИ.

Старое доброе ОГИ, как давно мы там не были!.. Так и не удосужившись разобраться в аббревиатуре этого заведения, мы его очень любили и не раз приезжали туда, преодолевая долгий путь с двумя пересадками.

Свободных столиков в нашем любимом маленьком зале не обнаружилось, и нам пришлось пройти в большое помещение. И сесть прямо в центре зала, напротив танцплощадки. Вечер

обещал быть интересным — хотя бы потому, что я от него ничего не ждала, никаких надежд на этот выход не возлагала. Просто посидеть, поболтать, отдохнуть. Правда, этим придётся заниматься всю ночь — мы не можем в любой момент покинуть гостеприимное ОГИ, как нормальные люди, мы ограничены, во-первых, расписанием метрополитена, во-вторых, расписанием общежития.

И мы говорили, ели мороженое и пирог, чокались бокалами с коктейлями... Красные бусы, бирюзовые бусы, открытые шеи, улыбки и смех... Лёгкое и необязательное настроение. Боль в животе отсчитывала последние минуты, и вскоре я даже пошла танцевать, увлекая за собой Юлю. Как кружилась моя чёрная юбка под звуки латино!.. Как разметывались волосы!.. Мы подружились с замечательным официантом Саней и загоняли его своими невообразимыми заказами. К нам, в свою очередь, сунулся с предложениями дружбы некий Костик — мужчина в теле и в возрасте — но Юля его решительно отвергла. Зал постепенно наполнялся людьми, на танцплощадке было уже не протолкнуться, клубы дыма кружили головы...

Но быть свободной от боли оказалось не так полезно, как я думала. Все мысли, насильно изгоняемые из меня весь день, теперь навалились с утроенной силой. И никто, и ничто не могло этому помочь.

* * *

И вот, уже третий час ночи. Лёгкие сигареты, лёгкий коктейль — но пятнадцатая «Lucia», но третий дайкири! А меня не берёт, не берет, а так хотелось бы забыться, не думать, не разбираться в происходящем, не анализировать без конца... Грохот музыки мешает делиться своими горестями с Юлей — да и незачем, всё нами давно уж обговорено.

Он не пишет мне.

Он лишь отвечает на мои сообщения, и довольно мило, и даже убеждает меня бросить курить... В одном из походов девчонки пели песню, в которой были слова: «Я мечтаю о том, кто заставит меня бросить курить...». Да. Но этого мало.

Это не наш, не Литовский человек, он обычен и логичен до изнеможения. Но именно таких парней я обычно беру сразу — что же произошло сейчас?.. Я знаю, как магнетически действует — да, именно она! — наша, Литовская необычность, эти неожиданные фразы, поток слов, сравнений, метафор, которые даются мне с легкостью, потому что здесь мы и не общаемся иначе. Почему же не вышло как раз теперь, с человеком, который мне так нужен?..

Просто мы не успели поговорить с тобой толком, мой смуглый друг. Нам было мало отпущено времени друг для друга тогда, в шумной компании.

Но всё это утешения, дело не в этом, я чувствую. Может, надо, наоборот, быть проще?.. Девушка на каблуках и с сумочкой, не курит, не пьёт, и здоровенькой помрёт?..

Именно то, что выделяет нас с Юлей, когда мы на пару идём... на пары? Как тогда, по коридору, в сапогах и коротких юбках, вызвав возглас Павлюшкина: «Фурии!»?..

Я закуриваю новую сигарету, уставившись невидящим взглядом в лампу, качающуюся под потолком.

Но это означает подавить в себе то, что выбивало меня из толпы одноклассниц, совсем уж усреднённых «девушек с сумочками»!!! То, что создавало мне иной образ в компании «Siemens», то, что мешало мне выбирать одежду для работы в магазине из своего гардероба...

Но всё это решаемо, в конце концов. Отчего же сейчас так плохо?..

Мне не сложно ему писать — в том числе и глупости. Мысли, чувства, простые разговоры... Мы не видим лиц друг друга. Даже если я решусь написать ему в лоб и получу неудовлетворительный ответ, нам проще простого забыть об этом, забить на это и не встречаться никогда! Тут-то и пригодится то, что он не Литовский и тем паче не общажный, нам не придётся видеться каждый день. Короче, проще некуда.

Я бросаю короткий взгляд на Юлю и снова обращаюсь к любимой лампе.

Ну так почему, почему же я не могу заставить себя написать ему правду?.. Потому что я думала, что всё будет легко и просто, и мне не придётся ни на что решаться...

А над всей этой путаницей — дикие мучения о том, что он не пишет сам, что не хочет ничего сделать, чтобы...

Я возвращаюсь к тому, с чего начала, и тоска пьёт меня быстрее, чем я сама — дайкири. Но милый Саня уже несёт поднос с новыми коктейлями, и я отвлекаюсь, с любопытством смакуя свой. А неплохо! Почаще ходить сюда, и стану, по крайней мере, хоть немного разбираться и заказывать напитки, исходя из своих пристрастий, а не в результате кропотливого изучения меню. В прошлой жизни как-то не пришлось набраться опыта в этом вопросе.

- Пей, я не буду... — едва прикоснувшись к своему, морщится Юля.

Она устала, и я это вижу. У неё тоже хватает проблем, и атмосфера самая подходящая, чтобы над ними погоревать. Озабоченно всматриваюсь в её лицо и прикидываю, что же теперь делать.

Вот перейти бы в малый зал — здесь мы совсем потеряны в этом шуме. Музыка, только что заводившая нас, теперь давит, смыкается плотной стеной... Хотя мне самой, например, не влом молча просидеть за столиком до утра, заказывая на оставшиеся деньги ещё пару коктейлей, покуривая сигареты, которых — как удачно я закупилась! — более чем достаточно, и предаваясь своим невесёлым мыслям. Не всё ли равно, где хандрить, дома или в ОГИ. По крайней мере, здесь можно отвлекаться на людей, скачущих вокруг — ночь уже глубока, и многие успели основательно набраться.

Но эти люди хороши на расстоянии. Вскоре к нашему столику подлетает круглолицый парень неопределённо-восточной национальности и спрашивает, что за коктейль я пью. Не успеваю я ответить, как он хватает мой бокал и одним махом заглатывает остатки «Голубой лагуны», часть расплёскивая по столу. Но если он ожидал бурной реакции, то ошибся. Я пожимаю плечами и тянусь к Юлиному бокалу.

- Идиот, — шипит подруга.

- Да ладно... — я отпиваю коктейль.

Но этим дело не оканчивается. Над нашим столом начинают колдовать дружки того парня — забирают пепельницу, на её место ставят пустую бутылку из-под вина, пытаются добраться до моего коктейля. А сам парниша, кажется, действительно колдует — ловит наши взгляды и красиво сыплет соль на салфетки, пустые тарелки и мои сигареты. Юлино терпение лопается, она жестко посылает его. Он мгновенно отлетает к своей компании. Юля устало кладёт руки на стол и опускает на них голову. Я допиваю коктейль, выкуриваю сигарету и понимаю, что на этом надо ставить точку:

- Юль, давай на такси.

Она утомлённо поднимает глаза:

- А деньги?.. Нам же практически в разные концы Москвы...

Я на секунду задумываюсь:

- Давай до Бабушкинской, за двести нас подвезут, а там я у Яна возьму в долг и до общаги.

Юлькино лицо проясняется:

- Давай!

Сборы занимают немного времени, а счёт мы уже оплатили. Пробираемся к выходу сквозь толпу пьяных и полупьяных людей. И кто знает, может, им не легче чем нам, просто они прячут себя за алкогольной завесой...

По пути Юлька заглядывает в закуток с книгами и указывает мне на продавца:

- Видишь его? Он же наш, первокурник!.. Ну, вон тот, с бородой!

- Подожди, дай мне очки надеть... — и вот, мир становится ближе и различимей, я подхожу к парню и бесцеремонно интересуюсь:

- А вы из ЛИТа, да?..

- Без палева!.. — поднимает он указательный палец.

- Значит, точно наш, — смеёмся мы и поднимаемся по лестнице.

На улице свежо, наши тени вытягиваются и ползут по земле в жёлтых лужах фонарей. С каждым шагом всё ощутимей чувствуется холод. Шёлковая юбка до известной степени спасает ноги от обморожения. Мы не успеваем пройти и пяти метров по переулку, как перед нами тормозит такси. Круглая голова пожилого водителя наклоняется к окошку:

- Машина нужна?

- Ага, до Бабушкинской. И у нас всего двести рублей, — да, сегодня мне не до экивоков. Хочется отчаянно говорить всем неважным людям правду — дурацкую, простейшую правду вроде суммы в твоём кошельке. И ненавидеть себя за то, что настоящую-то истину, от которой зависит нечто большее, чем время возвращения домой этой ночью, я сказать не могу. Ну вот не могу, и хоть плачь.

Но сейчас нужно не плакать, а ловить машину. Эту-то мы упустили — вот и говори теперь правду! Однако через секунду перед нами останавливается другая. «Жизнь всегда подбрасывает кучу вариантов, не надо зацикливаться на одном» — устало философствую я. Ей-Богу, нынче на элементарных примерах мне доказывают важные вещи.

Машина какая-то странная — место водителя справа, а не слева. А я-то не сразу сообразила, почему этот солидный мужик сразу оказался так близко от нас:

- Можно вас подвезти?

Я несгибаемо озвучиваю пункт назначения и количество денег. Он что-то бормочет. Юлька, понявшая его скороговорку раньше меня, уже открывает дверцу. Я сажусь рядом с ней.

- Далековато, конечно... — с ленцой тянет мужик. — И куревом от вас пахнет...

Мы переглядываемся. Это он нам типа одолжение сделал, а теперь что-то не устраивает?!.. Ехал бы своей дорогой, старый козёл! Мы бы уж нашли себе транспорт!

- Вы думаете, вас бы кто-нибудь подвёз за двести рублей? — читает мои мысли «старый козёл». — И это что вы, так каждый раз за двести едете, да? Останавливаете и просите, чтоб довезли?

- Мы не просим. Нас подвозят. — ледяным голосом отвечаю я.

- Как это так?..

- Просто добрые люди, — наивным тоном сообщает Юля. — Мир не без добрых людей.

- А-а... — неопределённо тянет он.

За окном мелькает ночная Москва. Я утомлённо откидываюсь на спинку сидения и прикрываю глаза, предоставляя Юльке поддерживать разговор. Впрочем, длится он недолго, салон погружается в тишину. Её разрывает гудение телефона. СМС.

- Муж! — восклицает Юлька. Тут же угрожающе косится в мою сторону, чтобы я не подумала брякнуть что-то не то. Но в ночном такси у меня достаточно обострены чувства, я прекрасно понимаю ход её мыслей.

- Беспокоится... — продолжает она. — Уже хотел за нами ехать.

- Ну ты же предупредила, что мы сегодня рано, — лениво откликаюсь я.

Разглаживаю юбку на коленях, стягиваю, наконец, перчатки, снимаю очки. Голова гудит от выпитого, глаза побаливают. Перекрёсток, мужик произносит что-то. Мы обе не расслышали — но ничего, всё становится ясно через минуту, когда он сворачивает на автозаправку и выходит из машины.

Мы провожаем его взглядами. Тягостное молчание.

- Лиза, выйди, пожалуйста, посмотри номер машины! — тревожно просит Юля.

- Да зачем?.. Просто бензин на нуле. Ну а если... — мой голос становится тяжелее, — он хоть что-то попробует, он у меня так получит...

Я действительно чувствую в себе избыток силы, которую не могли убить никакие коктейли и пачки выкуренных сигарет, отсутствие еды и усталость. Да... силы, которую я почему-то не могу пустить на то единственное, что для меня сейчас важно... Юля хмыкает:

- Да, мы ему все зубы выбьем!..

- Слышал бы он...

Мы обмениваемся мгновенными взглядами.

- Да, с нас станется... — хладнокровно продолжает она. — Помнишь, как ты тому откромсала уши по самое не могу?..

- Д-да... — я ещё не настроилась, я опускаю голову в колени и беззвучно хохочу. Но мысль о том, что это хамло может сейчас слышать нас, придает бодрости. Слова падают, как увесистые красные капли. — Ничего были ушки, правда?..

- Да, они же до сих пор сушатся в шкатулке.

- Подожди, в какой именно? Которую нам на Рождество подарили? Ну, в крапинку?

- Ну да, с бабочками.

Импровизация течёт себе и течёт, чтение Масодова дало свои плоды спустя полгода. Нереализованные желания выплескиваются в жестокость, мы с удовольствием обсуждаем кровавую расправу над несчастным водителем. А он, ни о чём не подозревая, уже лезет в машину. Мы замолкаем.

- Ну, как вы тут? — интересуется мужик. — Притихли, как мышки.

Знал бы он... Мы по-прежнему молчим, но остатки веселого безумия мелькают в наших глазах, водитель всматривается пристальнее:

- И одна была в очках, а теперь без очков... — недоумённо констатирует он.

«Молчание было ему ответом», как говаривал Ярослав Игоревич Зверев.

Машина трогается.

Привычный вид дороги успокаивает мужика, и он небрежно замечает:

- Такое ощущение, что двух евреечек везу!

- Ну так и есть, — бросает Юля.

Он затыкается.

Ещё немного — и мы на Бабушкинской. Перед тем, как выйти, я не отказываю себе в удовольствии позлить его. Достаю кошелёк и долго шуршу единственными двумя купюрами: «Нет, это не то... опять не то...». Пусть считает, что наглые девицы его накололи.

Мы бредём по асфальту, припорошенному снегом, перчатки вновь одевают руки, холод освежает наши усталые лица.

Шоссе пустынно, тут бы его и перейти, даром, что никаких «зебр» нет и в помине. Но из-за угла выныривает машина ДПС. Мы резко сворачиваем обратно на тротуар.

- Дошли до дороги, и сразу обратно, странно выглядит, наверное... — роняет кто-то из нас.

Думаем об одном и том же — ещё более странен наш «выходной» вид в четыре часа ночи. Юбки, каблуки...

- Да, мы проститутки... — тоскливо бормочу я.

Холодно, холодно, и смертельно хочется спать, глаза режет, а в груди дышит тяжесть, которую ничем оттуда не достать. Разве что отвлекаться иной болью... Головной, зубной, женской, или, того хуже, саморучно себя истязать. Ножики, лезвия, тлеющие сигареты — всё испробовано нашим благословенным курсом, примеров предостаточно. Но зачем так? Неужели нельзя жить проще и лучше, без боли? В догматах православия сказано, что страдания приближают нас к Богу, но, учитывая, какие именно желания привели меня к моей боли, даже этот слабо утешающий путь мне заказан.

- Ночуешь у нас, — прерывает мои мысли подруга. — Я тебя не отпущу.

- Да что со мной случится... — слабо протестую я.

- Ты с ума сошла?? — злится Юля, — на часы посмотри!! Вдвоем ещё куда ни шло, но одной... У нас останешься, ясно?

Ну, ладно. Мне, честно говоря, уже по барабану. Как бы я ни любила просыпаться в своей постели, ради этого ещё придётся куда-то ехать, что-то платить, как-то уговаривать охранника...

Мы медленно приближаемся к дому. Начинает падать лёгкий снег.

Темнота застит глаза, её разрывают лишь редкие фонари. А ведь было лето, и наши возвращения из ОГИ же, и занималась заря, и мы снимали туфли, и шли босиком... Тогда, честно признаться, было не веселее, чем теперь. Но все равно мне кажется, что я похоронена в этой ноябрьской ночи, и солнце не взойдёт никогда.

Аксана Халвицкая

Что я люблю...

Люблю запах кожи. Но только такой, как от твоей куртки. Когда мы на твоем мотоцикле, а я обнимаю тебя обеими руками, прижимаюсь всем телом, страшно! А я шепчу: «Ну еще быстрее, ну еще...». Чтобы еще страшнее, чтоб лететь... И никого вокруг... Мир разноцветный, размазанный, не имеющий никакого значения. Только ты и я. И запах. Ярче всего! Ярче чем мотоцикл, ты и цвет твоей куртки... Ну еще быстрее!!!

Люблю воздушные шарики. Но только такие, когда на крыше девятиэтажки, стоя на самом краю. Чтобы ветер холодный, пронизывающий, а я не по погоде одета. Но на фотографии-то не видно. А волосы развеваются. А у меня в руках шарики. Требовательно дергают. Я их отпускаю один за другим. Как они летят в лапах беспокойного ветра! «Красиво, правда? Я тоже так хочу!». И еще чуть ближе к краю. Ты смотришь на меня испуганно, с каким-то детским восторгом. Знаешь же, что не спрыгну.

Люблю белый цвет. Но такой, чтобы зима со всех сторон. Чтобы полночь. И неподалеку кладбище. И сугроб. Какой же это сугроб! Мороз по коже. Или это снег как всегда под куртку попал? Деревья заснеженные, неземные и тишина. А звезды огромные, яркие над головой. Ярче только твои глаза в темноте светят. Ты вдруг вскинул пригоршню снега вверх. Она рассыпалась белая-белая и падает как в замедленной съемке. Я завороженно смотрю, а ты достаешь из кармана плитку шоколада. Белого.

Еще люблю крайности. Быть одной. Но чтобы дождь. Но такой, чтобы ливень, чтобы ни сухой нитки, чтобы я без зонта. И никого. И только шелест. И я под дождем. Но лето, чтобы совсем не замерзнуть, но одежда прилипла к телу. Я одна, одна на планете. Принцесса дождя. Набегаться, насладиться. И домой. А там горячий чай, теплый плед и ты...

Просто друзья

Когда-то я серьезно верила, что смогу в тебя не влюбляться. Ведь ты так не хотел этого. Со мной просто как с самим собой. А с тобой сложно. Ну и что? Мы просто друзья. Ты так и не разлюбил свою маленькую ведьму. А у меня есть Андрей. Он сходит с ума от своего взгляда. Правда, чтобы его поцеловать, мне нужно выкурить как минимум три сигареты. Ну и что? Я уже готова на все, лишь бы не думать о тебе. Целыми днями работать, учиться, знакомиться с разными людьми. Пусть думают, что я интересная, веселая, пусть верят. Я делаю все, чтобы не оставалось мыслей. Бросаю писать так же, как бросаю курить. Иногда срываюсь, звоню, вытаскиваю тебя. Ты терпишь, иногда соглашаешься.

Говоришь: «Только ты знаешь меня таким, какой я есть», — я верю. Говоришь: «С тобой хорошо», — я верю. Говоришь, что не сможешь меня полюбить. А я закрываю тебе губы поцелуем. Я не влюбилась, это просто ранняя осень. Нас как и раньше тянет в одни и те же места. В осенние парки, когда шуршание листьев отпугивает грусть. Но сегодня все не так. С тобой одновременно можно быть смешной и умной, грустной и очень пошлой, но мы просто друзья.

И почему-то стоим с тобой в подъезде на небольшой площадке между лифтовой шахтой и выходом на крышу. Выше будет слишком холодно. Да и сейчас уже чувствуется ветер. Приоткрыт люк, чтобы не так сильно пахло кошками. Темно. Только мы и какие-то предметы вроде старых газет, осколков, каких-то железяк, чье предназначение даже не угадывается. Гул за твоей спиной возвестил о чьем-то желании прокатиться в подъездном туалете. За моей спиной была идущая вверх лестница с острыми ступеньками, но я еще не догадывалась о ее существовании. «Балтика — 3». Я привычно прячу от тебя свои чувства. Все также боюсь твоих болотных глаз с длиннющими ресницами. Только ты можешь догадаться, о чем я думаю. А я улыбаюсь и шучу. Не догадаешься.

«У меня есть муз, — задорно шепчу, — это здоровенный, вечно пьяный, волосатый мужик с наглыми зелеными глазами, бородатый, с рогами и хвостом. Он приходит ко мне по ночам и имеет во все места, а я пишу...».

Да, а про себя думаю: уже не пишу, уже не буду. Хватит! Эклипс. Ненавижу поцелуи со вкусом пива.

- И почему я так хочу тебя соблазнить?

- Может потому, что я этого хочу... Ты знаешь, я не скажу нет.

Я посмотрела на тебя, а ты снова нагло прочитал мои мысли:

- И почему мы всегда выбираем темную сторону, — прошептал ты, расстегивая молнию моей куртки.

Да, я выберу полчаса с тобой, даже если придется бежать от себя целых две недели до очередного срыва. Ты мой наркотик, ты мой катализатор. А потом я абстрагируюсь. Отключаю мысли, оставляю обстановку. Почему я получаю такое удовольствие? Мне жарко, хотя я не знаю, что холоднее: осенний воздух с крыши, твои пальцы, скользящие по обнаженному телу, или твое сердце. Мне холодно, даже когда твои горячие губы целуют мою грудь и шею. Мне уютно. Мне не мешают острые ступеньки лестницы, впивающиеся мне в спину. Странно. Я, правда, получаю удовольствие от боли. Ведь ты моя боль, мое запретное счастье. Паранормально. Я знаю, что ты тащишься от ситуации. Вряд ли ты найдешь другую девчонку, которая согласиться. Ха! Друзья. Ты не представляешь, как хорошо наконец-то ни о чем не думать. Вдвоем на пустой планете. Ты так близко, такой горячий, мой. Не отпущу. Вопьюсь ногами, зубами, не отдам тебя. Счастье абсурдно, иллюзорно, ты исчезнешь. Ты же свободен в своем выборе. А я через две недели не выдержу, позвоню тебе, и мы встретимся, ведь мы же друзья.

Сон

Мне давно уже ничего не снилось. А может, я просто не могла запомнить ни одного сна. Для тренинга я уже решила придумать какой-нибудь сон. И я увидела.

Я видела свою школу, но почему-то там почти не было моих одноклассников, зато были сокурсники, друзья, девушки из «Амани», ребята из «Листа», друзья, с которыми познакомилась на юге. Я находила отдельные компании в разных кабинетах, классах. Я подходила с огромным фотоаппаратом и просила сфотографировать меня вместе с ними, точнее в самом центре компании. Мне нужны были эти фотографии, чтобы доказать кому-то, что у меня много друзей. Может быть себе?

Потом я увидела машину. Это уже было на улице. Там сидели две пары. Две мои подружки с их молодыми людьми. Я почувствовала одиночество, неприязнь, какое-то разочарование. Они весело махали мне и улыбались, а мне хотелось убежать и спрятаться.

И я бегу, потом еду куда-то на длинном оранжевом троллейбусе, потом снова бегу.

Я должна помочь своему другу. Кажется, я везу какое-то лекарство. Я откуда-то знаю, что помочь ему могу только я. И я помогу, обязательно. Я этого хочу. Больше всего на свете.

Проснулась в счастливой уверенности, что я кому-то нужна. Я болею, поэтому сижу дома и страдаю от одиночества. В этот день приехал друг меня навестить, тот, которому я во сне везла лекарства. С ним была крошка Мишель — так у меня появился котенок.

Ганна Шевченко, Москва

Зачет

«Финансовый мониторинг — это комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием грязных денег...». Всё, больше не могу, через три дня зачёт, а у меня в голове мультизлаковая каша. Откладываю инструкции, иду на кухню, включаю чайник и прислушиваюсь. У Нинки тихо. Обычно у неё на кухне работает радио.

Нинка — это моя соседка снизу. Будучи профессиональным журналистом, пятый год сидит без работы и без денег. Как ей удаётся выживать да ещё сохранять аппетитные формы — для меня загадка. Считает себя совестью города, большим поэтом и говорит, что работает над венком сонетов. Обычно, когда я прихожу с работы и сажусь ужинать, приходит Нина и начинает возмущаться новым указом президента или несанкционированными действиями местных властей. И, конечно же, посматривает на стол. Ну а я, конечно же, приглашаю присоединиться. Нина никогда не отказывается. В общем, она мне нравится.

Последний раз она приходила несколько дней назад, заняла пятьдесят рублей и попросила лак для ногтей. Потом слышался запах жареной картошки и пьяный смех. И вот пару дней тишина. Не случилось ли чего? Выключаю чайник, иду к Нине.

Лестничная площадка — ступеньки — пролёт — ступеньки. Звонок не работает. Стучу опознавательным стуком: тук-тук, тук-тук-тук, тук. Тихие шаги. Стучу ещё:

- Нина, это я.

Открывает. Осунувшаяся, под глазами тёмные круги. Я, как водолаз, погружаюсь в сумрак квартиры.

- Почему ты без света?

- Обрезали за неплатежи. Счётчик опломбировали. У меня долг — две тысячи.

- Зачем ты им открыла? Ты никогда им не открывала.

- Я думала, это сын. Увидела его в окно и решила, что идёт ко мне извиняться. Открываю, а это они. А Владик так и не зашёл.

Нина поворачивается, идёт в спальню, я за ней. Белые футболка и трусы, больше ничего. Волосы растрёпаны, челка накручена на две пластиковые бигуди. Она ложится на двуспальную кровать, я сажусь рядом. На тумбочке блокнот, ручка, жидкость для снятия лака, кусок ваты, мой розовый лак.

- Мой сын обозвал меня и не думает извиняться. Все меня бросили, все! Даже ты не приходила несколько дней!

- У меня зачёт через три дня. Инструкции учу.

Её нижняя губа дрожит, как у ребёнка. Сквозь футболку просвечивают тёмные соски.

- Я хотела занять у него сто рублей, а он сказал, что мне давно пора устроиться на работу и назвал идиоткой. А сегодня Кириллова звонила. Говорит, что на моём месте пошла бы мыть подъезды. Они ничего не понимают. Я — профессиональный журналист! Я — поэт! Я — прирождённый главный редактор! Почему я должна соглашаться на унизительную работу? Я пять лет не работаю. Всё это время Бог укрывал меня своими крылами. Не давал умереть от голода. Моя жизнь — доказательство того, что Бог есть. Пару недель назад у меня совсем не было денег. Просидела голодная два дня. Пошла в храм на утреннюю службу. Возвращаюсь, вижу, лежат на дороге сто рублей. Я хлеба, картошки купила. Масла подсолнечного. Даже на кефир хватило. Есть Бог, есть! Почему ты не ходишь в церковь? Давай сходим сегодня на вечернюю службу?

- Не могу, мне инструкции нужно учить.

Нинка берёт с тумбочки блокнот:

- Я стихотворение написала. Вот, послушай:

Не усложняю жизнь,
Она и так сложна без меры.
Без веры я ничто!
Разрушены химеры.
Я жить иллюзией не стану.
Мир — ад. Но я любить не перестану.

Ну, как тебе?

- Хорошо, — говорю, чтобы не обидеть.

- Хоть кто-то меня понимает. Эти старые бездари из литстудии слушают и молчат. Не хотят признать, что я давно их духовно переросла. Им до меня не дотянуться. Я скоро закончу венок сонетов, и тогда все поймут, что за человек живёт рядом с ними. Ты давно видела Сергея с шестого этажа?

- Алкоголика что ли?
- Он не алкоголик.
- Давно. А зачем он тебе?
- У меня с ним было. Только он почему-то исчез.
- Расскажи.
- Я зашла неделю назад к Лариске с седьмого попросить подсолнечного масла, а он сидит на кухне. Выпивает с Ларкиным мужем. Троица была. Предложили мне рюмочку. Я выпила, закусила и пошла домой. Через час — стук в дверь. Открываю, стоит Сергей. Взял меня на руки и отнёс в спальню. Такого у меня давно не было. А потом он исчез.
- Он говорил тебе что-нибудь?
- «О, какая женщина, какая женщина!»
- Наверное, он был пьян и ничего не помнит.
- Ну, не знаю, у нас отлично получилось. Он так страстно целовал меня. Неужели он оказался подлецом? Неужели воспользовался мной и выбросил, как ненужную тряпку? Почему я всё ещё отношусь к людям хорошо?! Почему я смотрю на них глазами ребёнка, а потом удивляюсь и страдаю, получая нож в спину?! Почему мир враждебен ко мне?! Что мне делать?
- Поступай как я.
- Как?
- Относись к людям плохо, а потом удивляйся, если они поступают хорошо.

Нина стонет и массирует виски.

- Весь день голова болит и в глазах темнеет. Принеси, пожалуйста, воды.

Иду на кухню. В холодильнике пусто, опять голодная сидит. Налила из крана воды, отнесла.

- Полежи, — говорю. — Я минут через двадцать приду.

Поднялась к себе, открыла кошелёк. Триста рублей осталось. Аванс через пять дней. Ладно, займу у кого-нибудь. Взяла пакет, пошла в магазин. Бодлер писал: «избивайте нищих». Батон, подсолнечное масло, кило картофеля. Упаковка вермишели, кефир, селёдка. Продавщица с хмурым лицом даёт сдачу. Как раз на маршрутку. Возвращаюсь: подъезд — лестница — дверь. Иду на кухню, выкладываю продукты, захожу в спальню.

- Я принесла тебе кое-что. Иди, перекуси, голова перестанет болеть.
- Спасибо, ты одна меня понимаешь. У тебя нет сигаретки? Мозги опухли, никак не могу бросить.

- Ты же знаешь, я не курю.

Нина стонет и массирует виски. Достаю из кошелька последние двадцать рублей, кладу на тумбочку. Завтра выйду на полчаса раньше, пойду на работу пешком.

- Купишь сама. Это последние.
- Займи мне пятьсот рублей.
- Я же говорю, это последние.
- Возьми в кассе.
- У меня ревизия на днях, — вру я.

Возле двери спотыкаюсь об Нинкины босоножки на огромной платформе.

- Чёрт! Как ты на них ходишь?
- Тебе хорошо, у тебя модельный рост. А мне каково с моим сто пятьдесят?

Лестничная площадка — ступеньки — пролёт — ступеньки — лестничная площадка. Я дома. Кладу в сумку пустой кошелёк, иду в кухню, включаю чайник. Окно открыто, делаю глоток воздуха. Из подъезда выходит Нинка. Та же футболка, короткая юбка, босоножки на платформе. Чёлка, освобождённая от бигуди, реет надо лбом. Большой поэт, совесть города и прирождённый главный редактор, зажав в кулаке двадцать рублей, преодолевает пространство враждебного ей мира.

Прав Бодлер или не прав? Завариваю чай, иду в зал, ложусь на диван. «Финансовый мониторинг — это комплекс мер, направленных на отмывание грязных денег...» Ничего не лезет в голову. Через три дня зачёт.

Игрушка

Когда мы с Максом приехали в Коктебель, было уже около двух. Мы сняли соседние номера в отеле, забросили сумки и стрелой полетели на открытие фестиваля. Первые ряды были заполнены, и мы заняли два места на предпоследнем. Тогда я впервые увидела Марту. Она сидела перед нами, чуть правее и держала на руках голубого плюшевого медвежонка. Она гладила его, как малыша, что-то шептала ему, жестом указывала, чтобы тот сидел тихо и смотрел на сцену. Ткань, из которой был сшит медвежонок, удивительно подчёркивала бархат её глаз.

Да и вся она была изготовлена из очень качественного материала и безукоризненно скроена. Хорошая кожа, блестящие волосы, идеальные пропорции лица и тела — большая германская кукла с плюшевым мишкой на руках. Я толкнула Макса и кивнула в сторону Марты.

- Может, у неё умер ребёнок, она сошла с ума и теперь нянчит медвежонка? — сказал он, понаблюдав за ней некоторое время.

- А может у неё фишка такая?

- Она красивая. На игрушку похожа.

- Глаза настоящие.

- Как бы там ни было, мне здесь уже нравится, — сказал Макс, сел поудобнее и стал наблюдать за Мартой.

После открытия были поэтические чтения в арт-кафе «Богема». Мы с Максом перекусили в бистро и побежали предаваться прелестям поэтического искусства. Когда мы пришли, Марта сидела за крайним столиком. К ней уже подсели Даня Никитин из Москвы и Лёша Михайзов из Саратова. У меня есть одна нехорошая особенность. Я плохо запоминаю фамилии людей и придумываю для себя удобные названия. Например, Лёшу Михайзова я называю Мюнхаузеном. А поэта Хмельницкого называю Черкасским. В этом нет насмешки или плохого отношения, так получается само собой. Так вот, рядом с Мюнхаузеном, на столе, сложив голову на руки и приоткрыв пухлый ротик, лежала пьяная в хлам девушка. Медвежонок сидел в центре стола. Он повернул мордочку к сцене и плюшевыми лапками держался за края чашки. Кафе было переполнено. Мы с Максом стояли и смотрели по сторонам. Даня заметил нас и махнул рукой, указывая на два свободных места рядом. Мы подошли, и нас, наконец, познакомили с Мартой. Мюнхаузен, видимо, тоже только с ней познакомился и продолжил разговор, как только мы с Максом расположились.

- Марта, вы поэтесса?

- Я писательница.

- А что вы пишете?

- В основном буквы. А, Б, В, иногда Г. Сейчас работаю над буквой Е.

- Посвятите мне какую-нибудь из букв?

- Непременно. Я буду писать с вас мягкий знак.

- Мой знак не такой уж мягкий, я могу доказать вам это, как только пожелаете.

- Надеюсь, вы меня не разочаруете, — улыбнулась она.

- А вы любите умных мужчин? — не унимался Мюнхаузен.

- Вы себя имеете в виду? — спросила Марта.

- Я поклонник женщин, которых возбуждает интеллект.

- Меня возбуждает содержимое кошелька.

- Если вы заглянете в мой, получите оргазм.

- Это уже второе предложение за сегодняшний вечер.

- А с какого раза вы соглашаетесь?

- С третьего.

- Я растяну удовольствие и соблазню вас в конце вечера.

В это время девушка, которую привёл Михайзов, подняла голову, мутно посмотрела на всех, улыбнулась, опустила голову и снова заснула.

- Кто она? — спросила я Марту.

- Боюсь, что это его муза, — ответила она.

- Это Лера Воронина из Питера, — сказал Даня, — она сегодня получила диплом.

Мюнхаузен подвинулся ближе к Марте и стал шептать ей на ухо какие-то сальности. Марта улыбалась и смотрела на его руки и губы. Даня резко встал и направился к выходу. Я тоже встала и попрощалась.

- Не забудьте Кукушкину, — сказала я уходя.

- Она Воронина, — напомнил мне Макс.

- Тем более.

Я вышла из кафе и окликнула Даню. Он остановился и натянуто улыбнулся:

- Надоели поэты?

- Я устала, и сумки ещё не разобраны. Ты где поселился?

- В двадцать первом корпусе.

- А мы с Максом в девятом. Пойдём, нам по пути.

- У тебя роман с Максом?

- Нет, мы живём в соседних номерах.

- А я думал, вы, наконец, вместе.

- Связь с Максом невозможна, потому что это будет инцест. Разве я могу делать это с братом? А вот, с тобой, похоже, что-то происходит. Ты давно знаком с этой странной девушкой?

- Она удивительная девушка.
- Я так и знала. Рассказывай.
- Я познакомился с ней в Минске на фестивале. Теперь езжу за ней по всем тусовкам и пытаюсь спасти.
- От кого?
- От себя самой. Она себя уничтожает. Я уверен, сегодня она переспит с Михайзовым, и лишь для того, чтобы доказать мне и себе, что она дрянь.
- Почему она это делает?
- Плохая история, не хочу рассказывать.
- Ты её любишь?
- Она удивительная девушка, таких мало.
- Ты любишь её?
- Она человек. Ты понимаешь, о чём я? Настоящий человек. Я буду за неё бороться, пока у меня хватит сил.

Мы подошли к девятому корпусу. На прощание я поцеловала его в щёку и сказала:
- Спокойной ночи, Даня. Ты тоже человек.

Он улыбнулся и пошёл в темноту.

Не успела я выйти из душа, как в дверь постучали.
- Это я! Ты не спишь? — услышала я голос Макса.

Я открыла.
- У тебя здесь вкусно пахнет, — сказал Макс, входя.
- Это крем, — сказала я.
- Это ты, — сказал он.
- Я купила тебе подарок.
- Когда ты успела?
- После обеда, когда ты бегал за минералкой.
- Какая милая черепашка, она похожа на тебя. Можно, я буду называть тебя черепашкой?
- Чем закончился вечер?
- Я разочарован.
- Тем, что Марта ушла с Мюнхаузеном?
- Как ты догадалась?
- Это было нетрудно. Соблазнил бы Кукушкину.
- Она Воронина.
- Тем более.
- Зачем мне Кукушкина, если у меня теперь есть такая замечательная черепашка. Я проведу ночь со зверюшкой из холодного камня. Кстати, у меня не очень хорошая новость. В номере над тобой поселился известный Московский критик.
- Ну, и что?
- Когда он напивается, ошибается этажом. Держи всегда дверь запертой, иначе однажды ночью на тебя обрушится пьяное тело известного критика.
- Хорошо, буду иметь в виду!

Он прижал к груди мой подарок и направился к выходу.
- Спокойной ночи, Черепашка.
- Спокойной ночи, Макс.

На следующий день после вечера толстых журналов мы купили несколько бутылок вина, и пошли на пляж. Нас было семеро: мы с Максом, Марта, Мюнхаузен, Кукушкина и ещё парочка из Питера, от которых пахло марихуаной. Вода была тёплой и тихой. Раздевшись догола, мы искупались, а затем, завернувшись в полотенца, лежали на гальке, и пили вино. Небо провисло над нами миллионами спелых звёзд. Хотелось протянуть руку, сорвать мерцающее яблоко, бросить в воду и загадать желание. Море медленно дышало рядом с нами. Вдох — выдох... Вдох — выдох... А полная луна серебрила его большое, колышущееся тело. Нас охватило какое-то странное мистическое чувство. Мы смотрели на Вселенную вокруг нас и ощущали себя её центром. Марта была необычайно хороша. Афродита, только что вышедшая из пены, она лежала, слегка прикрывшись полотенцем, и гладила рукой мои волосы. Макс лёг рядом с ней, взял её ступню и целовал кончики пальцев. Мюнхаузен, расположившись чуть сзади нас, ласкал моё плечо. Иногда он прерывался и целовал Марту в губы. Вскоре вся компания превратилась в многорукое существо. Все ласкали друг друга, гладили, покрывали поцелуями. Но во всём этом действе не было ничего интимного. Словно свершался древний обряд посвящения в тайны космической любви. А в центре была Марта — прекрасная жрица нашего нового культа.

Из темноты появился Даня и окликнул Марту. Она оделась и ушла с ним. Мюнхаузен разлил вино в пластиковые стаканчики и сказал:

- Предлагаю выпить за нашего талантливого друга из Москвы, который только что увёл у меня шлюшку.

Все затихли. Макс подошёл к Мюнхаузену, приподнял за плечи и врезал по челюсти. Идиллия на берегу закончилась, все оделись и сконфуженно разошлись.

Вернувшись в номер, я приняла душ, намазалась кремом и расположилась на кровати, полистать подаренные книги с автографами. В дверь кто-то громко постучал. Я открыла. Сказав что-то бессвязное, на меня обрушился известный Московский критик. Я помогла ему подняться этажом выше, открыла дверь его ключом и уложила в кровать. Больше он меня не беспокоил.

Я уезжала на следующий день. До поезда было два с половиной часа. Я хотела попрощаться с Мартой, позвонила и предложила встретиться на набережной.

- Я слышала, Михайзов получил по лицу? — улыбнулась она.

- Макс приложил. Мне жаль с тобой расставаться.

- Мы скоро увидимся в Москве.

- Ты переедешь к Дане?

- Ты знаешь о нас?

- Совсем немного. Он восхищён тобой.

- Я долго сопротивлялась, не хотела портить ему жизнь. Он очень тёплый, когда мы познакомились, я растаяла и рассказала ему свою историю. Я работаю моделью. Два года назад после показа ко мне подошёл немолодой мужчина, вручил свою визитку. Он оказался политиком, серьёзным человеком. Владельцем «заводов — машин — пароходов». Я, конечно, ему не позвонила. Он нашёл меня и предложил стать его любовницей. Я отказалась. Он стал меня преследовать. Уговаривал, угрожал, шантажировал, один раз чуть не изнасиловал. Я держалась. Но внезапно в моей семье приключилось горе. Мама тяжело заболела и нужна была дорогая операция. Таких денег у нас не было, занять не получилось, тянуть было нельзя. Я позвонила ему, сказала свои условия, назвала сумму. В тот же вечер деньги были у меня. Операция прошла удачно, мама пошла на поправку, а я оказалась в рабстве, и до сих пор не могу от него избавиться. Он говорит, если я уйду от него, он убьёт меня. Хотя мне уже всё равно, пусть убивает. В общем, я по уши в дерьме, а Даня хочет меня спасти. Трагедия в духе Достоевского, я — Настасья Филипповна, а он — князь Мышкин.

- Ну, так что же ты? Переезжай к нему!

- Боюсь. Не хочу ему жизнь портить. Мне кажется, он меня не любит, а жалеет. Он фантастический человек, я такого впервые встретила. Он о людях плохо думать не умеет, а глаза чистые, как родник.

- Ты любишь его?

- Люблю! Впервые люблю! Вот и боюсь, что рано или поздно встретит свою Аглаю. А меня не бросит. Мучаться будет, любовь в кулачок зажимать. А меня не бросит. Такой он человек. Я вот что решила, поеду к нему, буду любить как сумасшедшая, но как только пойму, что он полюбил другую, сама брошу его. Ничего не объясню. Записку оставлю, мол, прости, я другого полюбила, и исчезну навсегда. Поеду в Саратов, к Михайзову, чтобы он не сомневался, что у меня есть другой. Михайзов меня всегда примет. Буду пить до беспамятства. Плясать по-дурацки, как герои Кустурицы. Голой на балкон выскакивать, цветочные горшки на тротуар сбрасывать. Кричать в окно, звать бодлеровского «негодного стекольщика» и требовать «жизни в розовом свете». Отдаваться Михайзову на крыше, чтобы Богу было виднее моё падение! А потом и его брошу. Исчезну. В Тибет уеду бродяжничать. Подстригусь налысо, прибьюсь к какому-нибудь монастырю. Днём буду работать, а по вечерам смотреть на горы и думать, думать, думать... Моя жизнь — бестолковый черновик, который мне хочется переписать начисто.

Марта переехала к Дане. Жили они тихо, на тусовках я с ними не пересекалась. Через год в столичном журнале опубликовали её рассказ. Мы иногда переписывались через интернет, а потом она замолчала. Как-то я выбралась потусить в ОГИ и увидела Даню за столиком. Я подсела к нему и спросила о Марте. Он помрачнел:

- Всё так странно получилось. Я заботился о ней, всё у нас было хорошо, но вдруг, она словно с ума сошла. Однажды я пришёл с работы, а её нет. И вещей нет. Лишь медвежонок сидит на постели и записка рядом: «Прости меня. Я дрянь, другого люблю. Не ищи». Потом до меня дошли слухи, что она у Михайзова в Саратове. Говорили о каких-то пьяных безумствах, выброшенных с балкона цветочных горшках, танцах в обнажённом виде, сексе на крыше. Я ничего не мог понять. Я ведь знаю, она совсем не такая. Я поехал к Михайзову, а она к тому времени и его бросила. Исчезла куда-то, и никто не знает, где она. Я обзвонил всех друзей, знакомых, к матери ездил, всё без толку. Нет её нигде.

К нам подошла красивая девушка. Даня представил нас. По тёплому взгляду, которым он ласкал эту девочку, я поняла, что он влюблён. А потом к нам подсела Кукушкина. Хотя, кажется она Воронина. Впрочем, какая разница.

Антон Черный, Вологда

Музыка внутри

Ивану Смирнову

Юный Ансельм шел по главной улице городка, обуреваемый мучительной икотой. Он поминутно спотыкался и подпрыгивал на месте от резких спазмов. При этом лимонно-желтая лакированная гитара, которую он крепко держал подмышкою, каждый раз отзывалась на его телодвижения нестройным аккордом.

- Ну это уже, право, просто смешно. — возмутился вслух Ансельм и тут же еще раз громогласно икнул. Подмышкой снова звякнул инструмент. — Вот и мой первый этюд. Играю, не прикасаясь к струнам, а вместо метронома — пустой желудок...

Подлая икота не дала ему закончить этот прочувствованный монолог. Откуда-то из самой глубины пищевода дернуло с такой силою, словно чья-то рука ущипнула его за кишку. В середине груди все встало поперек. Ансельм, не в силах вздохнуть, согнулся пополам. Эти маленькие внутренние взрывы вконец его измучили. Он отстранил от себя гитару и свободною рукой крепко ударил сам себя под дых. Из горла вылетело что-то вроде «Хуэээиииааа!...». Юноша зажмурился от боли, которая держала его за грудки, как соперник в драке. Но постепенно хватка ее слабела. Наконец, боль ушла, оставив лишь легкий звон в ушах.

Ансельм открыл глаза и огляделся. Самый конец рабочего дня, а на остановке пустынно, ни души. И слава богу: по крайней мере, никто не видел, как он тут подпрыгивал, звенел и занимался самоистязанием. Он отдышался и стал спокойно дожидаться автобуса, по привычке негромко разговаривая с самим собою.

- Вот я и начал играть. Еще и рукой гитары не коснулся, а сразу все шесть струн зазвучали... Ми-си-соль-ре-ля-ми... Без икоты так не сыграть — пальцев не хватит. Их же всего пять.

Ансельм погладил деку инструмента, прикоснулся пальцем к третьей струне, но дергать не стал. Гитара блестела лаком, храня солидное молчание. Он провел мизинцем по орнаменту вокруг розетки и убрал руку. Ему хотелось опробовать инструмент не здесь, не на заплеванной остановке, а в комнате, с учителем: спокойно и без суеты. Сегодня у них первый урок. Но что же автобус так долго идет?

Юноша поежился худыми плечами — на улице заметно посвежело. Он был одет по-парадному, сильнее подчеркнуть новизну могли разве что магазинные бирки. Но в комплекте «белый верх, черный низ» брюки явно были сшиты основательнее. Шелковая белая сорочка льнула к ребрам, как прохладная змея, причем казалось, что она сознательно жмется холодом к самым нежным местам: в подмышки, к внутренней стороне рук и нижней части спины. Прошло около сорока минут.

- Да где же автобус? — Ансельм начинал нервничать. Он взглянул на расписание, но вместо него над остановкой висела только ржавая рамка с ошметками фанеры. — Вот негодяи... Руки у них чешутся...

Ансельм отогнул шелковую манжету и взглянул на часы. Они встали.

- Да что за черт?...

Мало того, что он опаздывал на свой первый урок. Он теперь еще и не знал, на сколько опаздывал. Побродив туда-сюда по остановке еще минут пять, он присел на скамейку. Рядом, на асфальте, он заметил листок бумаги. Ансельм поднял его и увидел, что это стихи, но на каком-то иностранном языке.

- Der Pessimistische Alter... — прочел он заглавие. — Странные слова. Кажется, немецкие... Что-то про пессимизм... Надо будет показать одноклассникам из немецкой группы. Может, скажут, что это такое...

Произнеся слово «такое», Ансельм почувствовал, что что-то здесь не так. От холода ли или от чего-то другого, но по спине у него вдруг побежали мурашки.

- Почему так тихо? — спросил Ансельм сам себя шепотом. И правда, все это время, пока он маршировал по остановке со своей лимонно-желтой драгоценностью, вокруг стояла гробовая тишина. Город молчал. Не ехал его автобус, по тротуарам не шли люди, не было на дороге вообще ни одной машины. Куда же все подевались?

Ансельм отогнул манжету, но вспомнил, что часы не ходят. Небо пасмурно — не разобрать, который час. Может быть, он что-то перепутал, и сейчас раннее утро, а не вечер? Он начал восстанавливать в памяти все события этого дня. Нет, все сходится: вот он завтракает, затем ходит по магазинам, покупает себе гитару и вот сейчас...

- Сейчас вечер, молодой человек...

- Что? — выведенный из задумчивости, Ансельм обернулся и увидел, что рядом на скамейке сидит престранного вида тип. Лет шестидесяти на вид, сухопарый. Одет почти как забулдыга: какой-то непонятного цвета линялый пиджак, такие же брюки на заскорузлых подтяжках, нечистый воротничок, поперек которого криво висит бордовая бабочка в белый горошек. Первое, что бросалось в глаза в его внешности — удивительно кустистые брови. Они вились и переплетались над немигающими глазами бродяги, а на самых кончиках топорщились кверху. Кто он такой? Как он сумел подойти к Ансельму незаметно?

- Приятный вечер, неправда ли? — сказал диковинный сосед и улыбнулся. И было в этой улыбке что-то такое детское и доверчивое, что юноша сразу успокоился и решил, что это никакой не бродяга, а просто бедный старик, доживающий свой век на грошовое пособие.

- Вы не подскажете, который сейчас час? — спросил Ансельм очень учтивым тоном.

- Приятный вечер... — вздохнул старик, словно не расслышав вопроса. — Давно я хотел посидеть вот так, в тишине. Как будто в деревне. А вы, молодой человек, значит, играете на гитаре?

- Да... То есть нет. Я только учусь.

- То есть вы хотите стать музыкантом? — спросил сосед, пристально глядя Ансельму в глаза.

- Хочу. — ответил юноша и невольно отвел взгляд.

- Что я вам могу сказать? Это очень похвальное решение. Многие хотят играть музыку, но немногие ее слышат. — старик сделал многозначительную паузу. — А вы, молодой человек, вы ее слышите?

- О чем это вы? — Ансельм поежился и еще раз оглянулся на дорогу. Автобуса все не было.

- Автобус сегодня не придет, поверьте мне, — сказал старик, мягко понизив голос. — А слышать музыку и просто играть ее — это совсем разные вещи... Музыка живет не здесь. — сосед постучал пальцем по гитаре. — А вот здесь. — Он дотронулся до своего лба и замолк, глядя на Ансельма и, видимо, ожидая, какой эффект произведут на него эти слова. Юноша заинтересовался:

- В душе?

- Да, в душе, друг мой. Странные позывы, гулкие ритмы, которые ни о чем не говорят, но рассказать могут все. Надо только уметь их выразить, а для этого научиться играть на инструменте. Просто играть. Но надо и слышать. Если ничего, ни звука не слышишь в своей душе — это все равно что реветь, подобно ослу. Звук есть, а музыки нет. Вы вот, давно занимаетесь?

- У меня сегодня должен быть первый урок.

- Прекрасно. Вы в самом начале. Но, насколько я вижу, вы, хоть и достаточно молоды, но все же... Чтобы преуспеть в игре, музыкой начинают заниматься с детства, а вы уже не дитя.

- Да, вы правы. На самом деле, у меня были все шансы начать занятия с самого детства. Мои родители в молодости занимались музыкой. Познакомились в оркестре. Но мама...

- Что? — сосед заинтересованно вскинул свои диковинные брови.

- ...мама не хотела. Она сказала, что все музыканты в конце концов становятся пьяницами. И, пожалуй, она знала, о чем говорит: половина их оркестра спилась. Она нарочно не стала учить меня музыке...

- ...и даже спешно продала домашнее пианино, едва вы стали проявлять к нему интерес. — договорил за юношу старик.

- Да. А откуда вы знаете? — Ансельм почувствовал, как рубашка еще холоднее прижалась к телу.

- И у меня было то же самое. — ответил старик все с тою же детской улыбкой.

- Правда?

- Да, правда. Моя мама тоже так говорила. И она была права, когда оберегала меня. Ведь каждый может пить вино, превращаясь постепенно в свинью — разве можно представить себе что-нибудь подлее и гаже?..

- И что же потом? Вы все-таки выучились играть?

- Что было потом?.. — старик задумался. Его брови сдвинулись вниз, почти скрыв за собою полуприкрытые глаза. Некоторое время он молчал, а затем произнес:

- Пожалуй, это проще показать, чем рассказать...

Ансельм был озадачен таким ответом и стал внимательно следить, что же сейчас будет делать этот странный человек. Тот встал со скамейки, немного помялся и, наконец, протянул Ансельму свою левую руку. Вся кисть ее, покрытая безобразными узловатыми шрамами, была странным образом скрючена и расплющена, так что не было на ней ни одного ровного пальца. Это было скорее щупальце, нежели человеческая рука. Юноша невольно отпрянул.

- Ничего-ничего. — спокойно заметил старик и спрятал руку обратно в карман. — Все так сначала реагируют. Я уже привык.

- Что... Что случилось? — спросил Ансельм, не сводя глаз с собеседника. Но тот, казалось, забыл о его присутствии. Он, сощурившись, смотрел на дорогу и в то же время как будто не на нее, а куда-то дальше. Его губы слегка шевелились, но слов было не разобрать. Ансельм почувствовал себя неловко. Он снял с руки часы, покрутил механизм, но они не заводились. Он повернулся к старику и сказал:

- Вы мне в прошлый раз не ответили. Может быть вы все-таки знаете, который час?

Сосед обернулся и посмотрел на Ансельма очень странно: так, будто видит его впервые. В мутных стариковских зрачках блуждала какая-то мысль. Он глухо произнес:

- Pessimistische Alter в переводе означает «пессимистический возраст». Это стихотворение на немецком языке. Оно рассказывает о бедном отлученном от власти патриции времен имперского Рима. Он стар и немощен. Он живет в своих мечтах и грезах, наблюдая, как медленно превращается в жалкую развалину его некогда прекрасное молодое тело. Все, что он делал в жизни, стало ничем. Он видит, как дети на колеснице переезжают его тень, и понимает, что все кончено...

Ансельм слушал старика, не веря своим ушам. Когда тот закончил, юноша медленно достал из кармана брюк сложенный вчетверо листок, найденный на остановке, и протянул его соседу. Тот развернул его, бросил один взгляд и, улыбаясь, покачал головой.

- Ты все еще хочешь узнать, что случилось с моей рукой? — спросил старик. — Хорошо, я тебе расскажу. Мама не хотела, чтобы я был музыкантом, но она ничего не могла поделать с моей природой. Я слышал в голове музыку. Быть может, самую прекрасную на земле. Представляешь, иногда целыми концертами, все партии одновременно. Но больше всего я хотел играть на гитаре. Это было модно. Все старшие ребята тогда играли. Я каждый день засыпал, представляя себе одно и то же. Как я скоплю денег, найду по объявлению преподавателя, одену чистую рубашку и брюки и поеду на урок. Правда, интересная история?...

- Продолжайте, пожалуйста... — сказал Ансельм шепотом.

- И, ты знаешь, все так и вышло. Я устроился на лето разнорабочим в речной порт, заработал денег, нашел по объявлению учителя. Он просил совсем недорого. И вот однажды я проснулся, позавтракал, отпарил брюки, начистил ботинки и пошел выбирать себе гитару. Мне очень понравилась одна — лимонно-желтого цвета, и я ее купил...

Старик снова замолчал. Ансельм умоляюще посмотрел на него.

- Ну, хорошо, хорошо... Я прошу прощения, но, ты сам понимаешь, что конец моей истории не очень веселый. Потом я пришел на остановку. Был конец рабочего дня. Жуткая давка. Меня кто-то толкнул, и я оступился. Рука попала прямо под колесо автобуса... Вот такие дела.

- А... потом?

- Потом?... — старик приобнял Ансельма за плечо и усмехнулся. — Потом, дорогой Ансельм, были пятьдесят лет — жутких, мучительных лет. Музыка будила меня по ночам, не давала спать, есть, жить. Чтобы хоть как-то утешиться, каждый вечер перед сном я мечтал, как ты, то есть я... все-таки прихожу на этот первый урок. И на второй, и на третий. И каждый вечер в своей мечте я достигал величайших высот в искусстве игры. Представляешь, Ансельм, люди плакали, слушая меня?..

Ансельм повернулся к старику и увидел, что тот сам уже почти плачет. Губы у него по-детски скривились, а брови просто ходили ходуном. Юноша и сам уже чувствовал, как тошная волна поступает к горлу. Запинаясь на каждом слове, он вымолвил:

- То есть... я... то есть... меня...

- Да, Ансельм. Да, мальчик мой... Ты — мечта. Ты самый лучший, самый дорогой мне человек. Ты самый искусный музыкант из всех, что мне доводилось встречать. Ты слышишь музыку внутри. И каждый вечер я проводил тебя по одному и тому же пути: от первого нашего урока, через долгие труды — к славе и мастерству.

- Но почему? Почему же мы никуда не едем? Где, черт возьми, автобус? Где все люди? — вскочил Ансельм, выходя из себя.

- Автобус не придет, друг мой. — сказал старик, понемногу успокаиваясь. — Сядь, посиди. Отдышись. Я ничего не могу с этим поделать. И ты не можешь.

- Но почему?

- Прости меня, Ансельм... Час назад я умер.

Юноша сел обратно на скамейку. Он схватил гитару и стал всматриваться в ее лакированный корпус, как будто на нем был написан какой-то ответ. Они молчали несколько минут. Потом старик покопался за пазухой и достал небольшой бумажный пакет.

- Ансельм, дружище... Эй, ну ладно тебе, хватит убиваться. Все-таки я умер, а не ты. Хотя в какой-то мере это и тебя касается. Давай-ка придумаем, как бы нам с тобой скоротать предстоящую вечность... Здесь подходящая тишина — можно слушать внутреннюю музыку, ни на что не отвлекаясь. Можем даже составить дуэт... Да не плачь ты... Посмотри лучше, что у меня есть. Я тут кое-что собрал в дорогу. Вот, например, яблоко. Хочешь яблоко?

Памяти друга

В 2009 году исполнилось бы 50 лет со дня рождения Михаила Жаравина (12 ноября 1959 г.) – уникального вологодского писателя, безвременно покинувшего этот мир.

Планируется выпустить диск с его стихами и песнями на его стихи и книгу сказов с картинками.

Открыт счет для сбора денег на книгу сказов Жаравина «Сказ о белом камушке».

Книга готова к печати, ярко оформлена иллюстрациями В. Птюхина, макет в типографии.

Книги пойдут в школьные и районные библиотеки. Средства уже начали поступать:

Филиал № 8638 АК СБ РФ (ОАО)
Вологодское отд. Сбербанка России
Доп. офис № 8638/009
ИНН 7707083893 БИК (МФО) 041909644
Кор. счет 30101810900000000644
Лицевой счет 42307810512250285281/48

ООО «Фирма «Леда»
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 3а.
Формат 60x84/8. Тираж 100 экз. Зак. 102, 2009 г.